

ДАРЬЯ БОБЫЛЁВА
ВЬЮРКИ

«Д. Бобылёва — дипломатический представитель потусторонних существ в нашем мире, репортер с мест прорывов реальности».

Анна Жучкова, литературный критик



**САМАЯ
СТРАШНАЯ
КНИГА**



Лонг-лист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»

ДАРЬЯ БОБЫЛЁВА

ВЬЮРКИ

«Д. Бобылёва — дипломатический представитель
потусторонних существ в нашем мире,
репортер с мест прорывов реальности».

Анна Жучкова, литературный критик



САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА

Лонг-лист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»

Annotation

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени – мечта, сладкий сон... кошмар!

Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою дачу?

Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя странно, и лето – чертово лето! – никак не кончается...

Автор:

Дарья Бобылёва – член Союза писателей Москвы, прозаик, журналист, переводчик. В жанр ужасов и мистики пришла из «толстых» литературных журналов, дебютировала сборником «Забытый человек», а затем прошла отбор в антологию «Самая страшная книга 2017».

-
- [Дарья Бобылёва](#)
 -
 - [Дачный ужас](#)
 - [Исход Валерыча](#)
 - [Витек](#)
 - [Мышь](#)
 - [Война котов и помидоров](#)
 - [На память](#)
 - [У страха глаза мотыльки](#)
 - [Зовущие с реки](#)
 - [Стуколка](#)
 - [Охота](#)
 - [Кто вышел из леса](#)
 - [Баба огненная](#)
 - [Близкие контакты на тринадцатой даче](#)
 - [Пряничный дом](#)
 - [Возвращение](#)
-

Дарья Бобылёва

Вьюрки

- © Дарья Бобылёва, 2019
- © Татьяна Веряйская, обложка, 2019
- © ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Дачный ужас

У Дарьи Бобылёвой в литературе талант ведуньи – она вхожа в темную память самых обычных квартир, она чует морок в привычных отношениях, ей ведомы страшные тайны среднестатистических городских семей. Роман «Вьюрки» – вершина ее мистических вылазок на изнаночную сторону повседневности: цветущая книга о лете, превращенном в метафору забвения. Это книга дачных сказок, меняющих смысл идиллической летней картинки с грядками, рыбалками, прогулками по грибы, добрососедскими дружбами и сплетнями, дачными романами и загородным детством.

И прежде всего этот роман переворачивает смысл слова «соседи» – потому что соседями жителей дачного поселка Вьюрки внезапно оказываются чужаки, вторженцы, которых разглядеть, опознать и назвать по издревле известным именам способен только один человек – рыбачка Катя, молодая девушка со странностями и непростой семейной историей.

Дарья Бобылёва написала фольклорный триллер, в котором водяные, лесные, домовые сущности не выглядят такими уж нелюдьми в сравнении с дачниками, готовыми извести друг друга за компост и сорняк, по навету или от тоски. Роман «Вьюрки» – книга остроумных колдунств, показательных превращений, сказочных квестов, за которыми, однако, чувствуется грусть и сожаление, которые рождаются от беспристрастного наблюдения и тонкого понимания людей. В своем волшебном летнем романе Дарья Бобылёва выступает внимательным реалистом и нравоописателем – во всем, что касается человеческих отношений.

Этот роман поэтому можно читать на нескольких уровнях. Как яркую копилку летних впечатлений, с которой приятно заново пережить самые беззаботные недели года. Как страшную сказку с загадками, показывающую дачную жизнь с той стороны, которая не видна человеческому глазу. Или как психологическую притчу о том, что делают с человеком подавленная обида, скрытое

недоброжелательство и тайный страх, когда он теряет над ними контроль.

В романе Дарьи Бобылёвой человек – самовозгорающаяся спичка, которая только ждет, чтобы чиркнуть о магическую черту. Если у этой сказки есть мораль, то она в предупреждении, как не заклисть, не вывернуть наизнанку, не подменить лесным ужасом собственную жизнь.

Валерия Пустовая

Исход Валерыча

За Валерычем увязался Никита Павлов и не отставал долго, до самого поворота. Все отговаривал, размахивал длинными руками, а физиономия его, сохранившая алкоголическую отечность, аж вспотела от серьезности ситуации.

– Иди-ка ты знаешь куда, – отечески похлопав Никиту по плечу, сказал наконец Валерыч.

Далеко не все во Вьюрках знали, как и звать-то Валерыча на самом деле: Валерьевич он или просто Валерий, а может, даже и Валерьян. Был он пожилой, косолапый, основательный. Участок здесь получил еще отец Валерыча, военный в солидном звании. Но при нем участком не занимались, использовали под картошку, да и то не каждый сезон. Отец предпочитал санатории, и слово это до сих пор вызывало в памяти Валерыча зыбкие тени пальмовых лап и мраморной лестницы на желтом фоне. Потом доступ к санаторной роскоши закрылся, а вскоре после этого Валерыч унаследовал огороженный пустырь во Вьюрках и решил, что будет у него тут родовое гнездо, место семейного отдохновения. Денег для воплощения дачной мечты, правда, не хватало, но Валерыч был рукастый и упорный и обладал вдобавок даром так приспособить в хозяйстве какую-нибудь неожиданную вещь, что все потом восхищались его смекалкой. И росла архитектурно непредсказуемая, но крепкая дачка, строясь бог знает из чего, включая списанные шпалы. Дорожку к дому, песком посыпанную, Валерыч отделал зубчиками из ломаного кирпича, беседку соорудил из каких-то арматурин, которые быстро оплелись девьим виноградом и обрели культурный вид. На грядках, которые Валерыч обустроивал с рулеткой и чуть ли не с уровнем, все произрастало ровными шеренгами, и не смела свекла затесаться, скажем, в петрушку, а тыква – распластаться среди капусты.

Только родовое гнездо не получилось – открылся доступ к другой роскоши. Дети катались по заграничным пляжам, и единственную внучку, ради которой Валерыч растил лучшую клубнику сорта «Королева Елизавета», мотали с собой. Но Валерыч все равно переселялся во Вьюрки с весны, достраивал, возделывал и ждал, когда

дети поймут наконец, что дача – это гораздо лучше, чем сидеть в своем огороженном «олл инклюзиве», как на зоне.

За поворотом дорога шла вдоль реки Сушки, и Никита отстал из-за этого в первую очередь, а вовсе не из-за того, что был послан в известное место. А Валерыч отправился дальше. Красное лицо его от спокойной решимости стало даже красивым, как у старого капитана.

На реку он старался не смотреть. Изучал одуванчики под ногами, торящих свой слизиной путь улиток. Заметил пробивший полупесчаную, не подходящую совсем почву подберезовик – с мизинец, а уже шляпка раскрытая, натуральный лилипут. Нагнулся к нему машинально, хмыкнул – и скользнул случайно взглядом по берегу, на котором темнела сгорбленная фигура. В груди скакнуло, и Валерычу показалось на миг, что он не может уже отвести глаз, тянет оно его, требует рассмотреть, удостовериться – и испугаться уже окончательно. Было в этой фигуре что-то лишнее, нечеловеческое, будто она готова была в любой момент изломиться пополам, вывернуться, побежать к Валерычу на ломких многосуставчатых лапах...

И тут у Валерыча на глазах силуэт растворился, разошелся на корягу, тень от ивы и болтающийся на ветке пучок увядших водяных кубышек, который и добавил живого движения. Валерыч ругнулся и запустил в пугало подберезовиком. У берега слабо хлопнуло.

Кого ему, в конце концов, было бояться? Что эти, из реки, могли сообщить ему такого, чего он не знал? Валерыч достал заготовленные беруши – строительные, из тех, что валялись в одном из шкафов про запас, – ввернул в уши и пошел дальше. Вдоль реки и пройти-то надо было совсем немного.

Валерыч помнил, когда и как все это началось. В конце июня, двадцать первого числа, – как раз на летнее солнцестояние. Предзнаменований никаких не наблюдалось: ни аномальных природных явлений, ни предчувствий, ни необычного поведения домашних животных. Разве что накануне вечером Светка Бероева, обитательница самого большого во Вьюрках дома, прилюдно наорала на няню своих детей Наргиз. Наргиз забыла завести часы с боем, чинно, по-европейски сзывавшие семейство к столу, и в итоге дети

Бероевых, чернявые мальчишки-погодки, поужинали не вовремя. А у Светки все, связанное с детьми, было по строгому, полезному для здоровья расписанию. Наргиз возражала, что завела она эти часы, как обычно, – они просто старые и, наверное, сломались. А потом ляпнула, что поужинать на полчаса позже – это нестрашно.

– Были бы у вас свои дети, вы бы понимали! – крикнула в ответ Света, умудрившись даже на повышенных тонах сохранить демонстративно уважительное обращение, и захлопнула наконец калитку, после чего увлеченные скандалом дачники вновь склонились над своими грядками.

А Наргиз повела детей гулять перед сном, и ее гладкое, как яичко, лицо было непроницаемо, только губы шевелились – бормотала что-то на своем языке.

Валерыч скандал, конечно, тоже послушал, но без особого интереса – он поливал кабачки. Да и остальные соседи, хоть и были по большей части людьми советской, антиэксплуататорской закалки, отнеслись к Светкиному визгу снисходительно. Недолгоблюдали дачники Наргиз – за то, что понаехала, за тихую непонятливость, за акцент, самые обычные слова порой превращавший в бесформенные комки звуков. А Светку, как ни странно, жалели. Деловой человек Бероев, построивший во Вьюрках целую кирпичную виллу и покупавший Светке всякие сказочные вещи, считался в садовом товариществе кем-то вроде Синей Бороды. Первая жена его просто пропала – однажды он приехал в летние владения без нее, а расспрашивать молчаливого Бероева никто, конечно, не стал. Со второй, родившей дочку, он, по сведениям дачниц, без затей развелся, но обделил при разводе сильно: ничего почти не оставил прежнему семейству. Во Вьюрках считали, что зря Света ходит королевишной, зря считает, что получила обеспеченного – неизвестно, чем дело кончится. А Света действительно ходила гордая, поправляя невесомые очки на тонком носике и изящно перебирая глянцево-гладкими ножками.

Потом Света простила Наргиз и даже одарила умеренно крупной купюрой – об этом Валерыч узнал от гуляющих вдоль забора соседок, которые лениво обсуждали хоть какое-то, но событие. Валерыч закончил полив огорода и пошел перекусить, а за ужином заметил, что его часы последовали примеру бероевских и встали. Подкрутил –

молчат, и конденсат на стеклышке собрался. Валерыч положил часы у печки в надежде, что просушатся и оживут, и решил укладываться – пока дачный душ наладишь, пока считаешь...

Потом, придирчиво разбирая предшествующие события на фрагментики в надежде хоть что-нибудь эдакое там найти – не считать же предвестниками сломавшиеся часы и скандал у Береевых, – Валерыч вспомнил, что ночью его вроде как разбудил какой-то звук снаружи, громкий и тугой. Даже уши заложило. А может, странный звук Валерычу приснился по причине заложенных ушей. А может, все причудилось, и не просыпался он той ночью вовсе.

Дорога вдоль реки наконец кончилась – точнее, привела Валерыча к забору, некогда ограждавшему Вьюрки от внешних беспокойств. Валерыч огляделся – кругом покачивались травяные метелки, на берегу кропили мелкими слезами плакучие ивы. На угловой даче, почти не видимой за живой изгородью, деловито стучали тяпкой. Валерыч откашлялся зачем-то и начал раздеваться, аккуратно складывая на траву штаны, дачную рубаху с нехваткой пуговиц, трусы. Согласно его не то чтобы очень оформленной, но требовавшей решительных действий теории, все, что побывало здесь, могло ему помешать. Он, правда, и сам пробыл здесь изрядное количество времени, но одушевленная материя, безусловно, имела иные свойства. Главными из которых, по мнению Валерыча, были воля и разум. Насчет ушных затычек Валерыч задумался, а потом все-таки оставил их: в любой момент можно выкинуть, да и маленькие они, незначительные совсем.

Голый Валерыч был многоцветен – от белоснежного до сизо-багрового. Вид он теперь имел не браво-моряцкий, а мягкий, уязвимый, как выломанная любознательным мучителем из панциря улитка. Неожиданно для себя размашисто перекрестившись, Валерыч отодвинул засов, толкнул створку ворот и шагнул наружу.

За воротами был обычный пригородный пейзаж: желтое от сурепки поле, по правую руку – река, на горизонте впереди топорщился лес, а по левую руку, довольно далеко, – коттеджный поселок, на строительство которого в свое время дорожившие своим уединением вьюрковцы сердились.

Валерыч отломал от согнувшегося у самых ворот дерева палку и пошел налево, к поселку.

Тогда, утром, его разбудил женский вопль. Окончательно, что ли, Света свою Наргиз убить решила, подумал Валерыч спросонья. А вопила действительно Наргиз – это Валерыч понял, когда вслушался. По-восточному тоненький голосок надрывался:

– Дорога ушла!

О как, подумал Валерыч, спятила все-таки. И сложно сказать, отчего это «все-таки» добавилось.

А когда Валерыч, неторопливо сделав гимнастику и позавтракав, вышел из своей дачки, на пяточке за забором уже топтались люди. И Бероевы тут были, и Никита Павлов, тихий молодой алкоголик, и непримиримый, всегда будто готовый прыгнуть на собеседника пенсионер Кожебаткин, и председательша Клавдия Ильинична, плавная и величественная, и другие дачники.

– Молоко привезли? – подойдя к забору, спросил Валерыч у стоявшего ближе других Кожебаткина.

– А черт их знает! – тут же распалился Кожебаткин. – Говорят, выезд перекрыли!

– Нет его, выезда, – тихо сказал Никита.

– Я и говорю! – подался к нему Кожебаткин.

От гомонящей толпы дачников то и дело отсоединялась то одна, то другая группка и уходила по дороге к главным воротам. Потом возвращались, растерянные, молодежь гоготала в возбуждении, гул голосов усиливался. Происходило что-то совершенно непонятное.

Валерыч некоторое время колебался – пойти открыть парник с помидорами или все-таки глянуть сначала, из-за чего так взволновались Вьюрки, – и выбрал второе.

Вьюрки, как всякое садовое товарищество, были поделены на несколько улиц с благостными названиями: Лесная, Рябиновая, Вишневая. Улицы впадали одна в другую и имели общий выезд к главным воротам, за которыми уже шла проселочная дорога, и далее трасса, и далее широкий путь к городской цивилизации. Места были живописные: лес, река, маленькая и мутноватая, но зато с плакучими ивами, и с мостками прямо из деревенского детства, и с церковкой на том берегу, на пригорке. И, кроме того, с красноперкой, плотвой и

лещами, которых Валерыч успешно ловил на донку, когда хотелось почувствовать себя добытчиком.

О том, что надо бы поставить донку на леща, Валерыч и размышлял, когда вместе с другими дачниками прошел мимо поворота к выезду из Вьюрков. Точнее, мимо места, где поворот прежде существовал.

Потому что теперь его не было.

Валерыч вернулся на десяток шагов и, внимательно смотря по сторонам, снова направился к повороту.

Вот дача Тамары Яковлевны, старушки-кошатницы, которая вечно забывает повернуть вентиль, и вся улица сидит без воды, потому что дача Тамары Яковлевны – последняя перед водокачкой. Вот, собственно, водокачка, за ней должен быть поворот к выезду, дальше еще одна улица, Лесная, – потому что идет мимо общего забора, за которым уже лес...

За водокачкой сразу начиналась улица Лесная, безо всякого поворота. Причем смотрелось это так обычно, так естественно, будто поворота никогда и не было. Домик Тамары Яковлевны – водокачка – синий домик на улице Лесной. Там жило небольшое семейство, Валерыч в лицо их знал, а по именам не помнил. Овчарок держали, одна незаметно сменяла другую, и все звались Найдами...

Какие овчарки, разозлился на свои еще сонные, еще размеренные мысли Валерыч и снова вернулся назад, и снова проделал тот же путь в тупой и требовательной надежде, что поворот все-таки появится, как-то нарастет обратно. Но он не появился. Как будто из окружающего пространства вырезали кусок и снова сшили, да так удачно, что не осталось ни шовчика, ни морщинки. Будто главные ворота, которые было прекрасно видно вот с этого самого места, дачникам причудились.

Голый Валерыч остановился, опираясь на палку. Воздух как назло так и наливался жарой. Валерыч, хоть и намазался еще в даче солнцезащитным кремом, чувствовал, как болезненно стягивается кожа на плечах. У него не было ни кепки, ни воды с собой – это противоречило теории, что все, побывавшее в проклятом месте, мешает. Может, тот самый крем, впитавшийся в кожу вместе с

вьюрковским проклятием, и был виноват в том, что по скромному полю с сурепкой, мотыльками и коттеджным поселком на краю Валерыч шел уже часа четыре.

Сначала ведь все уходило в одежде, а то и уезжали на машинах, не подумавши, никакой теории не успев родить. Как тот строитель, безымянный смуглый человек в вечной вязаной шапке, который вместе с двумя-тремя собратями пилил и стучал на одном из участков. Он, сказав что-то протяжное и малопонятное, перемахнул через забор и оказался в лесу, обступавшем Вьюрки. Дачники смотрели на него через ржавую сетку тревожно и молча. Он сделал несколько шагов по мягко пружинящей хвое, наступил с хрустом на пивную банку – лес был вьюрковцами изрядно замусорен, и внезапные помойки возникали в самых неожиданных местах. Дальше начинался малинник, а потом уже тяжело покачивающиеся елки. Строитель посмотрел на дачников и растерянно улыбнулся.

Лес, исхоженный и загаженный, казался совсем темным, и место первопроходец выбрал неудачное, ни одной тропинки не было видно.

– Давай обратно! – крикнул вдруг нервный с похмелья Никита Павлов. – Мало ли! Чего ты полез-то сразу?

Судя по тому, как радостно закивал смуглый человек, он ничего не понял. И пошел прямо через малинник, путаясь в гибких зеленых ветках. Потом вязаная шапка замелькала в еловом сумраке. Потом скрылась за очередным серым от лишайника стволом. Человек растворяется в лесу незаметно – вот шел совсем рядом, с треском продираясь через кусты, и вдруг пропал, и наступила тишина.

Никто, конечно, не остался его ждать у забора. Как раз прикатил на велосипеде, подняв тучу пыли, Антошка Аксенов и протараторил, что «через Тамару Яковлевну» решили не лезть, там тоже лес и не видно ничего, и вообще черт его знает, зато вторые ворота, старые, на месте и все с ними в порядке.

Это были те самые ворота, через которые совершил свой исход голый Валерыч. Ими пользовались раньше, пока до Вьюрков не добралась асфальтовая дорога.

Никогда прежде вид на поле, реку и нелюбимый соседний поселок не вызывал у дачников столько радости и облегчения. Пока

прибывавшая толпа вздыхала и делилась друг с другом скудной информацией о происходящем, семейство Аксеновых снаряжало свой джип. Семейство Аксеновых было шумное, спортивное и позитивное, они вечно то в турпоходы ходили, то отправлялись на своем джипе кататься по России и заграницам.

– Сейчас разберемся! – зычно выкрикивала тяжелая книзу, как груша, Наталья Аксенова. – Сейчас все выясним!

Дачники наперебой давали советы, что Аксеновым делать: доехать до коттеджного поселка и там у кого-нибудь спросить, или ехать до деревни, что подальше, потому что поселок только строится и наверняка там одни гастарбайтеры, что у них узнаешь. Или объехать Вьюрки, найти дорогу до трассы и на трассе у кого-нибудь спросить, или поискать человека с работающим мобильником и спросить по мобильнику... Что спрашивать – не уточняли, потому что волновавшие дачников вопросы «куда делся поворот» и «что за странные вещи творятся во Вьюрках» звучали пока еще даже для них диковато.

Валерыч мобильником пользовался редко, у него был стариковский, с обычными кнопками и крупными цифрами. Он даже не взял его со стола, когда отправился блуждать по улицам с остальными озадаченными вьюрковцами. И только потом, от тревожно вглядывающегося в свои гаджеты молодняка он узнал, что ни у кого нет ни Сети, ни Интернета. Смартфоны, без которых младшие поколения дачников даже в туалет не ходили, а может, и не знали, как сходить туда правильно без советов из Сети, ослепли и оглохли. Но во Вьюрках такое иногда случалось само собой – Сеть то «сдувало», то «надувало» обратно.

Бодро и шумно Аксеновы вместе с Антошкой загрузились в машину, заляпанную наклейками, и, поревев и побуксовав исключительно для эффекта, покатали по неасфальтированной дороге вдоль реки. На тонированном заднем стекле подпрыгивала надпись «На Берлин!». Вскоре облачко оставленной Аксеновыми пыли только угадывалось вдали. Ехать до соседей было всего ничего, и кто-то особо глазастый даже утверждал, что видит какое-то движение среди игрушечных отсюда коттеджей.

Потом из Вьюрков ушел молчаливый мужик Саня – перелез через забор примерно в том месте, где раньше был поворот, а теперь загадочно темнел лес. Потом – семейство с Лесной улицы, они взяли с

собой овчарку Найду: собака, мол, точно выведет, если вдруг заблудятся. Потом выехал к воротам в поле Бероев, но Светка подняла визг еще громче вчерашнего и колотила кулачками по его большому белому автомобилю, пока Бероев, матерясь, не сдался и не согласился ждать Аксеновых.

А вот кто первым вернулся... Солнце гремело в голове Валерыча багровым колоколом, и он, усевшись на колючую траву, начал вспоминать, чтобы отвлечься от жажды и перегрева, – кто же тогда вернулся и вел ли себя подозрительно. Кажется, это все-таки была пара собаководов – нюх животного они не переоценивали. Да, точно, они, и казались вполне нормальными, хоть и перепуганными.

Они вернулись вечером следующего дня, когда недоумение дачников уже перешло в смятение. Выбраться они пытались через лес, потому что в поле Найду выволочь не удалось, она отчего-то очень протестовала. Пришли собаководы грязные, исцарапанные, раздувшиеся от комариных укусов и оцепеневшие какие-то – наверное, от усталости. Жадно ели и пили, глядя в тарелки, на вопросы отвечали вяло. Одна овчарка была радостная, лупила хвостом по ножкам стола – она ведь вывела, справилась. А хозяева рассказали, точнее, из них буквально клещами вытянули, что в лесу они заблудились, никакой дороги так и не нашли, попали в непролазную чащу: шли целый день и забрели, видимо, бог знает куда. И все ходили, ходили там кругами, возвращаясь на то же место, а потом велели собаке искать дом, и она в конце концов их вывела обратно. Ночевать пришлось прямо под деревом, хорошо, что лето. Они все надеялись, что услышат машины или реку и иногда вроде бы слышали что-то – но везде оказывался лес. Это рассказывал муж, печальный и бородатый. И поглядывал на жену, а та молчала и кивала, поглощая гречку с тушенкой. Вот, вот что было в их поведении подозрительным, понял Валерыч и пожалел, что никому в поселке не успел об этом сказать.

Счастлирое возвращение произвело на вьюрковцев гнетущее впечатление. Тем более что супруги уходили в строго заданном направлении – к дороге, по компасу. Никита Павлов залезал сначала на крышу сторожки, но ничего не разглядел, потом забрался, насколько смог, на самую высокую ель и объявил оттуда, что все по-прежнему – река, лес, поля с рощами на том берегу, а дальше не видно. Никита

спустился расстроенный, сказал, что обзор плохой. Тогда прикинули примерное расположение дороги и вручили собаководам компас. Вернулись те уже без него, печальный муж объяснил, что потеряли во время блужданий.

Вернулся строитель – осталось, правда, неизвестным, был это первопроходец или кто-то из отправившихся его искать товарищей. В ответ на расспросы молчал и непонимающе хлопал глазами. Вернулся Никита Павлов, который впадал во все большую тревожность и наконец попытался покинуть Вьюрки через поле, привязав к забору кончик бельевой веревки, а с собой взяв оставшийся моток. Веревка довольно быстро кончилась, и Никита тут же пошел по ней обратно. Вернулся мокрый от пота и в твердом убеждении, что коттеджи, пока он к ним шел, не приблизились ни на метр, а веревка странно подергивалась.

Вернулся приятель Валерыча, Витек, хотя лучше бы он не возвращался...

А вот Аксеновы пропали бесследно, и компания студентов, неудачно приехавшая на шашлыки и рвавшаяся обратно на учебу, пока не отчислили, тоже ушла неизвестно куда. И Саня, который, между прочим, должен был Валерычу тыщу. Да, кажется, именно после Сани дачники и начали исчезать регулярно, уходили с отчаяния кто в лес, кто в поле, надеясь, что именно их ждет та единственная верная дорога или что пропавшие на самом деле нашли выход в мир, от которого скрыла Вьюрки неведомая аномалия. На общих собраниях председательша даже пыталась проводить переключки, но все быстро запутались – кто пропал, а кто еще до исчезновения выезда уехал или не приезжал вовсе, – и в документах была неразбериха, да и уж очень тоскливо становилось от этого лагерного выкликания: «Молостова! Орлов!»

А еще пропала Наргиз. Но уже по-другому.

На расписание дня детей Бероевых происходящее во Вьюрках не имело никакого влияния. И по-прежнему Наргиз, у которой теперь был гораздо более несчастный вид, водила их утром и вечером гулять – круг по улицам, потом на реку, где была обустроенная самими вьюрковцами детская площадка, и домой.

Вечером Наргиз с детьми не вернулись вовремя. Света Бероева, решительно шлепая тапками, обежала поселок и спустилась к Сушке, где и обнаружила мальчиков, задумчиво покачивающихся на качелях.

– А где Наргиз? – с облегчением обняв детей, спросила Света.

Старший показал на реку.

Света удивленно посмотрела туда. Буроватая вода лениво ползла вдоль зарослей осоки, неся на себе водомерок и уток. Неуклюже сплетенная гирлянда из желтых водяных цветов свисала с ближайшего куста – ребятишки, наверное, постарались. Никаких признаков Наргиз на берегу не было.

– Купается?

Мальчики замотали головами и прижались к матери.

Света позвала Наргиз раз, другой и, так и не дождавшись ответа, поспешно увела детей. Наргиз с тех пор никто не видел. И не знал, что все только начинается.

По счастью, после пропажи Аксеновых, студентов и Сани, а также всех смуглых строителей, упрямо и угрюмо уходивших искать друг друга, никто не попытался покинуть Вьюрки вплавь или на лодке. Вода, как дополнительное препятствие на и без того обросшем некими загадочными трудностями пути, смущала дачников. Хотя они далеко не сразу поняли, что река стала другой. То есть она, как и лес, и само дачное товарищество, сохранила видимость прежней, с комарами и рыбьими шлепками, но тоже приобрела странные посторонние свойства. А когда эти свойства обнаружили, вьюрковцы еще долго не решались к ней приближаться. Только потом, значительно позже, подтянулись за добычей пара глухих дедов-рыбаков и чудаковатая девица Катя, тоже поклонница рыбалки. Которая не только этим, но и всем образом летней своей жизни всегда вызывала у Валерыча вопросы.

К Наргиз, когда она еще была, тоже возникли вопросы у Тамары Яковлевны и ее подруги Зинаиды Ивановны. Обычно они сидели вечерами у Тамары Яковлевны и смотрели по телевизору передачи про народные средства, родовые проклятия и порчу. И вот, когда в день исчезновения дороги драгоценный телевизор показал вместо любимого канала серую рябь, опечаленные пенсионерки, все обсудив и взвесив, решили, что это наверняка обиженная Светкой Наргиз

прокляла Вьюрки каким-то восточным проклятием. Предположение было не более странным, чем все происходящее вокруг, и старушки даже ходили к Наргиз прощупать почву. Они потом говорили, что интересовались очень деликатно, но Светка Бероева была иного мнения и объявила им, что вот, дощупались до того, что затравленная Наргиз, видимо, бросилась в Сушку и теперь детей оставить не с кем. А может, просто уплыть решила от Светки и бероевских щенят, когда закралась в голову мысль, что она теперь к ним навеки прикована, подумал Валерыч, глянул вверх в надежде увидеть хоть одно облако, способное затенить полыхающее солнце, – и увидел странное.

Солнца вообще не было. Небо от края до края затянуло чем-то белым, перламутровым, как нежный испод двустворчатых беззубок, которые водились в Сушке в изобилии. Валерыч в первую секунду даже обрадовался – вон сколько облаков нагнало, – а потом понял, что это не облака. Это сам небосвод побелел, и по нему раскаленным северным сиянием пробегали перламутровые переливы. В лицо Валерычу дохнуло жаром – точно горячим песком хлестнуло по глазам, запершило в горле. А над поникшими травяными верхушками заволновалось, за клубилось прозрачное марево.

Не отпускают, понял Валерыч, напугать хотят. Он ухватился за палку, постоял немного, борясь с головокружением. И зашагал дальше, цепляясь за нити своих прежних смутных размышлений, лишь бы не думать ни о жаре – невыносимой, трескучей, – ни о белом небе. Когда идешь куда-то один, не в городе, среди говорящих людей и орущих вывесок, а вот так, действительно один – всегда бормочется что-то само по себе в мозгу, так что давай, давай, бормочи...

...что прикована к ним навеки. Ерунда, никто тогда не думал, что навеки, какой нормальный человек решит, что происходящее – навеки, особенно если черт знает что творится.

Председательша Клавдия Ильинична, бледная, но вид имевшая все такой же величественный, устроила у сторожки, возле отрезанного неизвестным явлением поворота, всеобщее собрание. Объявила, что надо держаться и сохранять спокойствие, помогать друг другу по возможности и не пытаться покинуть территорию Вьюрков до прояснения ситуации. Дачники по годами наработанной инерции подняли гвалт, который обычно поднимали по поводу тарифов и

неплательщиков: кто прояснит, как прояснит. На что Клавдия Ильинична с достоинством отвечала, что раз случилось такое явление, такое, поправились она, необъяснимое бедствие, из-за которого полностью отрезанным от цивилизации оказалось большое количество людей, то наверняка уже работают соответствующие службы, и предпринимаются меры, и сюда доберутся, к примеру, на вертолетах и окажут помощь.

– Снаружи? – спросила крашенная в черный девчонка Юлька, балансирующая чуть поодаль на своем велосипеде.

Клавдия Ильинична наградила Юльку строгим учительским взглядом и ничего не ответила. А дачники затихли, встревоженные метавшимися в их головах многочисленными «а если?».

– Товарищи, у нас есть электричество, а это значит, что снаружи... – еще один взгляд в сторону Юльки, – ...все в порядке. Надо просто потерпеть. Наверняка уже предпринимаются конкретные действия, а нам нужно ждать, – сказала Клавдия Ильинична. Гладко так сказала, окончательно обретя прежнюю уверенность, точно вырлила после мучительных блужданий на проторенную дорожку.

Воздух трещал, точно над головой тянулась бесконечная ЛЭП, и наливался жаром. Валерыч чувствовал, как вздуваются на обожженной коже первые волдыри. Губы уже не расклеивались, а тяжелый и шершавый язык как будто заполнил собой весь рот. Даже глаза пересохли, и он приподнимал веки только изредка, чтобы понять, куда идет. Поле, у которого не было ни конца ни края, и раскаленное небо вспыхивали перед ним и тут же снова тонули в багровом, пронизанном пульсирующими жилками сумраке.

И во время одной из таких вспышек Валерыч увидел реку. В очередной раз загадочным образом переместившись, теперь она морщилась рябью прямо у него за спиной. Под закрытыми веками продолжали сиять выжженные на сетчатке точки от бликов на воде. И обещанием сладковатой прохлады осел в носу и во рту почти призрачный запах реки – пахла она, как всегда в жару, холодным арбузом.

Валерыч бросил палку и побежал к воде, хрипя сквозь стиснутые зубы. В конце концов, он ведь был надежно заткнут берушами.

У реки даже дышалось легче. Валерыч неловко спустился по осыпающейся глинистой земле, выматерился, когда его куснул в пятку зеленый осколок пивного стекла, вмурованный в берег. Сидели же тут раньше люди, нормальные люди, пили, били бутылки. И мусор раньше валялся по всему берегу – прогоревшие мангалы, бумажки, пакеты, окурки. Куда вы дели весь мусор, чуть не заплакал от негодования Валерыч, нормальный человеческий мусор, чем он-то вам помешал, твари вы проклятые, уборщики, чистильщики, хотите, значит, чтобы и следа от прежней жизни не осталось? Уцелевший бутылочный осколок казался чудом, и Валерыч готов был простить ему раскромсанную пятку за одно только напоминание о том, что действительно было время, когда из Вьюрков можно было беспрепятственно уйти, а сюда, на берег реки Сушки, приезжали люди, веселились, ели шашлыки, из машин лилась, как теплая водка, душевная музыка...

Валерыч торопливо полакал речной воды, отдававшей торфом и навозом. Побрызгал на стянутую ожогами кожу, но даже не почувствовал капель: они будто испарились, как с горячей сковороды. Пытаясь хоть немного охладиться, Валерыч опустил в воду ступни. Верхний слой был противно теплым, в нем плыли, щекоча раскаленные ноги Валерыча, веточки и крепко закрывшие створку раковины прудовики. Пришлось, хромя, войти по колено. Пальцы залепило мягким илом, боль в порезанной пятке почти стихла, и снизу мурашками побежала такая прохлада, такая немая телесная радость, что лицо Валерыча опять смяла слезливая гримаса. Он забил по воде ладонями, заплескался по-утиному. А ведь это было опасно, это было строго-настрога запрещено, и он сейчас, наверное, погибал уже. «Почему я не имею права искупаться в жару, почему у меня отобрали невинное летнее удовольствие», с растущим свирепым отчаянием думал Валерыч. Он огляделся, призывая в свидетели творящегося беззакония ивы, осоку, прудовиков, благословенный бутылочный осколок...

И увидел, как по полю, бесшумно пожирая траву, катится прямо к Сушке, к нему стена ослепительного белого огня. А в самой ее сердцевине уже не огнем, а солнечной плазмой полыхает огромный человекоподобный силуэт.

После секундной паники Валерыч догадался: это небо упало на землю. Конец света пришел в пламени бледном, опиум для народа

наконец подействовал, и архангел вострубил – а он просто не услышал через беруши. Нет больше ни Вьюрков, ни коттеджного поселка, ни поля, и никуда он не уйдет, потому что осталась от целого мира одна река Сушка, пропахшая торфом и навозом. И еще одно Валерыч, будучи убежденным материалистом, понял сразу: спасение от карающего огня он найдет только в милостивой воде.

Утопая ногами в бархатном иле, он забредал все глубже и глубже.

– Толька, – отчетливо услышал он сквозь беруши. – Толька, болдырь, ну зачем ты это, а?

Жена Антонина. Дура деревенская, изо всех сил изображавшая на людях городскую барыню и уж лет десять как избавившая Валерыча, который действительно Толька был, Анатолий Валерьевич, от своего крикливого присутствия.

– Толька, ну куда ж ты поперся. Вот же бестолочь, своей головы нет, что ли. Ну иди сюда, иди. Пожалее, – уже ласково выговаривала мертвая жена.

– Тебя еще не хватало, сука! – взревел Валерыч и забил по воде руками, и поплыл прочь от белого пламени, от Вьюрков, от проклятой Антонины – в другой мир, на тот берег. Он был совсем близко – обрывистый, нормальный, с зеленой стеной крапивы вместо белесой стены огня.

Что-то быстро пронеслось под водой навстречу и разбилось о проплывающую рядом корявую палку, оказавшись всего лишь узкой полоской ветра. Валерыч выбрасывал вперед руки, всхлипывая и хрипя, а бесконечная, пахнувшая торфом и арбузом река не отпускала его, облепляла холодом бока и живот, лезла в ноздри. Он ждал, когда же все уже закончится, но продолжал грести, впившись взглядом в зубчатое крапивное кружево на том берегу. Руки и ноги гудели, схваченный ртом воздух еле пробивался сквозь тягучую слюну и тут же со свистящей болью вырывался обратно, и Валерыч испытал почти облегчение, когда его схватило и резко дернуло вниз. Он уже ничего не видел, но знал, что это она, Антонина, – раздутая, с вытаращенными глазами, похожими на два крутых яйца, лицо сине-белое, все в ниточках водорослей, а с уха кокетливо свисает щучья блесна. Кожу ее, дряблую, нежную, как подпорченный персик, Валерыч и на ощупь ни с чьей другой бы не спутал. Обдав забурлившего, забившего в

последний раз ногами Валерыча всепроникающей рыбьей вонью, Антонина мягко обняла его за плечи и утянула вниз, в темную прохладу.

Цветущая сурепка покачивалась на ветру как ни в чем не бывало, на горизонте топорщился лес, крохотные коттеджи с одинаковыми бурыми крышами усыпали обнесенную забором возвышенность, точно недавно проклюнувшиеся грибы-боровички. Порыв ветра взъерошил водную гладь, по которой еще расходились круги, пробежал по траве, стукнулся в грязно-зеленые ворота с табличкой «СНТ Вьюрки», точно проверяя, надежно ли они закрыты, и они качнулись с еле слышным скрипом.

Витек

Витек, безвозрастной жилистый мужик, жил в крайнем доме по Рябиновой улице, через забор от Валерыча. Дача у Витька была деревянная, дедовская еще, но крепкая. И там, и в огороде вечно суежилась неприметная Витькова супруга, тетя Женя: подметала, полола, чистила, даже прибивала и красила, балансируя на вершине скрипучей стремянки. Витек же обитал преимущественно во флигеле, где была оборудована дачная кухня. Здесь у него было все необходимое: холодильник, радио, стопка старых журналов и диванчик. А на плиту периодически водружалась краса и гордость – самогонный аппарат фабричного производства, на который как-то скинулись Витьку на день рождения изобретательные сослуживцы. Это был один-единственный раз, когда с подарком они угадали. Витек возился с аппаратом любовно, как автомобилисты старой школы со своими «ласточками»: сам мыл и протирал, загружал сырье, к выбору которого подходил с неожиданной фантазией, внимательно следил за процессом и сам, в одиночестве, снимал первую пробу. После пробы что-то тяжелое просыпалось в Витьке, начинало ворочаться и требовало выхода, выносило его из флигеля, гоняло по участку: то к туалету, где опять не было бумаги, то к яблоням, отяжелевшие ветки которых опять забыли подпереть. И все дороги вели к тете Жене, которая вечно находила себе кучу бесполезных дел, а вот за нужные не бралась до последнего. Конечно, гораздо важнее рассортировать пакеты или сшить из тряпок новый, третий уже, коврик на веранду, чем проследить, чтобы было чем подтереться. Багровый, пыхтящий Витек напряженно бродил за ней, а она делала вид, что не замечает, металась между разными точками своей мелкой кипучей деятельности, но в итоге не выдерживала:

– Опять надрался!

И Витек вставал на дыбы. Все мутное недовольство тощей, надоедливой женой, ее пресным запахом и выражением бестолковой озабоченности на лице бросалось ему в голову. Наставив на нее указующий перст, он рычал:

– Ты-ы...

Тетя Женя пыталась ускользнуть, но Витек ловил ее, тряс, хватал за руки и опять:

– Ты-ы-ы...

В конце концов над забором возникала голова Валерыча, который все прекрасно слышал. Прогудев что-то укоризненно-примирительное, Валерыч исчезал и появлялся уже из калитки. Тетя Женя, прижимая к груди красные руки, мучительно извинялась и оправдывалась, а Валерыч приобнимал уже остывающего Витька и уводил во флигель. Там они снимали вторую пробу, третью, и вообще – сколько получится. Включали радио, закусывали тем, что успевала метнуть на стол тетя Женя, потом отправлялись гулять по поселку, что-то горячо друг другу доказывали и, страдальчески приподняв брови, пели песни.

В общем, дружили Витек с Валерычем хорошо и давно.

Когда выезд из Вьюрков исчез таинственным образом, Витек поначалу бодрился. Он, конечно, был изумлен не меньше других, но изумление это было скорее благодушным. Пока дачники блуждали по поселку растерянными группами, Витек бродил туда-сюда мимо водокачки, за которой раньше был поворот, присматривался, как будто искал шов в ткани действительности, хлопал себя по бедрам и говорил: «Во дают!» Тетя Женя шепотом делилась с соседками, что супруг ее считает происходящее сверхъестественным явлением, настоящим чудом, и говорит, что когда все вернется на свои места, то во Вьюрках будет не протолкнуться от всяких ученых и журналистов. Ведь столько свидетелей, факт отсутствия и дороги, и ворот лично задокументирован им на фотоаппарат-мыльницу, так что обычной своей болтологией они не отделаются. И все вынуждены будут признать, что вот прямо здесь, среди дач советской постройки, имела место аномалия. На берегу реки Сушки, а не в каких-то там их кактусовых пустынях, которые нормальные люди только по телевизору видели.

И когда пропали Аксеновы, отправившиеся на машине в соседний поселок, Витек тоже не особо расстроился. Он доказывал Валерычу, что они люди бывалые, разберутся. Может, машина заглохла, а может, там, в поселке, тоже что-то творится, и пришлось ехать за помощью дальше. Связи-то нет, как они о себе сообщат?

Через пару дней после исчезновения выезда, вечером, тетя Женя услышала из кухонного флигеля шипение и сдержанные стоны. На тетю Женю вьюрковские чудеса действовали угнетающе, поэтому она встревожилась и в кухню заглянула с опаской, выставив на всякий случай перед собой попавшийся под руку веник.

Из открытой двери тянуло густым самогонным духом. Витек сидел за столом и ожесточенно крутил ручку радиоприемника. Вместо привычных песен и новостей из приемника лилось шипение, иногда прерывавшееся какими-то странными, неживыми взвизгами.

Витек отхлебнул еще, с тоской посмотрел на тетю Женю и простонал:

– Не работает!

– Конечно, не работает, и телефон не ловит, и телевизор у Тамары Яковлевны...

Витек грохнул стаканом об стол и наставил на жену палец:

– Ты-ы-ы...

Тетя Женя ойкнула, поспешно захлопнула дверь и убежала от греха подальше в дачу. По опыту она знала, что, если Витек начинает буйствовать, главное – не попадаться ему на глаза – авось забудет.

Ночевать в дом Витек не пришел, а тетя Женя спала беспокойно. Вздрагивала, садилась в постели, хлопала глазами в темноте, зажигала лампу. То ей чудились шаги, то незнакомые голоса, то снилось, что дверь в комнату тоже пропала вслед за выездной дорогой. А когда на рассвете кто-то бурно забарабанил пальцами по стеклу, ее так и подкинуло.

Под окном стоял Витек, опухший и закисший после вчерашнего. На нем были темная, не по размеру куртка, старые штаны, кепка – в общем, его особая «лесная» одежда. Даже гладкую рябиновую палку, самолично обструганную для походов в лес, он не забыл прихватить.

– Ты ку-ку-куда? – залепетала тетя Женя.

– По грибы, – хрипло ответил Витек. – К обеду вернусь.

Тетя Женя заполошно вылетела из дачи в ночной рубашке, погналась за Витьком с причитаниями: куда, какие грибы, какой лес, люди пропадают, Аксеновы, строители эти, еще кто-то, черт-те что творится, председательша сказала калитки в лес позакрывать и не выходить с территории, и правильно, надо пересидеть, подождать,

пока все не закончится... Голос тети Жени постепенно обрел непривычную, отчаянную громкость, даже Витек как будто удивился и замедлил шаг. И объяснил, как умел, про спасение утопающих, которое известно чьих рук дело. Раз выход не вернулся сам, надо его искать, а ему, Витьку, в понедельник на работу, и козел этот – начальник который, не примет объяснение «не мог уехать с дачи». И вдруг действительно что-то серьезное случилось, а новости не слушаешь, и вообще – если бы все вот так пересиживали, и никто не трепыхался сам, то войну бы не выиграла и в космос не полетели, сидели бы да ждали, пока придут и все вместо них сделают.

Тетя Женя растерянно посмотрела на Витька – была она женщина простая и не поняла, при чем тут космос с войной, – после чего продолжила гнуть свою линию:

– Куда ты сразу, суббота только. Посидел бы, подождал...

Витек рассердился:

– С кем тут сидеть, с тобой?

До калитки, за которой начинался лес, оставалось всего несколько шагов. Тетя Женя, исчерпав доводы, молча вцепилась Витьку в рукав. Витек плюнул с досады и все равно пошел дальше, но тетя Женя ехала следом, упорно держась за него и шурша по садовой дорожке тапками. Куртка перекрутилась, истершаяся ткань трещала. Витек попытался оторвать от себя жену, но она вцепилась еще крепче, вдобавок больно ущипнув его сквозь рукав. Так они боролись с минуту, не говоря ни слова и даже не глядя друг другу в лицо. Наконец тетя Женя отступила, потирая измятые до малиновых пятен руки. Витек свирепым рывком одернул на себе одежду и открыл калитку.

Походы за грибами он любил почти так же страстно, как свой самогонный аппарат. И всегда чувствовал себя лучше, свежее, что ли, когда перешагивал границу между обжитыми территориями и лесом. Пусть лес был жидковат и повсюду валялся человеческий мусор – все равно здесь Витек был охотником, добытчиком, следопытом.

Он расправил плечи, глубоко вдохнул травянисто-хвойный лесной воздух и неторопливо пошел по тропинке.

– Чтоб к обеду был, – раздался за спиной подрагивающий голос жены.

– Готовь иди, – не оборачиваясь, ответил Витек и ускорил шаг. Тетя Женя смотрела ему вслед, пока темная куртка не растворилась в

густой лесной тени.

К обеду он не вернулся. Не вернулся и к вечеру, и на следующий день тоже. Всю первую неделю загадочной изоляции Вьюрков, пока дачники изумлялись, отрицали, смирялись со своим теперешним положением и вновь вспыхивали надеждой вырваться обратно в привычный мир, тетя Женя ждала мужа. Дежурила у запертой калитки, лишь изредка отлучаясь со своего поста.

Этого ее тихого, собачьего подвига никто не заметил. Приготовленный по приказу Витька обед стоял в холодильнике, тетя Женя его не ела, только иногда пробовала щи – не прокисли ли. Даже Валерыч про все это не знал – он исследовал территорию, держал совет с другими дачниками и вообще был слишком занят. А тетя Женя бродила тем временем вдоль забора, вглядываясь во враждебно, как ей казалось, притихший лес. С Валерычем она пересеклась позже, когда оба выкроили минутку, чтобы покопаться в огороде: не пропадать же огурцам из-за творящихся вокруг странностей. Тетя Женя поздоровалась и буднично спросила совета – стоит ли заявлять о пропаже Витька в полицию. Валерыч посмотрел на нее с недоумением, и потом оба долго молчали.

На седьмой день, ближе к вечеру, свинцовая туча накрыла Вьюрки своим брюхом, и пошел сильный дождь. Все попрятались, закрыли окна, и только тетя Женя в плаще маячила у забора, похожая на коротконогий блестящий гриб. Садовую дорожку развезло, и ее резиновые сапоги оставляли в грязи аккуратные лужицы тридцать седьмого размера.

Стемнело, и тете Жене пришлось вернуться на дачу, но она все равно то выходила на крыльцо, то посматривала в окно. И когда в очередной раз высунулась за дверь и направила в мокрую шелестящую темноту луч фонарика, то заметила на дорожке новые следы, куда крупнее своих. По ним, смазанным и оскальзывающимся, она дошла сначала до калитки, потом до сарая и, наконец, до кухонного флигеля.

Тетя Женя приоткрыла дверь. Во флигеле было темно, и из этой темноты явственно доносились какие-то странные, болотные звуки – хлюпанье, шуршание. Жмурясь от страха и борясь с желанием убежать

поскорее на теплую безопасную дачу, тетя Женя проползла вдоль стены, нащупала выключатель...

Посреди кухни темным конусом стоял необыкновенно грязный, залепленный мокрой хвоей Витек. Он смотрел прямо перед собой, неподвижно и напряженно, как будто обдумывал нечто малодоступное для своего ума. В руке Витек держал какой-то узелок. Всмотревшись в тетю Женю, точно на опознании, он неуверенно протянул узелок ей. Это был оторванный от куртки капюшон с завернутыми в него измятыми, склизкими грибами.

– Явился наконец, – тихо сказала тетя Женя.

С утра Витька, нетвердым шагом направлявшегося к туалету, увидел через забор Валерыч. Удивился до онемения, потом замахал руками, начал звать приятеля не сразу прорезавшимся голосом. Витек, не оборачиваясь, добрал до облупившейся деревянной будки и стал тыкаться в дверь. Он как будто не догадывался, что нужно дернуть за ручку, и ломился внутрь всем телом, упорно и неторопливо. Валерыч умолк и озадаченно наблюдал за ним. Наконец Витек одолел дверь, случайно подцепив ее рукой, и скрылся в будке.

Вскоре все Вьюрки сбегались посмотреть на вернувшегося. До Витька из леса пришли обратно только супруги с Лесной улицы, которых вывела овчарка, но они ничего толком не рассказали. Еще был слух, что вернулся кто-то из строителей-гастарбайтеров, но, во-первых, для дачников они все были на одно лицо, и за вернувшегося, возможно, приняли того, кто никуда не уходил, а во-вторых, по-русски они все равно почти не говорили. К тому же Витек провел в лесу целую неделю, что было удивительно даже для безоблачных прежних времен, когда из Вьюрков можно было и уйти, и уехать.

У дачников, конечно, была к Витьку уйма вопросов, включая главный – как оно там, снаружи? Но Витек не отвечал, сколько его ни теребили. Все в той же своей «лесной» куртке он сидел за кухонным столом, сгорбившись и слегка покачиваясь из стороны в сторону. По словам раскрасневшейся и разговорившейся тети Жени, он отказывался переодеваться – более того, оттолкнул ее, когда она сама попыталась расстегнуть на куртке молнию, – и не желал ни мыться, ни спать, хотя вид имел очень усталый. Единственное, что Витек делал охотно, постоянно и с жадностью, – это ел. Вылизанные тарелки

громоздились перед ним на столе, под столом валялись пустые консервные банки, а Витек все ел, со всхлипыванием втягивая в себя все подряд: щи, грибы, варенье, тушенку, овощи с огорода. Тетя Женя вертелась у маленькой плиты, готовя сразу на обеих конфорках, и уже несколько раз отбирала у мужа сырые картофелины.

Рыбачка Катя заглянула в набитый дачниками флигель, когда Витька безуспешно допрашивала председательша Клавдия Ильинична.

– Послушайте, Виталий... – то и дело говорила она, пытаясь привлечь внимание жующего Витька.

– Виктор он, – тихо поправляла тетя Женя, но председательша то ли не слышала, то ли привычно не обращала внимания на неприметную тетю Женю и через некоторое время снова подавалась вперед:

– Послушайте, Виталий...

В такт движениям Витьковой челюсти на шее у него подпрыгивал раздувшийся клещ. Во флигеле пахло землей, прелым мхом, невымытым телом. Но самым противным было не это, а то, как именно Витек ел – хлюпая и всхрюкивая, с мрачным напряженным лицом.

– Нет, это невозможно, – пожаловалась Клавдия Ильинична, обернувшись к многочисленным зрителям.

– Ничего, отойдет – заговорит, – неуверенно сказал Валерыч.

В этот момент Витек проглотил последнюю ложку пшенной каши. Он посмотрел в пустую миску, потом обвел тяжелым взглядом стол и увидел лежавшую на нем округлую руку председательши. Витек схватил ее и потянул в рот. Клавдия Ильинична охнула и попыталась освободиться, но Витек не отпускал. Он нацелился на ее указательный палец, и впрямь напоминавший сосиску.

Бероев подскочил к столу и дал Витьку в глаз, да так сильно, что тот слетел с табурета. Женщины завизжали. Витек сгруппировался, мотнул головой и бросился на четвереньках к двери. Среди дачников возникла кратковременная паника. Крупный бородач Степанов, оказавшийся у Витька на пути, получил головой в колено и упал, другие поспешно отскочили в сторону – в резво бегущем на четвереньках Витьке им почудилось что-то вроде огромного клопа...

Вырвавшись из флигеля, Витек вскочил на ноги и бросился в сторону леса, к забору. Почти у самой калитки его догнал Валерыч.

Витек оттолкнул его, сбил с ног и попытался вскарабкаться на старый, шаткий забор – о существовании калитки он как будто забыл. Валерыч поймал озверевшего приятеля за штанину, изношенная ткань разошлась, обнажилась бледная волосатая нога. Валерыч подпрыгнул, ухватил упорно, по-жучиному рвавшегося вверх Витька за ремень и сдернул с забора. Витек отбивался и скалил зубы.

– Это что ж такое? – укоризненно сказал Валерыч, усевшись на него верхом и надежно прижав к земле. – Пожрал и обратно?

Подбежала охающая тетя Женя с мотком бельевой веревки. Валерыч долго возился, вязал какие-то хитрые узлы, потом наконец поднял стреноженного Витька, отряхнул и потащил во флигель.

Витька снова усадили на табурет, но расспрашивать его уже никому не хотелось. Любопытные дачники почуяли в нем что-то чуждое и пугающее: это было трудно описать словами так, чтобы не вышло глупо. Они стали потихоньку расходиться, стараясь не смотреть ни на Витька, ни на тетю Женю, которой по-хорошему, по-человечески надо было, конечно, помочь, только вот как?

Клавдия Ильинична тоже ушла, но пообещала вернуться, как только Витек придет в себя. Наконец остался один Валерыч.

– Ну, ты, в общем... – он похлопал Витька по плечу. Витек медленно повернулся и посмотрел на него исподлобья. Его самые обыкновенные, светлые глаза не выражали ничего. Раньше Валерыч видел такой взгляд только у мертвой рыбы.

– Вот, гороховый, – тетя Женя поставила перед Валерычем на стол миску с супом. – Пока то да се, уже и обедать пора.

Вторую миску она придвинула к себе. Зачерпнула, подула и поднесла ложку к жадно вытянувшимся губам Витька. Витек шумно отхлебнул, качнувшись всем телом в сторону стола.

– Тише ты, опрокинешь все. У-у, голодный какой, по лесу бегал, шишки грыз, проголодался, да? – заворковала тетя Женя. – Не спеши, вот так. Кушай, кушай.

Валерычу это идиллическое кормление показалось неприятным и даже жутким. Он похлебал немного из вежливости и бочком стал выбираться из-за стола.

Тетя Женя даже головы не повернула в его сторону. Валерыч потоптался на пороге флигеля, соображая, можно вот так, молча, уйти

или это будет невежливо, потом плюнул – буквально, выплюнул застрявшую в зубах гороховую шкурку, – и направился к калитке.

Вид и поведение вернувшегося Витька очень впечатлили Никиту Павлова, самого молодого «настоящего дачника» в поселке. Никите, долговязому, с мальчишеским еще лицом, было лет тридцать. Его поколение, к тихому неудовольствию вьюрковских долгожителей, на дачах – настоящих семейных дачах, с огородом и сиренью, – практически не появлялось. Закончились каникулярные побывки с обязательным поливом, сбором и окучиванием – и все, вчерашняя молодежь вросла в городской асфальт. Отдыхать они теперь не ездят, а летают – далеко, с постоянным риском для жизни, в эти непонятные раскаленные страны, где то теракты, то акулы, то цунами. А дачи стоят пустые, заплетаются колючими лабиринтами необитаемые сады, заваливаются ограды, вяхири ухают на чердаках...

К Никите Павлову все эти претензии дачников с многолетним стажем отношения не имели. Он постоянно, и не только в сезон, навещался на родительскую дачу. Родителям все было некогда, да и за границу они полюбили на старости лет. А он поддерживал какой-никакой порядок в своей единственной жилой комнате – остальные, набитые вечным дачным хламом, были заперты, – подновлял, подкрашивал и даже завел огород с неприхотливой зеленью. Все получалось у него неловко, косо-криво и как-то смущенно, что ли, но вьюрковцы одобряли его верность дачным традициям. Тянется к земле, к наследству, к березам и реке Сушке – вот и молодец.

А Никита просто пил. И стыдился этого, страдал от укоризненно-сочувствующих взглядов своего деликатного профессорского семейства. Семейство искренне считало его бедным больным мальчиком, жалело и позволяло сидеть у себя на шее, поскольку ни на одной работе Никита не задерживался. Сам Никита считал себя бесполезным мудаком, но отказаться от единственного доступного удовольствия – побыть пьяным и почти счастливым – никак не мог. Пьяницей он был тихим, одиночным и скрытным. А на даче можно жить и пить спокойно, с почти чистой совестью и уж точно на чистом воздухе. И своя закуска с огорода.

После того как Вьюрки по неизвестной причине захлопнулись сами в себе, Никите стало требоваться больше выпивки для

относительного спокойствия. Дачные запасы спиртного были довольно обширны, но у Никиты все равно перехватывало дыхание, и хотелось на волю, к людям и магазинам, когда он представлял, что запасы кончатся прежде, чем чары спадут и из Вьюрков снова можно будет уйти беспрепятственно.

А между тем все только начиналось.

Кисло пахло перегаром. Так пахло много лет назад от вьюрковского пьяницы дяди Васи, который ходил по соседям и назойливо выпрашивал «что есть». Мама Никиты выносила ему одеколон или пузырек лекарственной настойки и морщилась, глядя, как он опрокидывает пузырек в себя.

Теперь так пахло от самого Никиты. То, что успокоило его и уложило спать, перегорело внутри, болью выстрелило в голову, тревожной дрожью разлилось по ногам, и Никита чувствовал, как кожа на них синееет, вздувается пузырями, превращаясь в дяди-Васины грязные тренировочные штаны с дыркой у паха. Счастливый дядя Вася, он давно умер и покинул Вьюрки. А Никита умирать боялся – в основном из-за тех мыслей, которые будут сверлить его мозг в последние бесконечные секунды: мне дали жизнь, а я ее не прожил, упустил. Ничего не успел, пролетел кубарем, и теперь эту жизнь у меня отнимают, и не будет второй попытки, а я только начал понимать, как нужно. Я стал дядей Васей. Только дядя Вася ничего не понимал и умер спокойно, а я понимаю, я все понимаю... Понимать – это лишнее, только царапает, тревожит и растекается под ребрами ясным ужасом полного осознания. Поэтому и надо усыплять себя, чтобы понимать как можно меньше, скользить по поверхности. Но кончатся дачные запасы водки и коньяка – и полное осознание наступит. И он поймет, что заперт навсегда среди этих домиков и яблонь, со старушками и хриплыми петухами, и жизни точно уже не будет, никогда, только отмеренное время ясного ужаса. И они даже никогда не узнают, кто и зачем запер их здесь – никто, низачем, просто так...

Громкий стук вышвырнул Никиту из полусна, заставил вскрикнуть в ответ. Тоскливый ужас, заглушивший и головную боль, и холод – одеяло оказалось на полу, – все еще стоял комом в горле. Ведь алкоголь на самом деле депрессант, безо всякого «анти», с привычным похмельным раскаянием, подумал Никита и запоздало сообразил: кто-

то стучит в окно. Сосчитав в темноте все углы, он навалился на подоконник и отдернул штору. Никита почему-то решил, что это еще кто-то спятил вслед за Витьком и теперь ломится к нему.

В предрассветных сумерках он увидел соседку – ее, кажется, Катей звали. И тут же понял, что он без трусов. Пришлось поспешно согнуть колени, чтобы нижнюю часть не было видно из-за подоконника.

Катя, впрочем, тоже стояла перед ним в какой-то куцей ночнушке, но ее это явно не беспокоило. Вглядываясь темными провалами глаз в Никитино лицо, она спросила:

– Ты слышишь?

– Не глухой, – кивнул Никита и зажмурился от ненависти к себе: к нему ночью пришла взволнованная и практически голая женщина – сама пришла, – а он ей сразу нахамил. Никогда, никогда не будет жизни, все впустую. Дали зачем-то крохотный кусочек времени – так, просто подразнить возможностями...

И он наконец услышал. Откуда-то доносился странный звук, описать который было затруднительно. На ум приходило единственное слово – «тоскливый». Звук не был особенно громким, но как будто заполнял собой все, в нем тонули птичьи голоса, сухое стрекотание кузнечиков и даже мощный хор лягушек на реке. Он заливал Вьюрки, точно холодная слизь, заползал в каждую щель, проникал в мозг, обволакивал сердце, и это от него становилось так невыносимо... Никита удивленно заморгал, но уверенность росла – именно этот звук ворочался сейчас в его голове тоскливыми, полными отвращения к себе мыслями и горьким комом подступал к горлу.

– Слышишь? – повторила Катя.

Больше всего им сейчас хотелось либо проткнуть себе барабанные перепонки, либо найти источник звука и заглушить его навсегда. Бредя по темному поселку, Катя с Никитой, – который штаны все-таки надел, а вот про обувь забыл, – обнаружили, что хочется этого, похоже, не только им одним. Хлопали двери, шуршала трава, под фонарями на улице мелькали фигуры разбуженных дачников.

– Это волки? – тревожно спросила, ткнувшись в Никиту грудью, какая-то дама в шали. – Слышите? Они могут сюда прийти? Моего брата загрызли волки, в деревне. Совсем молодой был... Они придут?

Никита растерянно молчал. Дама махнула рукой и пошла дальше, продолжая с надрывом задавать вопросы в пространство.

Они свернули на Лесную улицу, когда звук внезапно изменился. Теперь это было отчетливое, густое шипение, и оно не заливало все вокруг, а определенно доносилось из какой-то одной точки. От шипения уже не было тоскливо и холодно, будто от вселенского сквозняка, и Никита взбодрился. Он ускорил шаг и вскоре оказался возле забора, за которым начинались владения Витька.

– Да подожди ты! – торопливо зашептала сзади Катя, но Никита уже открыл калитку.

Окна кухонного флигеля ярко светились в серой мгле. Заглянув в одно из них, Никита увидел Витька, тетю Женю и Валерыча. Валерыч сидел за столом и что-то говорил, Витек покачивался на своем табурете, связанный, а тетя Женя стояла рядом с окном, у плиты. Никита приткнулся к стеклу, чтобы рассмотреть все как следует, и тетя Женя, бросив рассеянный взгляд на окно, взвизгнула, увидев с другой стороны призрачное пятно его лица. Он виновато заулыбался и помахал ей рукой, всячески демонстрируя, что бояться здесь нужно не его.

Тетя Женя распахнула дверь кухни, выпустив навстречу Никите и подоспевшей Кате новую порцию шипения, и затараторила:

– Что ж вы так пугаете, вы б постучали или уж зашли сразу, зачем в окно-то, чуть не до инфаркта, вы заходите, заходите, открыто же, завтракаем...

В кухне на стене висели часы, на которые Никита машинально посмотрел – завтракали хозяева в четыре утра. А потом он обнаружил источник этого скребущего по ушам, шершавого шипения. На столе стоял включенный радиоприемник. Витек внимательно смотрел на него и, как видно, слушал.

– А это чтоб он не скучал, – торопливо объяснила тетя Женя. – А то как я уйду, он скучать начинает. Колобродишь тут, да, не отпускаешь меня? Ну вот, смотри, сколько гостей теперь. Все соседи к тебе пришли, вот как весело, да? А ты сейчас кашку покушаешь. Будешь кашку?

Она говорила тоненьким игривым голосом, как с младенцем. Витек сосредоточенно слушал радиошипение, и вид у него был такой

угрюмо-серьезный, точно из динамика доносились сводки с фронта. У Никиты почему-то подернулась гусиной кожей левая рука.

– А звук? Такой... странный звук, вы слышали? – с неожиданной деловитостью спросила Катя.

– Да это радио, радио у него играет. А то крушил все со скуки. Головой вон бился, видали шишку? Кто головой бился, Витенька? Кто мне спать не дает? Только задремала... А вы, может, тоже позавтракаете? – развернулась к нему тетя Женья.

Валерыч, так ни слова гостям и не сказавший, посматривал на нее из угла удивленно и неодобрительно.

На следующий день странный ночной звук во Вьюрках особо не обсуждали. Так, несколько соседок пожаловались друг другу, что гудело что-то ночью, мешало спать. Дачники копались в огородах, одалживали незапасливой молодежи соль и спички – у кого-то уже закончились. Светка Бероева чинно выгуливала детей по обычному маршруту.

Валерыч то и дело подходил к забору между участками, пытаясь высмотреть, чем заняты Витек с супругой, но соседи почти не показывались. Только пару раз тетя Женья водила смирного, парестантски закинувшего связанные руки за спину Витька в туалет. Валерыч не окликал их, наоборот – приседал, прячась за кустами.

А ночью уже председательша Клавдия Ильинична проснулась от тоски и незнакомого ей прежде томления. И подумалось ей о том, что она уже старуха и скоро умрет по естественным, но не становящимся от этого более справедливыми причинам. Сама потихоньку удивляясь своим мыслям, Клавдия Ильинична положила ладонь на дряблую грудь. А ведь какой был у нее в молодости бюст, яблочки наливные, и первый ее, не Петухов, ошалел от восторга, когда выпустил их – тоже впервые, – на волю из глухого лифчика. И не вернешь молодость и красоту, и сладкую женскую уверенность, когда идешь по улице и знаешь – смотрят на тебя. Отняли все, отняли...

А пятнадцатилетняя Юлька по прозвищу Юки чуть не захлебнулась во сне слезами и теперь, свернувшись в клубок, горько плакала по родителям, оставшимся за пропавшими воротами. И все спрашивала неизвестно у кого: где они, и когда она их снова увидит, и

кто теперь будет решать за нее неположенные по возрасту проблемы, кто обнимет тепло и крепко, как мама, и защитит от непонятного мира.

Никита, вновь выброшенный из сна мыслью о собственной бесприютной никчемности, уже открыл дверь на улицу. Только в одном он был уверен: нужно наконец выяснить, что это такое, избавиться от этого звука навсегда, чего бы это ни стоило...

И тут звук оборвался. Затрещали кузнечики, шлепнула по поверхности реки невидимая рыбина, навалился вернувшийся сон. С трудом разлепляя опухшие веки, Никита побрел досыпать.

Наутро дачники начали роптать, стараясь, впрочем, не рассказывать о том, какие именно неприятные мысли посетили их ночью. Впадать в тоску заново никому не хотелось. Выяснилось, что многие вообще не смогли уснуть после того, как их разбудило «это нытье». Бледная и помятая Клавдия Ильинична говорила у закрытого магазинчика группе дачниц, что непременно найдет управу на беспредел. Дачницы охали, кивали и выдвигали разные предположения относительно природы звука. Одна, например, считала, что над вьюрковцами ставят какой-то эксперимент и все может быть связано: и исчезновение ворот, и преобразование леса и реки в некие аномальные зоны, таящие смутную угрозу, и вот теперь этот звук, определенно действующий на психику...

На закате Вьюрки огласились ревом: дети не хотели ложиться спать. Им казалось, что звук – это часть повторяющегося снова и снова страшного сна. Никита Павлов сидел на веранде и пил из горла хороший, с шоколадным привкусом коньяк. Это было едва ли не лучшее из его запасов, и, конечно, Никита совсем не так планировал его выпить – хотя, в сущности, какая разница, если главное – это выпить. Но он надеялся, что опьянение окажется более качественным и приятным, а сон, соответственно, – более крепким. Коньяк он закусывал редиской. В животе бурчало.

Эффект вышел прямо противоположным ожиданиям. Никита проснулся где-то через час после того, как лег, причем проснулся уже сидя и с мыслью о единственном ноже, имевшемся на даче. Нож был длинный, тонкий, с зубчиками. Сидя в скомканной постели и таращась в темноту, мысленно Никита был уже на веранде, а нож был вынут из

ящичка. Лезвие поблескивало в идущем неизвестно откуда холодном свете. Никита водил по зубчикам пальцами, и кожа взрезалась с готовностью, почти лопалась под ножом, как спелый арбуз, расходясь в стороны и обнажая красную мякоть.

Звук пропал, а Никита обнаружил себя стоящим посреди комнаты. И ему все еще хотелось пойти на веранду, взять нож и перейти от пальцев к более существенным частям тела. Ведь это такая возможность, и все легко и просто. Такая возможность радикально сократить время, отмеренное на тоскливое отчаяние... Остатки, осколки желания сделать это перекатывались где-то внутри, и даже они были нестерпимо острыми.

Никита торопливо вылез в сад через окно. И побрел в темноте – подальше от веранды, подальше от ножа.

Дача Бероевых была самой большой во Вьюрках. Это была даже уже не дача, а целый особняк – кирпичный, двухэтажный, многокомнатный, с необыкновенно высоким забором. А в настенных фонарях имелись датчики движения. Если ночью мимо кто-то проходил, особняк вспыхивал внезапной новогодней елкой и быстро растворялся в темноте за спиной у гуляющего.

Когда фонари зажглись на этот раз, на ажурном балконе стоял сам Бероев. Он прилаживал к кронштейну для спутниковой тарелки добротную веревочную петлю. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное, как на деловых переговорах.

Никита Павлов, на которого и среагировали датчики в фонарях, остановился. Бероев бросил на него быстрый взгляд и продолжил свою работу. Никита сначала подумал, что, может быть, он веревку для белья вешает – коньяк никак не выветривался из организма.

Никита, как и большинство вьюрковцев, Бероева почти не знал и относился к нему с некоторой классовой подозрительностью – «солидный господин», почти наверняка бандит, дай бог если бывший. Но он вдруг ясно представил себе, что Бероев сейчас повесится прямо у него на глазах, превратится из малоприятного, угрюмого, но все-таки человека в неодушевленный предмет. И понял, что так быть не должно, ни в коем случае. Даже в качестве бандита Бероев стал внезапно Никиту устраивать – лишь бы не становиться свидетелем того, как это качество непоправимо изменится.

– Эй! – крикнул Никита. Он крепко заткнул себе уши пальцами, поэтому не мог понять, достаточно ли громко зовет. – Слушайте! Эй! – Как его назвать, если имени не знаешь: эта вечная проблема не умеющих окликать друг друга на улице бывших господ-товарищей... – Бер... Уважаемый! Вы это... вы... не надо!

Бероев вздрогнул, и его твердое лицо вдруг некрасиво скомкалось. Никита с изумлением подумал, что гипотетический бандит, кажется, собрался рыдать. Но Бероев только беззвучно шевельнул трясущимися губами – наверное, сказал что-то, – сдернул веревку с кронштейна, бросил ее вниз и ушел в дом. Так быстро, будто исчез, телепортировался. Только дверь хлопнула.

Калитку Никита открыл ногой, а вот вломиться без стука в чужой дом не получилось – дверь не поддавалась на пинки. Руки были заняты, и вынимать пальцы из ушей он не собирался, хотя и то, и другое, и третье – в общем, все – уже болело. На грохот и дребезжание стекла, которые Никита скорее чувствовал, чем слышал, долго никто не реагировал. Наконец из глубин дачи выплыло светлое пятно – кто-то шел с фонариком. Катя открыла дверь, молча поглядела на Никиту и протянула ему маленькую пластиковую коробочку. В коробочке были беруши.

– Так полегче, – услышал Никита приглушенный Катин голос, когда ввинчивал в уши мягкие трубочки. – Тише становится. Но он все равно... просачивается внутрь, прямо в мозг, и все думаешь, думаешь...

Никита увидел, как она бездумно царапает коротко подстриженными ногтями кожу на груди, и понял, что Катю надо спасать. Вообще-то, он сам пришел к ней спасаться, бродил-бродил по онемевшему от неслыханной тоски поселку и вдруг снова оказался на Вишневой улице, у Катиной калитки, и вспомнил, каким решительным чувствовал себя, рисуясь перед неожиданной боевой подругой.

– Заметил, о чем мы думаем? Он же самое противное вытаскивает... Вот смотри, я, например, – я бесплодная. Он меня про это думать заставляет, – торопливо, сквозь зубы проговорила Катя и выжидательно посмотрела на него. – А с тобой что?

– А я алкаш.

По Катиному лицу скользнула кривоватая улыбка – левый уголок рта сползал, подрагивая, вниз, будто от нервного тика.

– Я не хочу про это думать, а он давит, давит. Он нас выматывает. Из всех самое мерзкое тянет. Все лежу и думаю... это же с ума сойти, сколько людей... все встречались, любились, а на мне оборвалось, безо всякого смысла... – Катя сжала виски пальцами. – Я не хочу про это говорить, почему я про это говорю?..

Никита молча взял ее за локоть и повел за собой.

В общем-то, они знали, куда нужно идти. Звук то появлялся, то пропадал и шел как будто отовсюду одновременно, так что поиски его источника казались на первый взгляд делом совершенно безнадежным.

Но только на одной даче сейчас определенно творилось нечто странное.

Витек сидел на своем табурете посреди ярко освещенной кухни. Все было так знакомо, по-дачному буднично: клеенка в цветочек на столе, старый электрический чайник, немного загоравший обзор, ваза с сухими рыжими фонариками физалиса в углу. Вот только у Витька, ерзавшего на табурете и выкатывавшего из орбит покрасневшие глаза, рот был заклеен прозрачной полосой скотча. И он безостановочно шевелил губами, они словно жили на его лице какой-то бурной отдельной жизнью. Под скотчем пузырилась слюна.

– Ух ты! – прошептала Катя, и Никите в этом коротком выдохе почудилось почти что восхищение.

Скотч благодаря стараниям Витька постепенно отклеивался. Он освободил нижнюю губу, и полоска повисла на верхней прозрачными усами. Витек судорожно задвигал чем-то в горле, как кошка, собирающаяся отрыгнуть шерсть, и из его рта полезло черное. Никиту от ужаса даже не обдало, а будто хлестнуло холодом. Он уже был готов к тому, что сейчас одержимый Витек изблует из себя демона и к потолку поднимется, обретая постепенно человекоподобную форму, густой сатанинский дым.

Напрягшись и побагровев, Витек выплюнул на пол черный комок, в котором Катя, присмотревшись, опознала обыкновенные капроновые колготки. А Витек запрокинул голову, распахнул рот, и тот самый звук полился из него потоком чистой ледяной тоски.

Только сейчас они поняли, что этот звук был воем.

Никита сполз по стене вниз, тоска склизким горчащим комом ворочалась у него под ребрами, не давая вздохнуть. Он раньше и представить себе не мог, что человеку – то есть, без околичностей, ему самому – может так моментально и бесповоротно расхотеться жить. Весь ужас равнодушного мирового хаоса, вся непролазная бессмысленность житейских трепыханий розово-мохнатого обрывка плоти, зовущего себя человеком, вырывались сейчас из Витька. Никита заметил в стене ржавый гвоздь, вколоченный по самую шляпку, и ему страшно захотелось вдруг выдрать этот гвоздь – чем угодно, пальцами, зубами, – выдрать хотя бы наполовину, чтобы было на что надеяться с размаху лбом...

Мелькнула тень, и в освещенном окне появилась тетя Женя. Дверь флигеля никто не открывал – значит, все это время она была там. Тетя Женя недовольно высказала что-то Витьку, а потом подняла колготки с пола, скрутила их в комок потуже и снова засунула в его распахнутый рот. Невыносимый звук оборвался.

Когда Никита вломился в кухню, тетя Женя старательно заматывала своему мужу рот скотчем – прямо через всю голову, ламинируя заодно редкие волосы на затылке.

– А что делать-то? – бодро подмигнула она Никите, как будто в его появлении ничего неожиданного не было. – Как отойдешь от него – сразу выть начинает. А тете Жене ведь тоже спать надо. Надо тете Жене поспать или нет, а, Витенька?

Никита шагнул вперед и ушиб ногу о старую, солдатско-сиротского вида раскладушку со скомканным постельным бельем. Тетя Женя была на кухне все это время – она и спала здесь.

Похлопав Витька по пережатым прозрачной лентой щекам, тетя Женя обрезала скотч.

– Его отпустить надо, – подала вдруг голос Катя, прятаясь у Никиты за спиной.

– Куда это?

– В лес. Он обратно хочет...

«А она почему знает?» – встревожился Никита. Ему внезапно стало немного не по себе от того, что Катя стоит у него за спиной, дышит в голый незащитный загривок...

Приветливая хозяйская улыбка сбежала с лица тети Жени, ниточки бровей сдвинулись:

– Ты что говоришь, деточка? А ну как он потом не вернется? Тебе-то, может, и непонятно, а он мне муж, деточка. Уж сколько лет, дай бог. Куда я, по-твоему, без мужика?

– Но он же... он... – забормотала Катя, и растерянность, испуг в ее голосе Никиту, как ни странно, успокоили.

– Ничего, вылечим! И хуже бывало. Или он вам спать мешает? Может, вы к условиям привыкли? Мы-то простые, по коммуналкам полжизни. И ничего!

Тетя Женя даже как будто увеличилась в размерах, рыжеватые кудряшки у нее на голове взъерошились, и она, сияя лицом от своей гневной, выстраданной правоты, двинулась на Никиту и Катю.

– Теть Жень, люди от него с ума сходят! Бероев вон чуть не повесился.

– Бероев? Этот повесится! Где ж оно видано, чтоб от одного больного человека другие с ума сходили? Ты это где вычитал, а?!

Она подошла к ним вплотную, Никита отчетливо видел, как дрожит в ее прозрачных глазах придверная лампочка.

– У вас совесть есть? – шипела тетя Женя. – Совесть есть, а? В чужую семью пришли лезть?!

Никита почувствовал резкую боль в руке и запоздало понял, что тетя Женя ударила его по локтю поварешкой, которую молниеносно успела выхватить из раковины. Спустя секунду в стену над их головами тяжело врезалась обросшая жиром чугунная сковорода.

Спасаясь от разъяренной тети Жени, Катя с Никитой выскочили на улицу и тут же на кого-то налетели. Катя не удержалась на ногах и, вскрикнув, упала в траву.

Мрачный, заросший седой щетиной Валерыч отодвинул судорожно хватяющего ртом воздух Никиту в сторону. И, сунув голову за дверь кухонного флигеля, сказал только одно слово:

– Жень.

Сказал со значением, так, что больше ничего и не требовалось, и даже испуганный молодняк это если не понял, то нутром почувшал.

И тетя Женя вдруг растерялась, а лицо у нее стало невероятно несчастное, у Никиты от взгляда на это лицо разлился за грудиной щемящий холод – почти такой же, как до этого от Витькова воя. Но

через секунду в глазах у тети Жени опять вспыхнула и задрожала от гнева одинокая голая лампочка.

– А ты чего? Самый умный, да? Все, думаешь, видел? А знаешь, как он меня извел? За столько-то лет... знаешь, как извел?!

– Знаю.

Тетя Женя замотала головой, визгливо заматерилась, ткнула пальцем в собственную щеку, смятую коротким старым шрамом:

– Вот, вот, это после него зашивали! Мало я натерпелась, по-вашему? Пришли чужую семью судить, праведники святые! Я, значит, не заслужила, чтоб муж мой при мне был? Чтоб спокойный, трезвый, чтоб котлетки кушал? Не заслужила я, по-вашему?!

– Жень.

Валерыч вошел во флигель и захлопнул дверь перед самым носом у сунувшегося было следом Никиты. Катя шумно и с облегчением выдохнула.

Они вышли из кухни уже втроем: Витек, по-прежнему замотанный скотчем, шел между ними, как под конвоем. Тетя Женя молча и ожесточенно вытирала с лица слезы.

Когда они приблизились к калитке, за которой начинался лес, Витек беспокойно завертелся, посматривая то на жену, то на Валерыча. Валерыч потрепал его по плечу и стал отдирать прозрачную полоску, замкнувшую Витьковы уста. Тетя Женя смотрела-смотрела, как он неловко пытается подцепить ее темными пальцами, потом не выдержала, молча отпихнула руку Валерыча и сама освободила Витьку и от колготок во рту, и от веревок на запястьях. Зазвенела ключами, уронила их, выругалась навзрыд и наконец сняла с калитки замок. Председательша Клавдия Ильинична всех заставила запереться, даже ходила по участкам и проверяла – чтобы не приходили больше из леса подобные Витьку.

Витек вылетел на волю стремительно, как еле дождавшийся прогулки щенок. Он втянул ноздрями воздух, издал странный звук, похожий не то на урчание, не то на хихиканье, и уже собрался бежать в свою неведомую чащу, но вдруг, точно опомнившись, начал торопливо раздеваться.

Катя отвернулась, и Никиту, который смотрел как замороженный, тоже дернула за руку – неприлично.

– А откуда ты знала, что он обратно в лес хочет? – шепотом спросил Никита.

– Не знала, догадалась...

И тут сзади раздался сдавленный возглас Валерыча:

– Жень?..

Тетя Женя, одной рукой отмахиваясь от Валерыча, другой торопливо срывала с тела растянутую удобными пузырями, пропахшую сыростью и кухней «дачную» одежду. И спустя несколько мгновений они уже стояли в серых сумерках летней ночи рядом – Витек и тетя Женя, голые, тонконогие, нелепые. И в этом непристойном и жалком зрелище было что-то необъяснимо героическое, даже торжественное, от чего хотелось притихнуть, склониться и задуматься. Катя, Никита и Валерыч смотрели на обнаженную пару почти с благоговением, словно прямо у них на глазах эти обыкновенные, давно знакомые люди совершали какой-то непонятный подвиг.

Тетя Женя криво улыбнулась и помахала им, как из окна поезда. И голые дачники, взявшись за руки, шагнули в лесную тень и беззвучно в ней растворились.

Несколько минут проползли в потрясенном молчании. Потом опомнившийся Валерыч взглянул на вторую пару, помоложе и одетую, и неожиданно рассердился:

– Чего уставились? А ну валите отсюда!

Больше ни Витька, ни тетю Женю во Вьюрках не видели. Ночной звук, нагонявший невыносимую тоску, тоже пропал. Дачники с облегчением забыли и о нем, и о своих глупых страданиях из-за непоправимой бессмысленности жизни, недостойных взрослого, со всем уже смирившегося человека.

Бероев ни словом, ни взглядом не дал Никите понять, что помнит о той петле на балконе своего добротного особняка. А самогонный аппарат Витька забрал Валерыч.

Мышь

Довольно долго никто из вьюрковцев не замечал, что со Светкой Бероевой что-то не так – то ли потому, что чересчур высоким оказался забор вокруг ее нездешне богатого дома, то ли потому, что в то время дачники еще не приглядывались с подозрением друг к другу. Казалось, что со дня на день прострекочет над Вьюрками вертолет или выйдут из леса натренированные парни с квадратными лицами и всех спасут. Вернут дачных пленников в привычную жизнь, манящую теперь из того далека, до которого ни доехать ни дойти, своей обыденной скукой. Большинству вьюрковцев уже даже не нужно было объяснение, которое упорно выискивали неприкаянные мужики и молодежь, – а женщины, особенно те, кто постарше, давно знали, что лучше не спрашивать, целее будешь и спокойнее. Они были готовы забыть и простить творящуюся вокруг чертовщину – лишь бы все наконец закончилось.

Довольно долго никто из вьюрковцев не замечал, что со Светкой Бероевой что-то не так – а после того, что случилось всего через месяц с небольшим после таинственного исчезновения выезда, не замечать старались уже целенаправленно. Потому что им рядом с ней предстояло жить, и неизвестно, как долго. Лето затягивалось.

Затягивалось оно буквально, хотя и этого пока старались не видеть. Судя по календарю, стоял конец августа, но ни желтых прядей на березах, ни первых прохладных ночей, ни особой августовской прозрачности воздуха не наблюдалось. Во второй раз зацвели яблони, восторженно свистели птицы по кустам, рядом с увесистыми кабачками снова поспела клубника. Опытным огородникам, особо внимательным к погоде, начинало казаться, что все летние месяцы обрушились на Вьюрки одновременно да так и застыли.

Дача у пенсионера Кожебаткина по старым меркам была почти роскошная, но по новым никакой конкуренции не выдерживала. Грязно-зеленая, деревянная, с резной верандой, она терялась на тенистом участке среди яблонь, смородины и неистребимой сныти, так что ее даже заметить с первого взгляда было непросто. В самом доме

царил идеальный, скопческий порядок – вазочки, клееночки, до скрипа вымытые тарелки, фотографии напружившей щеки в улыбках родни на стенах. Украшать стены Кожебаткин вообще очень любил, это помогало бороться со следами мушиных диверсий на обоях. Во всех комнатках рядами висели портреты, иконки, календари и журнальные пейзажи со следами маникюрных ножниц по краям. А на самом видном месте висел портрет товарища Сталина. И аккуратная кошка Маркиза, точно подтверждая, что место действительно правильное, чистилась под ним на диване, подняв кверху указующую заднюю ногу.

В ту страшную ночь пенсионер Кожебаткин проснулся от холода. Привычно чмокнул ввалившейся нижней губой, проверяя, на месте ли зубной протез – и вдруг обнаружил в своих деснах новые, твердые, крепко воткнутые штуки. Обсасывая их и удостоверяясь постепенно, что это зубы, только какие-то совершенно непривычные, Кожебаткин пробудился окончательно.

Огромная горящая луна взглянула на него сверху. Кожебаткин недовольно зажмурился. Там должна была быть не луна, а тщательно выбеленный потолок. А ниже – прямоугольники икон и портретов, и градусник фигурный, в виде пронзенной стеклянной трубочкой совы, по которой Кожебаткин узнал бы, действительно ли в спальне так холодно, или его просто знобит спросонья.

Кожебаткин открыл глаза. На полыхающий лунный лик набежала туча, а на самого Кожебаткина шагало из темноты чудовище – круглая кожаная башка безо всякого намека на остальное тело, несомая в воздухе длиннейшими многосуставчатыми ногами. Деловито перебирая частоколом ног, покачиваясь, словно дремлющий пассажир в полузабытом уже метро, безмолвный урод приблизился вплотную и застыл, уставив на Кожебаткина зрительные бугорки. Это был паук-косиножка, неведомым образом увеличившийся до размеров теленка. Кожебаткин вскрикнул – и услышал резиновый писк. Рванувшись прочь, он почувствовал, что перебирает сразу и ногами, и руками, переместившимися по неизвестной причине под его мягкое круглое брюшко и злодейски укороченными, так что сохранились буквально одни кисти и ступни. Шлепая ими по холодной и твердой поверхности, Кожебаткин покатился вперед, оглашая ночь испуганным писком – и вдруг, утратив опору, упал. Свалился с узкого карниза на выложенную

камнем дорожку, зашиб розовые, с микроскопическими коготками лапки и дрожащим от боли и страха комком юркнул в траву.

Мягкая тень метнулась из пионовых джунглей, где муравьи щелкали челюстями на приторно пахнущих шарах бутонов. Она навалилась на Кожебаткина, и словно раскаленные прутья проткнули ему грудь и живот. Истошно пища, Кожебаткин вырвался и побежал, роняя темную кровь. Тень, помедлив секунду, снова прыгнула, приблизила к обезумевшему пенсионеру свой древний ацтекский лик с полупрозрачными шарами глаз, дохнула гниющей мертвечиной. И Кожебаткин с последней, спасительной ясностью понял, что всего этого не может быть, и сейчас он проснется в своей постели, где он, должно быть, заснул сидя, пока читал старую газету, и поэтому ему снится кошмар. А потом, конечно, начнется отрыжка, и кислый желудочный сок будет достреливать до самого горла... Поняв это, Кожебаткин закрыл глаза, напряженно стараясь ввинтиться обратно в явь.

Кошка Маркиза, изящно сгорбившись, захрустела жирной домовою мышью, на землю упала откушенная голова в рваном кровавом воротничке.

А в своей влажной от обильного пота постели тем временем сидел, комкая пожелтевшую газету «Сад и огород», пенсионер Кожебаткин. Свеча в литровой банке, которую он экономно жег вместо настольной лампы, давно оплыла и захлебнулась парафином. Кожебаткин смотрел водянистыми бусинами глаз в темноту и подергивал носом.

Если бы кто-то знал эту предысторию, Вьюрки заволновались бы гораздо раньше. Но трудная смерть обращенного в мышь настоящего Кожебаткина осталась незамеченной, а Маркиза, единственная свидетельница и убийца по совместительству, ушла жить в кошачье царство Тамары Яковлевны – той самой старушки, что вечно забывала повернуть вентиль.

Поэтому вскоре по Вьюркам пополз слух, что пенсионер Кожебаткин сошел с ума. Учитывая его возраст и сопутствующие обстоятельства, это не сильно удивило изнывающих не только от невозможности покинуть пределы поселка, но и от аномально жаркой

для конца августа погоды дачников. От всего происходящего действительно можно было запросто спятить.

К тому же нельзя сказать, чтобы Кожебаткина во Вьюнках любили – он был беспокойным и малоприятным стариком, от которого многим доставалось. Он, к примеру, прирезал себе землю за счет участка соседей, родителей Юльки по прозвищу Юки, и демонстративно высадил там шиповник, когда на собрании зашла речь о возвращении прежних границ. А на этих самых собраниях Кожебаткин всегда негодовал громче всех, зачитывая по бумажке целый список претензий и требуя немедленно судить неплательщиков, коммунальщиков, а иногда и саму председательшу Клавдию Ильиничну, которая бледнела, покрывалась пятнами и потом всеми правдами и неправдами старалась провести собрание без участия Кожебаткина. Все вьюнковские дети знали, что даже за одно уворованное яблоко Кожебаткин обязательно вычислит их и явится к родителям со скорбным видом и жалобой. Даже Тамара Яковлевна и Зинаида Ивановна старались побыстрее уйти по срочным, только что придуманным делам, встретив на улице распираемого недовольством и активностью пенсионера.

Дачники заметили, что Кожебаткин стал собирать все подряд. Не только грибы, ягоды, щавель – это бы не привлекло внимания вьюнковцев, которые и сами запасались кто во что горазд, подозревая, что из-за таинственной изоляции скоро придется переходить на подножный корм. Он обрывал нестерпимо кислый девий виноград, сухие прошлогодние ягоды шиповника, какие-то сорняковые стручки, подбирал огрызки и косточки, громко шебуршился ночью в помойке – сначала думали, что это ежи опять роются в мусоре. Половину найденного Кожебаткин тут же запихивал в рот, а остальное прижимал дрожащими руками к груди и уносил. Ходил он теперь в одной и той же полосатой пижаме, которая становилась все грязнее. Сразу было понятно, что умственные дела пенсионера плохи. Никита Павлов, маявшийся то похмельем, то абстиненцией и, как следствие, болезненной чуткостью к ближним, от которых ждал в ответ такой же чуткости к своим страданиям, – так вот, Никита Павлов считал, что это голодное, возможно, даже блокадное детство проснулось в Кожебаткине. Ведь безвыходные теперь Вьюнки даже нестарому и здоровому человеку вполне могут показаться осажденными. Но никто не знал, как прошло детство пенсионера Кожебаткина, да и юность

тоже, и есть ли у него дети и внуки, и кем он раньше работал – хотя из-за его стремления всех судить и посадить кое-кто из соседей подозревал, что он этим по долгу службы и занимался, а теперь скрывает из-за вечно меняющихся оценок эпохи. При всей активности пенсионера о нем, оказывается, так мало знали – но об этом во Вьюрках задумались потом.

Разговаривать Кожебаткин перестал. Одним из первых в этом убедился Валерыч, и именно кожебаткинская метаморфоза, кстати, окончательно утвердила Валерыча в решении покинуть Вьюрки любым способом. Он встретил Кожебаткина ранним утром, тот семенил по обочине ему навстречу, прижимая к груди обглодок кукурузного початка.

– Здорово, – кивнул Валерыч.

Кожебаткин резко повернул к нему сухое личико, шевельнул носом и промолчал. Валерычу стало неловко – одно дело, если бы пенсионер не заметил его, или задумался о своем, или изобразил что-то подобное. Но Кожебаткин не отводил взгляда, словно вцепившись зрачками в Валерыча, а глаза у него были внимательные и пустые. Надо было как-то выходить из дурацкого положения.

– Ну ладно, – смущенно хмыкнул Валерыч, отвернулся и сделал вид, что любуется сизыми сливами.

Кожебаткин втянул ноздрями воздух, с отчетливым наждачным звуком поскреб быстро-быстро щеку и пошел дальше. И только когда его шаркающие шаги стихли, Валерыч смог наконец расслабить спину и выйти из напряженного, неприятного оцепенения.

А потом как-то ночью проснулась в дачной кухоньке Юлька-Юки. Хоть Юки и красилась в радикальный черный и носила стальной прыщик пирсинга в пупке, ей было пятнадцать, и к одинокой жизни она пока не привыкла. Юки спала в кухонном домике, потому что там успели поставить новую дверь с крепким замком. Родители потихоньку обновляли дачу и как раз уехали на пару дней договариваться о дешевых стройматериалах, когда Вьюрки неведомым образом замкнулись сами в себе.

Юки проснулась от обычного ночного шороха и лежала, смяв пухлую щеку подушкой, ждала, когда сон возьмет верх над тревогой. И вдруг совсем не по-ночному, отчетливо грохнуло за стеной кухоньки.

Кто-то задел бочку для дождевой воды, а потом прохрустел вдоль стены по гравию. И сразу стало холодно и тоскливо. В углу возле раскладушки стояла швабра, Юки захотелось взять эту швабру и вылететь с ней на улицу с криком «кто здесь?» – чтобы закончить все разом и взглянуть на эти неведомые фигуры, о которых во Вьюрках уже многие вполголоса говорили. При свете луны, только-только пошедшей на убыль, их наверняка можно было наконец разглядеть отчетливо, без вечного балансирования на краю яви, когда плотный силуэт неизвестно кого распадается вдруг на тени и ветки, оборачивается соринкой в глазу или исполинским лопухом.

Юки не позволила себе заранее представить все варианты развития событий и испугаться, скатилась с раскладушки и резво подползла на четвереньках к окну. Начала потихоньку выпрямляться, щурясь, – как будто надеялась, что если ей будет плохо видно, то и ее будет плохо видно тоже. Пыльный край шторы лег на лоб, Юки поднырнула под него и распахнула наконец глаза.

Под белесыми лучами луны в огороде копошилось что-то крупное, морщинистое, голое. По бокам у существа шевелились острые отростки, похожие на ошипанные крылья, а головы не было совсем. Юки взвизгнула и сдавила пальцами край подоконника, а спустя секунду поняла, что это не крылья, а локти, и голова есть, просто свешивается очень низко. И по ее огороду, прижимаясь к земле и настороженно вытянув шею, ползает абсолютно голый Кожебаткин. Который грызет, не срывая, только начавшие вытягиваться кабачки.

Он воровато оглянулся, по его подбородку стекал липкий сок, и Юки даже почувствовала особую масляную скользкость этого сока, и вдруг зачесались, заныли руки, ноги, бока, как будто Кожебаткин кусал и ее вместе с нежными, тонкокожими кабачками, которые высунули из-под листьев доверчивые мордочки по привычке, решив, что это хозяйка пришла – а встретили сумасшедшего пожирателя.

– Уходите! – севшим голосом крикнула Юки, барабаня согнутыми пальцами по стеклу. – Перестаньте! Вы больной!

Она была воспитанной девочкой и даже сейчас не решилась перейти на «ты». А Кожебаткин вдруг страшно испугался не то стука, не то ее вежливой ругани, сорвался с места и нырнул в малинник. Колючие ветки сомкнулись над ним, покачались немного и успокоились, и серебристый огород снова дремал под луной, как будто

ничего и не было. Только истекали соком растерзанные кабачки, и Юки морщилась у окна, пытаясь отогнать мучительно назойливое видение голого кожебаткинского зада.

А наутро выяснилось, что кто-то ограбил магазин. На магазин, а точнее – деревянный ларек, стоявший недалеко от исчезнувшего поворота и в благословенные нормальные времена снабжавший Вьюрки кое-какими продуктами, дачники буквально молились. Торговала в нем усатая, всегда завернутая в шаль Найма Хасановна, одна из вьюрковских старожилов. После того как Вьюрки замкнулись сами в себе, магазин, слава богу, остался здесь вместе со всеми запасами. На одном из собраний было решено, что отныне он считается складом, с которого можно брать продукты, но только в случае крайней необходимости и под надзором Наймы Хасановны, записывавшей, кто, сколько и почему взял. Сначала она брала деньги, но дачники все чаще просили записать в долг, и денежный оборот как-то сам собой сошел на нет. Найма Хасановна даже обрадовалась – невозможность потратить заработанное ее расстраивала, да и брать плату с покупателей сейчас, когда все они стали товарищами по несчастью, было немного неловко.

Вор разбил окно и вытянул все, что смог достать через решетку, – несколько пачек макарон, сахара и манной крупы. Собравшиеся поужасаться на следы кражи дачники разговорились и выяснили, что это не первый случай за последние несколько дней. У кого-то подозрительно уменьшилось количество огурцов и помидоров в огороде, у кого-то пропала мука, а у рыбачки Кати бесследно исчез садок с еще живыми голавлями – она, правда, грешила на кошек.

Громче всех негодовала Света Бероева – у нее унесли гречку, причем прямо из подпола.

– Я понимаю, попросить! – рублила она ладонью воздух перед носом растерянной Кати. – Если так нужно. Но воровать! Все в одной лодке! А у меня дети!

Все, конечно, понимали, что ограбил и магазин, и соседей не безликий «кто-то», а сошедший с ума пенсионер Кожебаткин. И странное поведение его вьюрковцы уже давно заметили, и внезапную страсть к собирательству, и на своем участке его видела не только Юки

– она-то как раз об этом умолчала, очень уж ей хотелось забыть омерзительную ночную картину. А Валерыч и вовсе видел, как Кожебаткин трусит к своей даче с его, Валерыча, сахарницей в руках. Но там осталась всего пара кусочков рафинада, да и связываться с ненормальным стариком Валерычу показалось неудобно и гадко.

Бероеву так не показалось. Он подошел чуть позже, посмотрел на разбитое окно, послушал разговоры и, выцепив из толпы Никиту, Валерыча и длинношеих братьев Дроновых, отправился с ними к даче Кожебаткина, чтобы «поговорить». Причем весь свой отряд он собрал практически молча, скупыми приглашающими жестами, и дачники хоть и переглядывались тревожно у него за спиной, отказаться не смогли.

Зеленая дача пенсионера была наглухо заперта, резная веранда и все окна – занавешены тряпками, заложены какими-то фанерками и картонками. Даже щелочки не было незаконопаченной, чтобы внутрь заглянуть, и на стук никто не вышел. Бероев собрался ломать дверь, но тут Никита решился все же подать голос и начал его отговаривать – пожилой ведь человек, голодал, и с головой уже плохо. К Никите, миролюбиво рокоча, присоединился Валерыч, водивший знакомство чуть ли не со всеми Вьюрками и имевший даже в выпуклых глазах Бероева некоторый авторитет. В итоге идти на крайние меры и вскрывать дачу все-таки не стали. Договорились все вместе караулить сумасшедшего старика, когда он выйдет на промысел, а потом – проводить до дома и забрать оттуда похищенные припасы.

Но Валерычу в тот день надо было покосить траву на участке, Дроновы отправились к бывшему фельдшеру Гене пробовать его экспериментальную бражку из одуванчиков, а Бероев по неизвестным причинам во всеуслышание поскандалил со Светой, и ему тоже стало не до Кожебаткина.

С наступлением темноты Кожебаткин сам напомнил о себе. Визг и звон бьющегося стекла вспороли теплое нутро дачной ночи. Кричала, как выяснилось, председательша Клавдия Ильинична Петухова – и было удивительно, что она, важная и плавная, исполненная почти царственного достоинства, может так пронзительно визжать. Сбежавшиеся на участок Петуховых дачники обнаружили ее на веранде. Клавдия Ильинична сидела в углу, привалившись к стене, и

зажимала рукой кружевную рубашку на своей обширной груди, а по кружеву расползлось страшное красное пятно...

Как оказалось, вышедшую ночью на веранду председательшу насторожило тихое шуршание из погреба. Решив, что там орудуют мыши, Клавдия Ильинична распахнула дверцу в полу и опустила вниз горящую свечу. В тот же миг из погреба чумазым голым пугалом выметнулся безумный Кожебаткин с яблоком в зубах. Председательша выронила свечу и в темноте принялась, крича, бить дикое видение по чему придется. Кожебаткин, пытаясь удрать, крутился, извивался и толкал Клавдию Ильиничну, громко щелкая зубами. В пылу боя они приблизились к окну, где Кожебаткин укусил председательшу за руку, разбил в отчаянном броске стекло и убежал.

Укушенная рука распухла, синеватые ямки от сточившихся кожебаткинских зубов снова и снова наполнялись кровью, пока Тамара Яковлевна, охая, промывала рану перекисью. Побелевшая председательша стонала, и глаза ее закатывались.

К этому времени на участке уже образовалась гудящая толпа. Многих заинтересовал вопрос, каким образом чертов сумасшедший вообще проник в запертый снаружи на задвижку погреб. Никита Павлов, по-прежнему одержимый желанием быть полезным окружающим, спустился вниз. Он долго водил свечой по воздуху, осматривая сырые холодные стены, по которым скакали тени от банок с закрутками, а потом потрясенно выругался.

Подгнившие доски в самом дальнем углу оказались частично выломаны, а за ними зияла большая дыра. В продуктовое святилище Клавдии Ильиничны Кожебаткин забрался через подкоп. Не решившись лезть в темную, полную червей и сороконожек нору, дачники принялись обыскивать участок и в конце концов обнаружили, что Кожебаткин начал свой подкоп аж за забором: там, в густой акации нашли вторую дыру и горку выброшенной земли. Сдержанное басовитое похохатывание, сопровождавшее поиски, стихло. От мысли о Кожебаткине, голым белым червем ползущем в земле под участком – участок при этом каждый представлял свой, – дачникам стало страшно. В единодушном порыве, не стовариваясь, они потянулись к улице Вишневой, на которой стоял дом Кожебаткина.

Рыбачка Катя проснулась не от визга председательши и не от гула встревоженных голосов – все это она услышала позже. Катя проснулась от странных шорохов в комнате: кто-то бродил в темноте, поскрипывая половицами. Она привычно достала из-под подушки фонарик, пошарила лучом по углам – никого. Выключила фонарик – и снова, как будто дразнясь, зацокали по полу невидимые коготки ровно в том самом месте, куда она до этого светила.

Катя торопливо разгрызла горчащую таблетку и уткнулась носом в подушку – скорее рассерженная, чем напуганная. Успокоительного в аптечке почти не осталось, а она все чаще просыпалась по ночам от острого, с детства знакомого ощущения чужого присутствия. Это началось в первую же ночь, когда вдруг включился сам по себе бабушкин радиоприемник и из него выплеснулось оглушительное шипение, больше похожее на какой-то шуршащий рев. Катя тогда вышвырнула его в окно. А перед глазами стояла, как живая, бабушка Серафима, склонившаяся над этим приемником и осторожно, чтобы опять не сломать, крутящая ручку...

Поэтому Катя почти обрадовалась, услышав с улицы шум – нормальный, человеческий, понятный. Когда за живой изгородью замелькали огоньки, она уже стояла на крыльце и нетерпеливо всматривалась в темноту.

Мимо забора, со свечами и фонариками, в халатах и пижамах, шли дачники. Впереди, решительно нахмурившись, шагала чета Бероевых. Светка была в кокетливом шелковом халатике.

Катя подошла к калитке. Сейчас ей хотелось быть с людьми, внутри человеческой стаи. Дождавшись, пока до нее добредут отстающие старушки, она потихоньку выскользнула на улицу и пристроилась в хвост шествия.

Толпа дачников, возбужденно гудя, вторглась в заросшие снытью владения Кожебаткина. И почти сразу же кто-то глухо охнул – Тамара Яковлевна, как выяснилось. Ее нога по неизвестной причине провалилась в землю, глубоко, по самое колено. Никита и его приятель Пашка подняли жалобно причитающую бабушку, убедились, что нога цела и только испачкалась. Пашка посветил вокруг фонариком и присвистнул, увидев просевшую длинными рывтинами почву и черневшие среди травы выброшенные комья земли, похожие на

результат работы целого полчища озверевших кротов. Судя по сдержанному мату впереди, провалилась не только Тамара Яковлевна. Принадлежавшие пенсионеру Кожебаткину девять с половиной соток (эту половину он забрал у соседей) оказались изрыты целой системой подземных ходов.

– Нехилая землянка, – нервно хмыкнул Пашка.

– А если он прямо сейчас там? – прошептала Катя, глядя себе под ноги.

– Ему же лучше.

В дверь забаррикадированной дачи Кожебаткина уже дробно стучали. Бероев пинал ногой, но на него посматривали с испуганным неодобрением. Вьюрковцы светили в окна, барабанили по стеклу – аккуратно, чтобы не разбить, потому что помнили непримиримую строгость пенсионера и до сих пор, как это ни парадоксально, не хотели портить с ним отношения. Пытаясь представить происходящее как не совсем обычный, но все же соседский визит, смущенно уговаривали:

– Откройте, пожалуйста!

– Александр... как его?

– Алексей, Алексей Александрович.

– Откройте, Алексей Александрович!

– А точно не Александр?

– Да ломайте уже...

И Бероев с братьями Дроновыми легко и даже с удовольствием, будто давно ждали, сняли сухую деревянную дверь с петель. Прислонили ее к стене, чтобы не мешала, посветили внутрь дачи фонариками – и остановились. Потому что на веранду невозможно было войти.

Она была полностью, от пола до потолка, забита припасами: мятыми дарами огорода, корешками и шишками, травяными вениками – Кожебаткин почему-то сохранил страсть к целебным зверобою и пижме, – неопознаваемыми объедками и великим множеством упаковок крупы, муки, сахара, макарон, соды, даже кошачьих сухариков и рыбьей прикормки. Трудно было представить, что постоянно переживающие из-за грядущего истощения запасов «цивилизованной» еды дачники на самом деле хранили у себя в шкафах и кладовках столько всего.

– Разбирайте, – велел Бероев и первым ухватил здоровенный мешок.

Внезапно груда припасов зашевелилась, брызнула во все стороны крупа, и на непрошенных гостей бросился сам Кожебаткин. Он опрокинул Бероева и ловко отскочил обратно, прячась среди своих трофеев. Бероев схватил палку и ткнул ею в полумрак. Пенсионер снова выпрыгнул проворным чертом и укусил Бероева. На обоих, пыхтя, навалились опомнившиеся дачники, выкрутили Кожебаткину руки и надавали тумачков. Кожебаткин отчаянно извивался, выбрасывая в воздух жилистые ноги и тряся вялой капелькой плоти между ними.

– Стойте! – Катя неожиданно для самой себя ринулась к экзекуторам, но тут же провалилась в очередную кожебаткинскую нору. Щиколотка моментально налилась горячей болью. Катя неуклюже осела на землю и зажмурилась, пытаясь склеить воедино раздвоившуюся реальность. В одной темные силуэты, окруженные световыми всполохами, деловито скручивали большого, полновесного Кожебаткина, а в другой – бился в руках огромных людей растянутый за лапки серый бархатный мышонок, кося жалкой бусинкой вытаращенного глаза...

Вдруг мышь выскользнула из грубых пальцев, взвилась в воздух и еще там, не успев коснуться изрытого суглинка, изо всех сил заработала лапками, надеясь уйти в землю, скрыться, спасти свой ошметочек бессмысленной и драгоценной жизни.

Вот тут дачники и узнали, что со Светкой Бероевой что-то не так. Она подскочила к уже закопавшемуся наполовину в свою нору Кожебаткину и воткнула ему в поясницу черт знает где прихваченную огородную тяпку. Кожебаткин тонко, глухо запищал в земле. Подоспевший Бероев сунул руки в нору и выдернул оттуда барахтающегося пенсионера. Света размахнулась и с энергичным спортивным выдохом всадила тяпку в припорошенный пигментными пятнами череп Кожебаткина.

– Не на-а-адо! – закричала Катя. И в то же мгновение с неба густыми тяжелыми струями хлынул дождь.

Моментально промокшие, оцепеневшие именно на эти несколько секунд, когда все еще, наверное, можно было исправить, выюровцы смотрели, как дергается на земле и оглушительно пищит Кожебаткин, а Света Бероева, сосредоточенно сдвинув бровки, бьет и бьет его куда

придется, взрыхляя беззащитную плоть железными зубьями, вырывая из нее кишки и жилы, точно длинные корни одуванчиков из грядки...

Когда Никита, Валерыч, Пашка и даже сам Бероев бросились к ней, вырвали тяпку – было уже поздно. Кожебаткин лежал в пузырящейся грязи неподвижной грудой, и кровь смешивалась с потревоженной землей.

– Он на меня напал! – выкрикнула, будто возражая кому-то, Света Бероева. – Это же маньяк! Что, пусть дальше бегают, за детьми охотится?!

От дождя ее тоненькие золотистые очки запотели, и слепые стекла горели в свете фонариков праведной яростью. Катя посмотрела на ее окаменевшее, рябое от брызг крови личико и вдруг поняла, что во Вьюрках остался навечно не только несчастный Кожебаткин. Света, известная ей и не слишком приятная Света Бероева, тоже никогда не выберется отсюда, даже если прямо завтра вернется на прежнее место выезд и низвергнутся с вертолетов спасатели. Потому что вместо нее выберется что-то другое. И Катю вдруг охватило чувство собственной непоправимой вины...

Ливень усиливался, небеса грохотали, а Никита Павлов, чтобы не смотреть ни на Свету, ни на Кожебаткина, смотрел на Катю. Лицо у нее было тонкое, занавешенное давно не стриженной пушистой челкой. После тех двух ночей, когда они вдвоем искали по всему поселку источник тоскливого звука, она явно его избегала – да он и сам, спасаясь от ясного ужаса, наговорил ей искреннего, личного. После такого всегда неловко.

– Ты ко мне потом заходи, – внезапно и бесцеремонно предложил ей Никита. – У меня коньяк есть. Нехорошо сейчас одному.

И Катя не возмутилась вопиющей неуместности предложения, а молча кивнула, выражая согласие со всем сразу.

А дачники тем временем вышли из оцепенения, загудели и загалдели, пытаясь хотя бы на словах примириться с тем, что только что произошло. Бывший фельдшер Гена засвидетельствовал смерть Кожебаткина, и люди торопливо отхлынули от тела и от застывшей над ним Светки, точно запечатав их, оскверненных, в невидимый пузырь. Даже Бероев стоял с непроницаемым лицом поодаль, не подходя к супруге. Толпа разбилась на группы и суетливыми ручейками потекла

к калитке – никто не хотел здесь оставаться, и все верили, что со случившимся разберутся другие, более подготовленные люди. Или, что еще лучше, все как-то рассосется само собой, и о смерти сумасшедшего Кожебаткина можно будет с облегчением забыть – всякое ведь бывает, мир жесток и странен, особенно сейчас, а жить надо.

Удивительно, но в своих тихих испуганных разговорах спешившие покинуть участок дачники на все лады оправдывали Светку, на которую и взглянуть боялись. И очень быстро почти каждый, кто видел расправу над стариком и ничего не сделал, поверил вполне искренне, что дело было так: новопреставленный маньяк Кожебаткин напал на беззащитную Свету Бероеву, а она, спасая себя и детей, практически случайно его зашибла. Бероевских мальчиков давно никто не видел, Света перестала выводить их на ежедневные прогулки – наверное, решила, что за высоким забором им будет безопаснее, когда вокруг такое творится. Но сейчас они вдруг синхронно возникли в воображении выюковцев и попрятались в сныти, а за ними хищным бледным червем погнался Кожебаткин. Каким-то непостижимым образом все поверили в то, чего не было и быть не могло: да, мальчики были тут, вместе с родителями, и им, маленьким и невинным, грозила опасность. Лихорадочно осознавая заново окружающую действительность, которая необратимо и страшно изменилась вместе со Светой, дачники кивали, охали и соглашались: ведь непонятно уже, что это за существо-то было, – ведь убил бы, ведь мать, ведь дети...

– Случайно вышло, – убежденно кивала вместе со всеми председательша. – Понятное дело – маньяк, сумасшедший.

Катя ушла с участка последней – Никите пришлось еще постоять под фонарем, дожидаясь ее. Теперь, прихрамывая, она брела за соседом, так вовремя пригласившим ее на коньяк. У обоих бились в голове нехорошие мысли: о том, что только что, прямо у них на глазах, так нелепо завершилась самоценная человеческая жизнь; и о том, что Кожебаткин вовсе не был опасен, точнее, оказывается, опасен был совсем не он. Какую, в самом деле, угрозу он мог представлять для многочисленных дачников в своем упоенном коллекционировании еды

и рытье нор? Но никто не вмешался, не спас его – беспомощную мышку, растерзанную за крупу. И они тоже не вмешались.

Побоялись бабы с тяткой, думал Никита. А Катя гадала, что же теперь вылупится, вывернется из Светы Бероевой...

Тут из серой пелены перед ними возникла Юлька-Юки. Потирая опухшую со сна физиономию, Юки затараторила, что слышала шум и крики: у Кожебаткина что-то случилось, и ей срочно надо посмотреть... Никита велел ей возвращаться в дачу, Катя молча покачала головой. Юки, поняв, что ничего путного от старших товарищей не добьешься, скользнула к калитке мимо них.

– Стой, тебе нельзя, не смотри! – всполошилась Катя. А Никита погнался за Юки, но она презрительно фыркнула – тоже мне, взрослый, – и, увернувшись от его длинных рук, ловко пробралась через опустевший участок к дому, к тому самому месту, где совсем недавно...

Никита, догнав ее в два прыжка, вдруг остановился и облегченно выдохнул. Махнул рукой Кате, что можно не торопиться, и тут наконец задумался – а в чем, собственно, облегчение, если все стало только страннее?

Возле крыльца ничего не было. То есть была взбитая множеством ног грязь, следы и пятна застывшей крови. А вот Кожебаткина не было, ни в каком виде.

– А где... – начала было подоспевшая Катя и умолкла. Слишком диким, да и ненужным казался в рассветной мороси, среди яблонь и приторно благоухающих пионов, вопрос «А где труп?» Пусть лучше так все и будет.

Как будто ничего. Никогда. И Света Бероева осталась прежней.

– Что случилось-то? – недоумевала Юки.

– Не знаю, – честно ответила Катя и повернулась к Никите, – ты вроде про коньяк говорил...

Война котов и помидоров

Тамара Яковлевна и Зинаида Ивановна были известны во Вьюрках своей долгоиграющей дачной дружбой. За жизнь старушки-соседки цеплялись крепко, как легкие сухие репы. Никто в поселке не знал точно, сколько им лет: многие родились, выросли и даже состарились уже при них. Они вместе копались в огородах, вместе бродили по лесу, выковыривая из лиственной падали беломясые сыроежки и боровики. Вместе пили чай у Тамары Яковлевны перед не умолкшим еще телевизором, деликатно отламывая хлеб, сушки, сыр – есть сразу целиком им, детям тощих времен, казалось неприличным. Вместе предвкушали, как приедет Саша-Леша-Миша и выкосит наконец крапиву перед калиткой, поправит кривую туалетную будку, сделает забор. Саши и Леша приезжали, грызли шашлыки, надувались пивом, как ночные комары, до звонкого натяжения – и уезжали, пообещав в следующий раз уж точно сделать, починить, покосить.

Тамара Яковлевна увлекалась двумя вещами – просмотром телевизора и кошками. Кошек на тот момент было три: Муська, Кузька и Барсик. Зинаида Ивановна телевизором увлекалась тоже, даже теми же передачами – про тайные знаки судьбы, роковые проклятия, божьи чудеса и прихоти гороскопов. А вместо кошек у нее были сад с огородом. В отличие от Тамары Яковлевны, которая из года в год сажала одно и то же – зелень, картошку, да и пусть растет как получится, – Зинаида Ивановна выращивала и помидоры с баклажанами, и странную капусту кольраби, и даже парниковые арбузики. По зеленым, невозделанным по большей части угольям Тамары Яковлевны лениво прогуливались коты, а у Зинаиды Ивановны каждый клочок был приспособлен под грядку или клумбу, и все было взрыхлено и прополото с необыкновенным старанием. Таким образом, граница между участками была видна довольно отчетливо, несмотря на отсутствие забора, который дети и внуки никак не удосуживались поставить.

Из-за этого забора все и случилось.

Однажды утром Тамара Яковлевна обнаружила на своем участке, у самой границы, кучку травы, присыпанную увядшими цветами. Как раз накануне Зинаида Ивановна говорила, что надо бы найти место под новую компостную кучу. И вот, значит, нашла. Скорее всего, в чужие владения она вторглась случайно, но Тамаре Яковлевне все равно стало неприятно. Ведь обе они знали, где проходит граница, и поболтать останавливались, не переступая через нее, каждая на своей земле, и даже в гости не ходили напролом, а только через калитку, как будто забор между участками существовал на самом деле.

Тамара Яковлевна вернулась с лопатой и аккуратно перекинула чужие сорняки обратно на соседкину территорию.

Вечером Зинаида Ивановна заглянула в гости с обещанным вареньем из ревеня со стевией, не всякому известной сахарозаменяющей травкой. Вьюрки успешно осваивали подножный корм, и дачники уже задумывались – пока молча, – что же будет, когда иссякнут запасы сахара, масла, муки и прочих ныне недоступных продуктов.

Варенье было кислое и странное. Старушки макали в него баранки, которых у запасливой Тамары Яковлевны было еще пять упаковок, обсасывали их замшевыми губами, обсуждали давление, укроп и жару. Разговор сочился как-то скудно, несмотря на взаимные улыбки и похвалы варенью. О компостной куче не было сказано ни слова.

На следующее утро, едва блеклый рассвет разлился по старым яблоням, Тамара Яковлевна вышла из своей дачки. Ее прямо тянуло к воображаемому забору, на место, оскверненное вчера чужим посягательством. Не то чтобы она внезапно и полностью утратила доверие к соседке – просто надо было на всякий случай посмотреть.

Заготовка под компост, увеличившаяся в объеме и присыпанная землей, вновь оказалась на территории Тамары Яковлевны. Более того, Зинаида Ивановна уже ее обустроила, подперев по бокам кусками шифера и битыми кирпичами.

Тамара Яковлевна постояла немного на месте, шумно дыша и покрываясь красными пятнами, и отправилась за лопатой. Растительный мусор был возвращен владелице, а сверху для пущей внятности припечатан шифером. Куски кирпичей Тамара Яковлевна

воткнула в землю, решительно обозначив ими фрагмент отсутствующего забора.

Зинаида Ивановна сжала губы в сизую ниточку, когда увидела, что ее многолетняя приятельница не только разрушила компостную заготовку, которую вчера, как наивно полагала Зинаида Ивановна, раскидали кошки, но еще и завалила гниющими сорняками и шифером клумбу с анемонами и вдобавок устроила какую-то нелепую оградку из кирпичей, присвоив себе метровую полосу чужой земли. Зинаида Ивановна прекрасно помнила, где проходит их воображаемый забор.

Трепеща от обиды, она отправилась к Тамаре Яковлевне. По дороге споткнулась об какую-то из кошек, отчего обиделась еще больше. У Зинаиды Ивановны на кошек была аллергия, а Тамара Яковлевна считала, что это не болезнь, а модная блажь, и никогда не выпроваживала животных из комнаты, когда Зинаида Ивановна принималась сдержанно чихать в платочек.

Скандал вспыхнул молниеносно, хотя со стороны это было не очень заметно.

– Извините, Тамара Яковлевна, но компост...

– Нет-нет, это вы извините. Я уж решила сама все убрать, вас разбудить боялась.

А ведь вчера, за кислым вареньем, они обсуждали, как раньше все на заре вставали, трудились, а сейчас молодежь спит до полудня, и все им на блюдечке подавай. Намекает, мегера, в долгом сне обвиняет, в замене дачной работы дачным же непростительным отдыхом...

– Да, умаялась вчера, работы-то сколько, – процедила Зинаида Ивановна. – Вот у вас, я понимаю, тишь да гладь – сиди, отдыхай.

– Но вы же, я надеюсь, не обиделись? – засвистела, как готовая выметнуться из травы змея, Тамара Яковлевна.

– Глупости какие, это вы простите за беспокойство. – Побелевшие глаза Зинаиды Ивановны дрожали за стеклами очков. – Всего вам доброго, Тамара Яковлевна.

И она неспешно поплыла в теплом неподвижном воздухе обратно на свой участок. Причем не через калитку поплыла, а напрямую, через воображаемый забор.

Тамара Яковлевна смотрела ей вслед долго и пристально.

И потянулась с этого дня цепочка мелких неприятных событий, которые по отдельности яйца выеденного не стоили и уж точно, по отдельности опять же, не вызывали подозрений в намеренном вредительстве. Кто-то обобрал у Зинаиды Ивановны всю вишню – росло деревце на краю участка, у настоящего, не воображаемого забора, но и невидимая граница проходила рядом, так что подобраться к гляцевым ягодам можно было с какой угодно стороны. Потом охромела кошка Тамары Яковлевны – может, упала неудачно или со своими подралась, а может, и человек зашиб. Клумба с любимыми лилиями Зинаиды Ивановны начала пахнуть совсем не лилиями, и в ней обнаружилась гниющая рыбина – может, те же кошки притащили, а может, закинул кто. А потом ранним утром Тамара Яковлевна заметила Зинаиду Ивановну, крадущуюся по ее владениям в ночной сорочке и с помойным ведром в руке. Тамара Яковлевна шумно распахнула окно и сердечно поприветствовала соседку. Зинаида Ивановна, лучисто улыбаясь, сказала, что вот угол решила срезать до своей компостной кучи, которая теперь, вы уж обратите внимание, обустроена не на спорной, а на самой что ни на есть ее собственной территории.

– А солнце-то какое с самого утра, – не сводя неподвижного взгляда с соседки, сказала Тамара Яковлевна.

– Припекает, – согласилась Зинаида Ивановна, у которой от напряженной улыбки уже ныли щеки.

На том и распрощались. Посрамленная диверсантка побрела к себе, а Тамара Яковлевна захлопнула окно так победоносно, что прищемила палец.

Ночью Зинаида Ивановна проснулась, подброшенная на кровати собственным громовым чихом. Темнота взглянула на нее желтыми глазами с мерцающей рыбьей пленкой в сердцевине. И Зинаида Ивановна поняла, что на груди у нее тугим удушающим шаром лежит кот.

– Брысь! – нелепо громким в мягкой ночной тишине голосом вскрикнула Зинаида Ивановна.

Глухо рыча, кот заметался по комнате, уронил что-то, ударился в закрытое окно и наконец удрал, подцепив дверь лапой. Зинаида Ивановна, схватив халат, кинулась следом, чтобы уж наверняка

выгнать зверя. Спросонья ей казалось, что кот подослан Тамарой Яковлевной с какими-то коварными целями. Оставляя во тьме пунктирный след из упругого топота и дребезжания потревоженных предметов, зверь бежал на веранду. Выскочив за ним, Зинаида Ивановна оторопела. Уже не одна пара, а целое ожерелье горящих кругляшков уставилось на нее – и раздался басовитый дружный вой. У Зинаиды Ивановны сдавило горло – не то от аллергии, не то с перепугу, и она поспешно захлопнула дверь. А по веранде тем временем метались звери, тянули свое тоскливо-злое «у-у-о», звенели заготовленными под соленья банками. Подослала Тамарка кошек, думала Зинаида Ивановна, беспомощно отступая в свою спальню, конечно, подослала, предательница...

А Тамара Яковлевна обнаружила, что дорожки на ее участке успели обрасти за ночь кусачей крапивой и вонючим красным пасленом, похожим на мельчайшие помидоры, и беленой, которую она помнила по деревенскому детству, а во Бьюрках и не видела никогда. И шиповник, и цепкие колючие побеги малины пробивались из-под земли там, где еще вчера росла только мягкая трава. Заметила все это Тамара Яковлевна не сразу, сначала никак не могла понять, отчего так жжет и щиплет ноги. А заметив, поспешила к сараю, чтобы взять перчатки, тляку и избавиться от растительных захватчиков.

И остановилась на полпути, пораженная совершенно неправдоподобным зрелищем: весь сарай был опутан плетью «бешеного огурца». Его много росло на берегу реки, и дети с удовольствием кидали об асфальт колючие взрывающиеся огурчики, хоть им и объясняли по сто раз, что они ядовитые. Но чтобы эта гадость выросла на участке, да еще за одну ночь, причем сразу с плодами... Зеленые плети оплетали старый, хлипкий сарай так густо и плотно, что казалось – он вот-вот затрещит под их напором.

Ядовитый шипастый шарик лопнул с сухим хлопком. Тамара Яковлевна вздрогнула.

Она, конечно, сразу поняла, что все это – дело рук Зинки. Всегда Зинка ей завидовала, и что дом у нее – полная чаша, и внуки вон какие красавцы, и даже телевизор на даче есть. А каким образом она устроила это молниеносное вторжение жгучего, колючего, ядовитого – дело десятое. Может, порчу навела. В последней передаче, которую

успел показать телевизор, речь как раз о порче и шла. И Зинка эту передачу тоже смотрела, и баранками хрустела, неблагодарная.

На веранде огорченную и исцарапанную Тамару Яковлевну ждали кошки. Они сгрудились вокруг тумбочки с телевизором, на ослепшем экране которого еле заметно светился бледно-серый кружок: бывало с ним такое в последнее время: то кружки, то точки какие-то появлялись – кинескоп, как видно, окончательно доламывался.

Только кошек было не три, а целых шесть – Муська, Кузька и Барсик друзей привели. Кошки смотрели на Тамару Яковлевну внимательно и, как ей показалось, сочувственно. Она погладила худые полосатые спинки, и кошки страстно заворковали, стали тереться, биться о покрытые волдырями ноги меховыми волнами. Боль утихала от мягких прикосновений, а Тамара Яковлевна постепенно успокаивалась – кошки любили ее, жалели, хотя бы на них она могла положиться после потери подруги. Ведь была, была вероломная Зинка ей подругой, родной душой, и сколько лет дружили, и как она не заметила, когда проросла в Зинкином сердце беленой завистливая злоба...

Зинаида Ивановна, напротив, чувствовала себя прекрасно. Понаблюдав в окошко за тем, как соседка, дуя на обожженные руки, воюет с крапивой и дурман-травой, она преисполнилась уверенности, что есть все-таки справедливость на белом свете. Сама природа проучила мстительную, как ее проклятушие коты, Тамарку – пусть по мелочи, но проучила ведь. Удовлетворенно вздохнув, Зинаида Ивановна накинула любимый зеленый платок и отправилась прогуляться. Мимо забора Тамары Яковлевны она прошла молча и нарочито медленно.

Вернулась она через пару часов, успев пожаловаться на тяжелый характер соседки нескольким знакомым и собрать сведения о том, что происходит в поселке. Пропало еще два человека – пенсионер с Цветочной улицы и Таня, скандальная и несчастная женщина, которая каждое лето проводила во Вьюрках со слабоумным сыном; местный огородный гуру Валерыч вознамерился во что бы то ни стало найти выход «в мир», и все его отговаривали – ведь так люди и исчезают: шаг за ограду – и все, пропал дачник; на участке нелюдимого скульптора,

известного в поселке своей коллекцией спасенных из заброшенного лагеря гипсовых пионеров, какие-то озорники поставили необыкновенного глиняного уroda, и был скандал; мужа Светки Бероевой что-то давно не видно. Странности обсуждались уже без вытаращенных глаз и хватаний за сердце – дачники начинали привыкать к новой необъяснимой жизни с ее причудливыми, темными законами.

Размахивая перед носом веточкой чернобыльника, отдающей душистой горечью, Зинаида Ивановна открыла калитку. И растущие у калитки кусты, со страшным визгом придя в движение, вдруг прыгнули на нее. У Зинаиды Ивановны потемнело в глазах, сердце больно провалилось куда-то вглубь – и она не сразу поняла, что прыгнули не на нее, а во все стороны, и не кусты, а кошки из кустов, и визжали, а точнее, истошно мяукали тоже они. Чернобыльник выпал из пальцев, в нос ударил едкий кошачий запах, и Зинаида Ивановна увидела, что за время ее отсутствия на участок был совершен разбойный налет.

Весь огород, все цветники оказались изрыты, лилии и розы увядали на земле, поломанные и вырванные с корнем, на грядках рдела выкопанная свекла, в теплице зияли дыры, через которые было видно растерзанные томатные кусты. Острый запах, заглушавший густой аромат высыхающих растений, следы, клочки шерсти вокруг не оставляли сомнений – все это сделали кошки.

Стремительно наливающийся аллергический отек милосердно лишил Зинаиду Ивановну обоняния, и она начала чихать. На эту оглушительную очередь из своей дачи выглянула сонно моргающая Тамара Яковлевна – она полдня возводила ограду на месте воображаемого забора, а сейчас, утомившись, задремала. В общем-то, воткнутые в землю палки и оградой назвать было нельзя – так, пунктирное обозначение границы. И, конечно, ни от чего эти палки оградить не могли – в чем Тамара Яковлевна немедленно и убедилась, увидев решительно идущую к ней напролом Зинаиду Ивановну.

Лицо соседки застыло в каменном напряжении, только ноздри трепетали, и Тамара Яковлевна успела подумать, что неплохо было бы запереть дверь. Но тут ветви растущего под окном шиповника – когда только вымахать успел – пришли в движение, точно на них подула узконаправленная струя сильного ветра, и с размаху хлестнули по

стеклу. Удар был такой сильный, что стеклянные брызги разлетелись по комнате, чудом не задев Тамару Яковлевну, а секунду спустя колючие ветви, повинувшись уж точно не ветру, втиснулись через пробойну внутрь.

Тамара Яковлевна в молчаливом оцепенении отступала к двери, а шиповник, шевелясь по-осьминожьки, стремительно рос, точно в ускоренной съемке. Он шустро полз по подоконнику и стенам, сбрасывая баночки и чашечки, срывая календари и фотографии. А в эпицентре колючего смерча, в оконной дыре, где оставался пока не заросший «глазок», разгневанной гарпией маячила идущая к дому Зинаида Ивановна.

Вдруг Тамара Яковлевна почувствовала, как вздрагивает дверь, к которой она прижималась спиной. Что-то билось и скреблось в нее, пытаясь открыть, и Тамара Яковлевна ужаснулась – неужели управляемые ведьмой Зинкой растения зашли с тыла и уже проросли в дом? Но из-за двери послышалось знакомое требовательное подвывание, и Тамара Яковлевна с привычной торопливостью распахнула ее, чтобы впустить бедняжек, наверняка напуганных творящейся чертовщиной.

Стая кошек, басовито вопя, влилась в комнату, растеклась по полу многоцветным меховым ковром и набросилась на ползущие по стенам ветки. Во все стороны полетели шерсть и листья. Придя наконец в себя, Тамара Яковлевна схватила швабру и с яростным криком, почти ничем не отличавшимся от кошачьего, тоже кинулась в атаку. Вместе они одолели озверевший шиповник и бросились к окну, готовые продолжать сражение. Но из окна больше не было видно ни участок, ни ведьму Зинку. Теперь за ним вздыбились зеленой стеной настоящие джунгли: тут были и белена, и дурман, и крапива, и болиголов, и главный бич дачников – неистребимый борщевик. Костлявая кошка-трехцветка, самая смелая и глупая, прыгнула на подоконник, и ядовитые стебли качнулись навстречу.

– Кис-кис! – панически позвала Тамара Яковлевна. Мысль о том, что животное отравится и погибнет в муках у нее на глазах, была невыносима. Кошка не оборачивалась и шипела на одуряюще пахучий дурман. Тамара Яковлевна аккуратно спихнула ее шваброй на пол, и зеленая стена за окном тут же перестала волноваться.

Прижимая к лицу тряпочку, чтобы не нанюхаться всей этой отравы, Тамара Яковлевна быстро заткнула дыру в окне подушкой и отступила обратно в глубь комнаты. Вокруг ее ног вились взъерошенные, готовые к бою кошки. Тамара Яковлевна решительно скрестила на груди руки, покрытые набухающими кровью царапинами.

– Вот ты как, значит, – прошептала она, и кошки ответили возбужденным воем. – Ну, смотри у меня. Ну, смотри...

И вскоре во Вьюрках опять стали происходить нехорошие изменения. Были они поначалу такими мелкими, несущественными, что даже самые чуткие из привыкших держать ухо востро дачников не насторожились. Разве можно было заподозрить неладное из-за того, что болиголов на пустырях как будто стал гуще, а вдоль дорог начали расти крохотные, совсем, видно, одичавшие помидоры. Или из-за того, что вдруг активизировались вьюрковские кошки – дачники и не знали, что бесшумные кругломордые зверьки водятся здесь в таком количестве. Или потому, что огородная и вообще всяческая зелень пошла в бурный рост, что легко объяснялось теплом и регулярными дождями. Наоборот, дачники обрадовались, надеясь на небывалый урожай, загремели банками. Электричество пока подавалось бесперебойно, но ведь неизвестно, откуда оно идет, и сколько это продлится, и не останутся ли они в ближайшем будущем без холодильников – а закрутки и в подвале долго простоят.

Потом Леша Усов из шестой дачи, которого все знали как Лешу-нельзя, поскольку иначе шумная мать его и не называла, наелся мелких помидорок до сизой пены на губах. Лешу откачали, к помидоркам пригляделись и установили, что никакие это не помидорки, а ядовитый паслен.

Катя проснулась на рассвете, вскинув голову с влажной, жаркой подушки:

– Поле горит!..

И, вынырнув окончательно из тут же забывшегося сна, увидела в окне пустельгу, вертолетиком зависшую над соседним участком. Буроватая, как все пригородные птицы, она быстро била крыльями, оставаясь на месте, точно приколотая к нежному утреннему небу. Катя засмотрелась, она вообще любила наблюдать за всякой живностью, и тут произошло неожиданное. Качнулась ветка калины, и с нее вверх

серым метеором метнулась кошка. Взлетев на необыкновенную, птичью высоту, кошка закогтила пустельгу и вместе с добычей упала вниз. Все случилось очень быстро, и утро продолжалось, будто ничего не было, только перышки танцевали в воздухе. Но Катя сразу решила, что сегодня никуда не пойдет – куда безопаснее будет спрятаться в недрах знакомой с детства дачки, самоустраниться, переждать. Она уже научилась заранее чутить странности по малейшему сдвигу в привычном ходе вещей.

Отправившись вечером принять душ, Ленка Степанова с Вишневой улицы с головы до ног обожглась крапивой, почти вся ее кожа превратилась в горячий красный отек. Пока родители поливали ее из шланга, Ленка плакала и уверяла, что крапива сама собой, мгновенно выросла вокруг нее в деревянной душевой будке. Степанов-старший, человек все еще здравомыслящий, пошел проверить и убедился, что крапива действительно имеется и растет прямо сквозь щели в полу так густо, что в будку невозможно войти.

У бывшего фельдшера Гены, человека с недавних пор для Вьюрков совершенно незаменимого, не то кроты, не то еще какие твари в одну ночь так изрыли огород, что пропало все, даже чеснок с укропом.

На шестилетнюю Анюту напали кисты. Анюта прилетела домой зареванная и исполосованная, а кисты молчаливой стаей неслись следом и потом бились в дверь и в окна на глазах ошалевшей Анютиной бабушки.

Раздолбаю Пашке, который часто приезжал на пустую дедову дачу то в мотоцикле покопаться, то на гитаре побренчать – так он и застрял в ту ночь во Вьюрках, – так вот, Пашке куст боярышника сделал внеплановый пирсинг. Как утверждал Пашка, сам себе с перепугу кивая и подмигивая, ветки вдруг потянулись к нему, и он даже понять ничего не успел, а длиннющие боярышниковые иглы уже впились ему в лицо, прокололи насквозь щеку в двух местах, зацепили ухо и только чудом не проткнули глаз.

У Наймы Хасановны, хозяйки превращенного в склад магазинчика, задрали козленка. Взрослую козу, вьюрковское молочное сокровище и Наймину гордость, не тронули, но козленка было очень жаль. Хорошо хоть, мясо не пропало – неустановленные звери освеживали козленка заживо, раскидав клочки шкуры по всему двору,

словно играли с ними, а тушку только пожевали в нескольких местах. Дачники забеспокоились всерьез – значит, в округе завелись опасные хищники, которые убивают не ради еды, а просто так.

А на следующую ночь после гибели козленка бессменная председательша Вьюрков Клавдия Ильинична Петухова проснулась от треска и густого травяного запаха – точнее, даже дымки из мельчайших капелек растительного сока, повисшей в воздухе. Клавдия Ильинична ушла спать во флигель от оглушительного храпа супруга, перестаравшегося с дегустацией яблочной бражки. И теперь стены этого флигеля ходили ходуном, ел глаза густой, одуряющий запах, и откуда-то доносился вдобавок утробный вой, точно в самой ткани ночи пораскрывались вдруг округлые рты.

Председательша пощелкала выключателем, удобно расположенным прямо над изголовьем, но света не было. Мобильный она давно не заряжала за ненадобностью. Где-то в прихожей на крючке висел фонарик, предназначенный для ночных походов по участку... Клавдия Ильинична спустила ноги с кровати и вскрикнула от боли. Глаза уже привыкли к темноте, и она отчетливо увидела на полу шевелящийся ковер. Запах, знакомый и ненавистный любому садоводу, не оставлял сомнений – по флигелю расплзлась зубчатая крапива.

Звякнув, вылетело стекло. Стены трещали уже по-серьезному, как арбуз под пальцами знатока. Тугой шерстяной ком с воплем заметался по комнатке, круша и разбивая, сорвал штору, мягко упавшую на Клавдию Ильиничну. Темнота за окном, казалось, была гуще, чем внутри, и она как будто давила на стекло. Да, точно, давила, и с ледяным хрупаньем по нему уже бежали невидимые трещины...

Важная и решительная Клавдия Ильинична поступила так, как поступают маленькие дети при пожаре, наводнении или другом взрослом ужасе. Она с головой завернулась в одеяло, обмотала его вокруг себя коконом – и принялась кричать так громко, как только умела.

С помощью сбежавшихся соседей супруг Петухов спас Клавдию Ильиничну, а вот флигель отстоять не удалось. На глазах изумленных дачников он был смят и сплюснен движущейся растительной массой, и во все стороны брызнули кошки, как семена из «бешеного огурца» – которого в этой массе было, кстати, очень много.

Клавдия Ильинична, уже не в первый раз переживавшая жуткие ночные происшествия, быстро пришла в себя и вспомнила, что она – ответственное лицо.

– Это что же творится-то, а? – особым председательским тоном спросила она у сонных, растерянных дачников. – Вы вокруг посмотрите, это что же такое?!

И вьюрковцы огляделись, вода по сторонам фонариками.

Вокруг высились жгучие и колючие заросли, над которыми раскинулись гигантские соцветия борщевика, этой марсианской отравы, свалившейся на пригороды невесть откуда в последнее десятилетие и через зонты-антенны, очевидно, передававшей сигналы в свой ядовитый мир. В зарослях мелькали быстрые звериные тени, сверкали круглые глаза, слышались вой и шипение.

Непонятно, как и когда, но Вьюрки превратились в джунгли.

– Ведь надо с этим что-то делать, товарищи! – возвысила голос Клавдия Ильинична.

Дачники неуверенно загудели.

– Искать надо, откуда оно идет, – сказал Валерыч.

– Это как?

– А так. Где гуще всего, оттуда и идет. Там и решать надо.

Слово «решать» Валерыч произнес так безапелляционно, будто сразу приговорил загадочную напасть к высшей мере, и дачники загудели уже гораздо увереннее.

– Идем, – коротко бросил Петухов, в котором еще бродила отвага от выпитого накануне. – Только возьмите чем отбиваться. Кошки совсем очумели.

И вьюрковцы, вооруженные дачным инвентарем, отправились в путь, прорубаясь сквозь белену и крапиву с мрачным упорством конкистадоров-первопроходцев.

Дачные джунгли волновались, лезли в лицо и брызгали жгучим соком. На свет фонариков огромными мотыльками кидались кошки. Влажная растительная чаща постепенно сгущалась вокруг уставших, покрытых багровыми ожогами дачников и в конце концов стала совершенно непролазной. Озираясь по сторонам, Петухов заметил сверху смутное, еле различимое в мареве травяных испарений пятно света и понял, что это фонарь. Прикинув, сколько было пройдено и в

какую сторону, он догадался, что они дошли до того места, где раньше был выезд, – именно там, у несуществующего ныне поворота, стоял высокий фонарный столб. А что если вся эта шевелящаяся растительная масса ползет снаружи... Петухова прошиб пот, и он физически ощутил, как облепляет его темнота.

– Свет нужен! – крикнул он истончившимся вдруг голосом. – Не видать ничего! Огня бы, а?

Из джунглей молча прилетела и впиалась ему в живот кошка. Клавдия Ильинична отбросила ее обратно черенком граблей.

– Я сейчас! – объявил раздолбай Пашка и начал прорубаться куда-то в сторону. Дачники тревожно заголосили. Кто-то из молодежи молча полез за Пашкой.

– Мы к выезду вышли! – выкрикивал стремительно удаляющийся Пашкин голос. – А я тут живу, через дорогу! Я сейчас!

Слабые лучи фонариков тонули во тьме, пятно света вверху исчезло. Вьюрковцы беспокойно переминались с ноги на ногу и жались друг к другу. Только сейчас они начали понимать, что цель похода была обозначена несколько расплывчато и что дальше делать – непонятно. Все вокруг шуршало, тянулось к ним, чтобы обжечь или уколоть. Истошно выли невидимые кошки, то и дело из джунглей вылетал шипящий меховой клубок, чтобы торопливо впиться в человечесью плоть и тут же исчезнуть. Пока зверей удавалось кое-как отгонять, но исполосованы и искусаны были уже все.

– Фонари погасите, – посоветовал Валерыч. – На свет летят.

– А без света как?

– А если этот дуrolом вообще не вернется?

– Да если и вернется – толку от него...

Но кошки все наступали и наступали, мерцая злыми инопланетными глазами. И фонарики стали гаснуть. Тоскующий по свету Петухов выключил свой последним.

– И чего поперлись... – после долгого молчания вздохнул кто-то.

– Ну найдем, откуда идет, а дальше?

– Могли бы и до утра подождать.

– Вот точно-точно.

– Очень удобно выражать всякие мнения, когда ничего не видно, – громко заметила Клавдия Ильинична. – Анонимно, как молодежь

говорит.

– Ого-онь! – заорали сбоку, будто давая команду на залп. Отдавший в свое время интернациональный долг Валерыч даже пригнулся. Булькнуло, щелкнуло, и по кусту борщевика, внезапно выступившему из темноты, забегали прозрачные синие огоньки, а потом он, сухой и полый, вспыхнул и стал похож на горящего гуманоида: зонт – голова, стебли – руки.

Это Пашка, любитель шашлыков, приволок все свои запасы жидкости для розжига, полный рюкзак, и теперь остервенело поливал ею зеленые стены вокруг. Дачники начали щелкать зажигалками, кто-то обжегся и вскрикнул.

– Не надо сразу, пусть пропитается...

– Куда на меня, на меня-то куда?!

– Поджига-ай!

Ядовитые джунгли запылали сразу в нескольких местах. Они корчились и пытались в последнем рывке навалиться на поджигателей, роняя тлеющие струпья листьев. Почуввав опасность, по зарослям с визгом заметались тучи кошек. Они впивались в руки, ноги, лица, дачники отбивались чем придется, но кошки бумерангом прилетали обратно. Валерыч стащил рубашку, полил на нее из пластиковой бутылки, поджег и стал вслепую бить направо и налево, помогая себе топором.

– Сто-рим к хре-нам, – отрешенно повторял он, медленно продвигаясь вперед. – К хре-нам...

Первой заметила зарево Тамара Яковлевна. Она приподнялась на кровати, зашевелилось одеяло, покрытое теплыми котами. Осторожно, чтобы ненароком не наступить на питомцев, которым она уже потеряла счет, Тамара Яковлевна подошла к окну и увидела столб огня у самого забора. Поодаль лизали тьму еще несколько. Тамара Яковлевна охнула – пожар. Мало ей Зинкиных козней, так теперь еще и это. За помощью надо бежать, а как тут побежишь, как продерешься, если все Зинкиной крапивой и дурманом заросло. Спасу не было от этой зеленой дряни, хорошо хоть, кошки ей помочь пытались, душеньки невинные. Грызли, выкапывали – и не травились вроде, знают животные, что есть можно, а что нет.

Тамара Яковлевна толкнула дверь – ну точно, не открывается, опять «бешеным огурцом» затянуло или шиповником каким. Зинка ее постоянно так замуровывала в даче, и окон целых не осталось, еле успевала дыры затыкать тряпками, и стены проломило, непонятно, как дом вообще еще держался. Зарево разгоралось все ярче, и Тамара Яковлевна испугалась – ведь так и сгореть можно, и не поможет никто. Пожар тоже Зинка небось устроила, ведьма.

И тут забор затрещал – но не от огня, его определенно кто-то рубил. Ошарашенная Тамара Яковлевна молча наблюдала, как ломают ее и без того ветхую ограду – теперь на фоне зарева были различимы силуэты людей. Тех самых людей, к которым она собиралась бежать за помощью. Размахивая топорами, вилами, какими-то палками, они продвигались к дому Тамары Яковлевны. И к дому ее соседки тоже, толпа даже не замечала линию воображаемого забора. Пинали кошек, рубили отчаянно хлещущие их ветки, цветы, отяжелевшие от плодов плети помидоров, винограда – всю ту изобильную садово-огородную роскошь, которая заполонила с недавних пор участок Зинаиды Ивановны. Сквозь треск слышались злые и деловитые выкрики, люди бесчинствовали на чужой земле азартно, с удовольствием. Факелы и топоры, думала в ужасе Тамара Яковлевна, совсем как в Средневековье, когда с ними приходили жечь ведьму.

Из памяти вдруг вынырнуло измятое страдающее лицо всеми старательно забытого Кожебаткина. А ведь тогда так же было – вломились ночью, толпой... Обыкновенные люди, дачники, соседи, соратники по борьбе с тлей и засухой, у которых она еще думала искать управу на Зинку – в последнюю, конечно, очередь, чтобы зря не беспокоить.

А Зинка-то спит небось и ничего не знает, заволновалась вдруг Тамара Яковлевна. Она же там одна совсем. Обе они и были всегда совсем одни, одни друг у дружки – детей не дождешься, у внуков не допросишься, а соседям какое вообще до них дело. Тюкнут тяпкой, как Кожебаткина, – и все, и вроде как их тоже не было. А когда у нее в прошлом месяце тяпка сломалась, Зинаида Ивановна ей свою отдала. Прямо так, без возврата. И вареньем из ревения угощала, и баранками, и так хорошо они пили чай перед телевизором в прежние, нормальные времена. Всякое они, конечно, наговорили друг другу, и наделали тоже

всякого, но Зинаида Ивановна уж точно не пришла бы к ней ночью, разломав забор, с огнем и топором...

И был-то на всем свете один проверенный, порядочный человек – Зинаида Ивановна, интеллигентная женщина, добрая, внимательная; всегда ведь думалось – как с соседкой повезло. Тамара Яковлевна опустила на кровать, прижала к груди глупую кошку-трехцветку и заплакала – от страха, бессилия и от того, что натворила сгоряча таких непоправимых глупостей.

Зинаида Ивановна тем временем тоже сидела у окна, смотрела сквозь завесу девьего винограда на приближающуюся толпу, которая топтала беззащитные лилии и нежные сахарные арбузики, – и тоже плакала. И думала, что бес, бес ее попутал; рассказывали же по телевизору, как путают бесы хороших людей, заставляют творить невесть что, а она ведь хорошая, она никому зла не желала, и Тамара Яковлевна хорошая, что же они наделали...

Ветки, с шумом колыхнувшись напоследок, замерли, как им и полагается в безветренную ночь. Умолкли и растворились в темноте кошки. Взбудораженные дачники еще пару минут сражались по инерции, пока не заметили наконец полное отсутствие сопротивления. Только огонь потрескивал.

Перемазанный сажей Валерыч включил фонарик и поводит им по сторонам. Зверей нигде видно не было. Заросли пожухли и как-то поскучнели, за одно неуловимое мгновение превратившись из растительных монстров в обыкновенные сорняки. Это ж сколько полоть теперь придется, по-хозяйски подумал Валерыч, запущено-то все как.

– Затапываем огонь, затапываем, песку надо, земли! – спохватившись, принялась командовать председательша.

Тамара Яковлевна испуганно подпрыгнула, услышав стук в дверь. Зарево погасло, но на участке еще слышались шум и голоса. Решив, что разъяренная толпа линчевателей стучаться все-таки не станет, Тамара Яковлевна осторожно отодвинула щеколду, но цепочку оставила.

На пороге стояла взволнованная Зинаида Ивановна, в ночной сорочке и с фонариком.

– Вы уж извините, если что не так... – всхлипнула она. – Если вдруг там что, простите, бес попутал...

– Нет, нет, это вы меня простите, Зинаида Ивановна. Если вдруг чем обидела...

Тамара Яковлевна просунула в щель под цепочкой дрожащую руку, Зинаида Ивановна порывисто ее пожала. И соседки вежливо, с облегчением друг другу улыбнулись.

Дачные джунгли засохли в несколько дней. Кошек у Тамары Яковлевны прибавилось – теперь в даче и около паслось штук десять, все мирные и ленивые. А остальная стая как-то сама собой рассосалась.

Вьюрковцы, так и не понявшие, что же было причиной природного бунта, еще некоторое время посматривали на котов и крапиву с подозрением. Подозрения все не оправдывались и не оправдывались, коты терлись об ноги, крапива покорно гибла от рук садоводов. И постепенно о тех необъяснимых событиях забыли – на подходе были новые.

На память

Так получилось, что Юлька по прозвищу Юки впервые приехала на дачу во Вьюрках почти уже взрослой, четырнадцатилетней. Дачное детство с круглосуточным катанием на велосипедах, заклятыми подружками и секретными лесными шалашами просвистело мимо. Летом Юлька изредка ездила с родителями на море, а в основном сидела в городе, точнее – в Интернете, где и обзавелась никнеймом Юки, который изо всех сил старалась перетащить в реальную жизнь. И, возможно, именно из-за отсутствия ежегодного курса дачной социализации Юки была, как мама с огорчением говорила, «вся такая сама по себе», свободное время просиживала, уткнувшись носом то в ноутбук с фильмом, то в книжку, что совсем уже странно для ее поколения. Больше всего на свете Юки любила грызть что-нибудь и ужасаться, желательно – одновременно. Вот и увлеклась она всякой мистикой-эзотерикой, а в тринадцать лет, окончательно убедившись в наличии у себя ведьмовского дара, покрасилась в радикальный черный. Чем ужаснула уже родителей, но что делать – возраст такой.

А все потому, что прежде дачей владела Юлькина бабушка, имевшая среди родни репутацию не то чтобы Бабы-яги, но Снежной королевы точно: живет где-то далеко, одна, плетет, по достоверным слухам, козни и интриги против всех сразу, и лучше к ней не соваться. Тем более что она никого близко и не подпускает – бабушка тоже была «вся такая сама по себе».

Потом с бабушкой случилась обычная в таких делах история – постарела в одночасье, сдала позиции, потеряла свою ледяную твердость, заочно Юки восхищавшую, и завещала вьюрковскую дачу сыну-недотепе и его стерве. Это, получается, Юкиным папе с мамой. Завещала – и через пару месяцев умерла. Люди вообще сплошь и рядом умирают сразу же после того, как напишут завещание, – это Юки уже давно по фильмам заметила. Жаль, что их никто не предупреждает о такой опасности.

Так что впервые Юки увидела легендарную дачу в поселке с элегическим названием Вьюрки, на которую все семейство облизывалось, только после бабушкиной смерти. И обнаружила, что

ничего тут особенного нет. Да, ценимые взрослыми лес, река и близость к городу действительно присутствовали. Грибы, купание, уныние, тлен. Заросший участок, перекосившийся старый дом, деловито катающиеся по полу мыши, какие-то кастрюльки, баночки, заскорузлые тряпочки, коротконогие столики-скамеечки – все для старческого дачного удобства. И везде – буйный плющ, который, видно, специально не укрощали, чтобы он затянул все неприглядное. Плющ Юки понравился – он так густо оплетал потемневшие стены дачи, и пристройки, и забор, что при желании можно было представить, будто перед тобой не дача покойной бабушки, а старинное поместье, населенное, разумеется, сотканными из холодного тумана призраками. Зачем вообще оставлять дом семейству наследников, если в нем не найдется даже самого завалящего полтергейста?

Приехав сюда ранней весной и увидев еще безжизненные плети, под многолетней тяжестью которых даже забор заваливался, Юки вытащила один наушник и громко, чтобы родители слышали, сказала:

– А ничего, готичненько.

Первое лето на даче бывали наездами, расчищали, выкидывали древний хлам, обустроили для жилья самую крепкую из пристроек. В последние сезоны бабушка сюда не приезжала, и большой дом, как его называли, для жизни был пока непригоден, там все проваливалось и сыпалось, будто при землетрясении. Юки несколько раз ходила тайком в эту развалину ночью, со свечой – лучше любого ужастика. Дом наполнялся скачущими тенями, шуршал, скрипел, а в ветреную погоду даже постанывал, точно больной великан. Но призрак бабушки, к сожалению, вызвать так и не удалось, хотя Юки старалась изо всех сил.

Юки, завсегда с эзотерическими форумов, совершала вычитанные там обряды и выдумывала свои, более действенные, переписывала в блокнотик заклинания, потому что нужно обязательно от руки, а не «сору-paste», хранила в особой шкатулке магические амулеты и камни. Она рассказывала немногочисленным дачным подросткам о своем мощном биополе и необыкновенной ауре, объявила покойную бабушку сильнейшей колдуньей, от которой она ведьмовские таланты и унаследовала. Юки надеялась, что ребята восхитятся ее потомственной

экстраординарностью и побыстрее примут в свою компанию. Но они и так приняли, а Юки в них быстро разочаровалась – вьюрковский молодняк показался ей скучным и гоповатым.

На следующее лето родители продолжили неторопливое благоустройство дома: фактически его отстраивали заново, меняли перекрытия и полы, укрепляли стены. Теперь в гулкой, пахнущей свежим деревом даче даже по ночам было совершенно неинтересно. А мама радовалась, прикидывала, где чья комната будет, собиралась оборудовать просторный чердак под мастерскую – она работала художником-иллюстратором.

Знакомые предложили родителям какие-то очередные доски в три раза дешевле, чем обычно, но забрать их со склада в далекой промзоне надо было немедленно. Папа с мамой поехали в город, оставив Юки «на хозяйстве», обещали вернуться через день, самое позднее – через два. Мама оставила в холодильнике суп с затянувшейся белым жирком курицей и фаршированные перцы на ужин. Юки немного расстроилась – она терпеть не могла фаршированные перцы.

Вьюрки захлопнулись сами в себе в первую же ночь после отъезда родителей.

В отличие от большинства взрослых и трезвомыслящих, Юки сразу приняла тот факт, что из поселка больше нельзя уйти. Нельзя – значит нельзя. И виновато в этом какое-то колдовство. Обыкновенная мистика, как в любимых книгах и фильмах, только там она иностранная, глянцевая, а во Вьюрках – отечественная, а потому немного диковатая.

Собственно, это было вполне закономерное развитие событий для нее, потомственной ведьмы. Кто знает, думала Юки, пересматривая за чаем с сушками свою киноколлекцию, – может, именно ей суждено разгадать тайну исчезновения выездной дороги и спасти Вьюрки от злых чар. А может быть, из-за нее все это и случилось: она запустила своим мощным, но дремлющим пока даром какой-то магический механизм или темные силы на нее, как и положено, ополчились. И скоро ее таланты – до сих пор, если говорить начистоту, выразившиеся только в вещих снах про контрольные и прочих смутных предчувствиях, – наконец пробудятся.

А пока надо было как-то жить. Юки быстро выяснила, что заботиться о ней никто теперь не собирается, более того – ее просто не замечают. Помаявшись немного в одиночестве и даже научившись самостоятельно варить гречневую кашу, Юки в конце концов прибилась к компании постарше. Компания состояла из соседки Кати, мрачноватого типа Никиты Павлова, который жил на противоположной стороне той же Вишневой улицы, и его приятелей – Пашки и Андрея. С ними оказалось интересно: они осторожно, но настойчиво исследовали происходящее во Вьюрках и относились к Юки почти как к равной. Шефство над ней взяла молчаливая рыбачка Катя, обладавшая удивительным свойством выглядеть непонятно на сколько лет – Юки и двадцать ей давала мысленно, и тридцать, а спросить стеснялась. Кроме того, Катя не боялась червяков и ходить на реку, то есть была, можно сказать, настоящим героем. Только вот улыбка у нее была какая-то кривая, неприятная. Юки ее искренне уважала, но подружилась больше всего с раздолбаем Пашкой, самым младшим и веселым.

Катя учила ее готовить, даже приносила рыбу и показывала, как ее разделявать – полная идиллия, хоть Юки и было жаль серебристых подлещиков и плотвичек, кротко приоткрывавших ротик. С огородом Юки тоже научилась справляться: ей нравилось играть в матерую дачницу, повелительницу свеклы и кабачков, которая в совершенстве владеет тяпкой. В общем, жизнь как-то шла, несмотря на четвертый месяц безвыходного лета. Сентябрь уже перевалил за середину, а во Вьюрках как будто по-прежнему стоял зеленый, щедрый на тепло июль. Погодным аномалиям Юки была даже рада – ведь нет на свете ничего унылее мокрого школьного сентября.

И вот однажды Юки решила расширить свой процветающий огород за счет владений покойного Кожебаткина. В конце концов, при жизни Кожебаткин сделал ровно то же самое – оттяпал у бабушки кусок земли, да еще и засадил из вредности шиповником. Потому и достался родителям Юки самый маленький в поселке участок, каждый сантиметр которого был уже подо что-нибудь отведен. А дачники говорили, что съестные припасы, даже те, которые хранятся в бывшем магазине и выдаются под расписку, рано или поздно закончатся, и вот

тогда... И Пашка как раз принес накануне десяток мелких проросших картофелин, а сажать было некуда.

Забор между участками был старый и гнилой, Юки легко расшатала и выломала целую секцию. Доски, кряхтя, оттащила в сторонку и принялась вскапывать землю. Это оказалось не так-то просто, хотя вчера прошел дождь, а еще раньше сумасшедший Кожебаткин сам неплохо вскопал свой участок. Видимо, довести свою систему подземных ходов до соседского забора он не успел.

Выворачивая очередной плотный куб земли, лопата обо что-то лязгнула. Юки разбила куб, стараясь не попасть по пронизывающим его дождевым червям, и на траву выпал небольшой предмет, заманчиво блеснувший переливчато-красным. Заинтригованная Юки выключила гремевший бодрой «Подборкой для фитнеса» телефон и наклонилась посмотреть.

Это оказалась одинокая, обросшая бурой земляной коростой сережка. Юки и раньше находила всякое, копаясь в огороде, даже рыболовную блесну как-то вытащила вместе с корнем пырея и подарила Кате. Но чтобы настоящая древняя драгоценность – конечно древняя, вон как глубоко в земле была, – о таком она и не мечтала. Юки старательно вскопала и разрыхлила тяпкой все вокруг того места, где лежала сережка, но клада там не обнаружилось, только пара пивных крышечек и подземный муравейник. Рыжие кусачие муравьи тут же расползлись по недоделанной грядке, побежали по ногам, и Юки бросила лопату, ойкая от растекающейся под кожей кислотной боли.

Сережку Юки отмыла, почистила, окунув старую зубную щетку в золу – когда-то читала в Интернете, что так снимают налет с драгоценных металлов. И ничейная побрякушка расцвела у нее в руках – оказалось, что она очень красивая, серебряная, с тончайшим орнаментом и прозрачным красным камешком.

Забыв про картофельную грядку, Юки увлеченно возилась с неожиданным сокровищем, примеривая то так, то эдак, то в ухо, то на лоб на шнурке. Со шнурком было определено лучше. Юки загнула застежку плоскогубцами, превратив серьгу в кулон, надела, накрасилась, вытащила из шкафа любимый льняной сарафан и долго вертелась перед зеркалом. Одно только огорчало – зеркало у нее во флигеле было маленькое, и любоваться собой приходилось по частям.

А глубокой ночью, когда Вьюрки крепко спали и только мягкие ночные птицы пересвистывались тихонько над двускатными крышами, Юки вдруг так и подбросило в постели от странного, но многим знакомого ощущения. Будто кто-то резко, пронзительно вскрикнул совсем рядом, прямо у нее над головой. Юки наострила уши, в которых еще звенели отголоски этого крика, уставилась широко распахнутыми глазами в слепую темноту. И с облегчением поняла, что вокруг стоит бархатная тишина и никто не кричал, ей просто почудилось. Она взбила подушку, свернулась под одеялом тугим калачиком – но секунду спустя действительно различила в этой тишине какие-то звуки.

Звуки доносились из предбанника – так мама с папой называли крохотное помещение между наружной и внутренней дверями флигеля, где обычно оставляли обувь, верхнюю одежду и всякий хлам. Что-то слабо, но отчетливо шлепало там по дощатому полу. Притихло, потом звякнуло – наверное, задело впотьмах пустую банку – и снова принялось шлепать. От стенки до стенки, то в одну сторону, то в другую.

Лягушка, подумала Юки, это просто лягушка в гости пришла и не знает теперь, как выбраться. Она регулярно находила их, надутых и важных, в предбаннике, и они возмущенно попискивали у нее в руках – требовали должного уважения. Вообще, лягушка – тварь особенная, магическая, она аккумулирует энергию ночи, как кошки или совы. Поэтому средневековые ведьмы и окунали в свои зелья лягушек. Юки и об этом в Интернете читала: они их именно окунали, чтобы добавить в зелье силу ночи, а вовсе не варили бедняжек живьем, это потом гонители выдумали, чтобы очернить мудрых хранительниц тайных знаний.

Надо было, конечно, встать и выпустить лягушку на волю, пусть себе дальше заряжается. Но глаза слипались, дрема накатывала теплыми волнами, и так не хотелось вылезать из нагретого гнездышка. «Ничего, сама выберется», – подумала Юки и провалилась обратно в сон.

И действительно – наутро лягушка благополучно покинула предбанник, если она вообще там была. Юки, всегда выпускавшая

бьющихся об оконное стекло бабочек и уносившая подальше от проезжей части глупых ужиков, осмотрела все углы и никого не нашла.

Всю первую половину дня она, заткнув уши подборкой для, кажется, йоги, возилась в огороде: рыхлила, полола, хвалила огурцы с морковкой за активный рост и здоровый цвет. Юки верила, что мать-природа общается с людьми через свои дары и своих детей – тех же лягушек или, к примеру, птиц. И нужно обязательно ей отвечать, чтобы заслужить благосклонность. Ведь уже научно доказано, что растения, с которыми разговаривают или включают им музыку, растут быстрее и пышнее.

Потом Пашка позвал кататься на велосипедах, но не успели они доехать до ближайшего перекрестка, как у Юки слетела и расклепалась цепь, так что пришлось тащить велосипед к Пашке в гараж на починку. Потом оказалось, что именно сегодня во Вьюрках еженедельное собрание, посещение которого теперь стало обязательным. Юки постояла с краю, держа исцеленный велосипед за рога, послушала – все как обычно. Без паники, нужно сохранять бдительность и держаться друг друга, помощь наверняка уже близко, на реку и в лес не ходите, запирайте калитки. И поглядывайте, что происходит на соседнем участке, – люди продолжают пропадать. За эту неделю исчезли неведомо куда Грибов с Цветочной улицы – и что тут смешного, вам смешно, что люди пропадают? Молодежь сконфуженно утихла, и председательша с напором продолжила: да, исчезли Грибов с Цветочной улицы и Татьяна с Вишневой, та самая, которая все рвалась в город за лекарствами для умственно отсталого сына Ромочки. И дорвалась, ушла в лес, и вот уже сколько дней ни слуху ни духу, сына одного оставила, беспомощного совсем. Так что имейте в виду – за калитку ни шагу, если не хотите закончить так же.

Юки сразу вспомнила Ромочку, здоровенного парня с безоблачным лицом. Она всегда его побаивалась – мало ли что там творится в его легковесной голове: вдруг набросится, – но сейчас пожалела до слез, представив, что он там совсем один. После собрания она загорелась идеей сходить к Ромочке, приготовить ему еды или в доме прибраться, но рыбачка Катя неожиданно принялась ее отговаривать: только под ногами будешь путаться, и без тебя Ромочке есть кому помочь, лучше у себя во флигеле убери, наконец. Юки

сначала даже обиделась, а потом догадалась, что Катя, наверное, тоже его побаивается.

Потом она подмела во флигеле и вымыла посуду, чтобы Катя не смела больше ей указывать на бардак. Потом они с Пашкой сходили на опустевший участок Грибова и не нашли там ровным счетом ничего особенного. Юки хотела предложить Пашке устроить спиритический сеанс и расспросить о пропаже Грибова духов места, но вовремя вспомнила, что, во-первых, Пашка безнадежный скептик, а во-вторых – пора поливать огород.

В постель Юки забралась с ноутбуком и наушниками, чтобы посмотреть перед сном кино – фильм ужасов, разумеется. Для ужастиков у нее была отдельная папка, она специально накачала их себе на лето великое множество, и теперь это оказалось более чем кстати. Из приятных страшилок с обязательной мистической тайной в сердцевине эти фильмы превратились в окошко, через которое она с ностальгией глазела на привычный мир. Люди там спокойно перемещались из одного населенного пункта в другой, пользовались Интернетом и мобильниками, смотрели новости по телевизору, и все у них было так привычно, удобно, правильно, что Юки даже сердилась немного на паникующих героев. Нашли из-за чего визг поднимать: проклятие на них наложили, привидение в доме завелось, да вы просто во Вьюрках не были...

Наконец Юки отложила ноутбук и уютно завернулась в одеяло, выставив наружу для баланса температур левую пятку. Она уже задремывала, когда из предбанника опять донеслись те самые звуки: шлеп-шлеп-шлеп. Все-таки слишком уж частыми и звонкими они были для лягушки, как будто бедное животное прыгало безостановочно и на совсем маленькое расстояние, да еще и шлепалось со всего размаху брюшком об пол. На кошку или ежа тем более не было похоже. Юки приподняла голову и прислушалась. Незримый гость прошлепал сначала в один угол, потом в другой, потом вроде бы остановился, притих. От жилого помещения предбанник отделяли тонкая деревянная стенка и дверь, которая закрывалась на крючок. И прямо за этой дверью сейчас, судя по всему, кто-то был.

Тишина затянулась. Юки даже чуточку расстроилась, решив, что больше ничего не услышит и пошлепывание в предбаннике останется

такой же загадкой, как те таинственные, никем еще не виденные шарики, легенда многоквартирных домов, которые полнозвучно катаются по полу у соседей сверху. Но тут послышался новый звук – более громкий, скребущий. Как будто кто-то осторожно царапал дверь с той стороны.

Сгорая от любопытства, Юки подкралась на цыпочках к двери, откинула крючок и резко ее распахнула. Конечно, ей было не только любопытно, но и немного страшно. Поэтому она действовала быстро, не задумываясь, – чтобы трусить было некогда.

В предбаннике стояла густая неподвижная тьма – занавеска на единственном маленьком окошке была плотно задернута. Юки шагнула к окошку, чтобы ее отодвинуть, и наткнулась на что-то в потемках, на какое-то новое препятствие, не похожее ни на банку, ни на мамины резиновые боты, об которые она вечно здесь спотыкалась. Оно коснулось ее правой ноги – плотное, прохладное, высотой где-то по колено, а может, и ниже. И самое главное – оно явственно шевелилось... Снова послышалось торопливое шлепанье, и Юки, пошарив рукой в том месте, где только что было это непонятное препятствие, ничего уже не обнаружила.

Она вбежала обратно в комнату, ударила ладонью по выключателю, схватила со стола фонарик и тщательно просветила все углы в предбаннике. Но там никого не было. Хлама в предбаннике хранилось много, но вряд ли существу ростом ей по колено удалось бы в нем так мастерски спрятаться. Юки осветила на потолок, заглянула на всякий случай в древнюю, еще бабушкину стиральную машинку «Фея». Оттуда пахло нагретой плесенью. Никого. И дверь на улицу, конечно же, была заперта на ключ.

Юки пришла в необыкновенное волнение, но не потому, что испугалась. Всем своим затрепетавшим от азарта нутром она почувствовала близость сверхъестественного. До того как во Вьюрках начали твориться всевозможные странности, мир был очень несправедлив к Юки. Ей, так искренне верящей во все подряд, от астральных проекций до ангелов с инопланетянами, еще ни разу не встретилось и намек на настоящее чудо. У нее, запоем читавшей книги и сетевые обсуждения, посвященные необъяснимому, не было в запасе ни одной личной истории, в которой это необъяснимое хотя бы подозревалось.

Жизнь Юки была не мистическим триллером, а сериалом для домохозяйек, серым и скучным, как овсяная каша. И даже вьюрковские аномалии, казавшиеся такими многообещающими, ее как будто игнорировали. Загадочные события происходили с кем угодно, но только не с ней. Взрослые, унылые и серьезные дачники прятались от них за семью засовами, а Юки, можно сказать, стояла с фонарем у широко распахнутой двери, ждала, трепетала и надеялась – и опять ничего не случилось. Нельзя же, в самом деле, считать сверхъестественным явлением голого Кожебаткина в огороде.

Юки решила во что бы то ни стало выследить ночного посетителя. Даже к тому, что он может все-таки оказаться приبلудным котом или другой скромной живностью, она была морально готова.

Она достала со шкафа тяжелую металлическую шкатулку-сундучок, выпрошенную когда-то у мамы под бусики-заколки, а на самом деле – под амулеты и прочие магические предметы. Их у Юки было много: от подвески «инь-ян» до настоящей птичьей лапки, а еще в шкатулке хранились камни, на которые она долго копила в свое время карманные деньги: агат, защищающий от злых духов, усиливающая скрытые экстрасенсорные способности яшма и винно-красный гранат, ее талисман по знаку зодиака. Засушенные четырехлистный клевер, пятилепестковый цветочек сирени и очищающий ауру каштан тоже лежали где-то там, на пыльном бархате.

Все свое магическое богатство Юки разложила на столике у двери, в центре поставила свечу из настоящего пчелиного воска, насыпала у порога соли, чтобы существо не смогло войти в комнату без позволения. Еще она решила нарисовать углем на двери специальную руну для вызова духов, но уголь крошился, и на потемневшем дереве его почти не было видно. Поэтому в ход пошел найденный в шкафу мелок от тараканов.

Закончив приготовления, Юки опустила в кружку с водой серебряную ложку, умылась этой водой трижды и стала с нетерпением ждать вечера. Даже забыла похвалить кабачки и не поехала кататься на велосипеде – вместо этого она вытащила на солнечный пяточок у крыльца раскладушку и улеглась загорать. Надо было держаться поближе к дому на случай, если таинственный гость вдруг надумает явиться днем.

Юки пригрелась и неожиданно для себя задремала, а когда проснулась, солнца уже не было видно, только верхушки елей горели оранжевым закатным отблеском. Покрасневшую кожу неприятно холодило, над ухом зудел комар. Юки зевнула, потянулась, и по телу ее прокатилась целая гамма болезненных ощущений – мало того что она здорово обгорела, так еще и отлежала ногу. И вообще, странно это было, она обычно спала мало и уж точно не отключалась вот так на целый день ни с того ни с сего.

Тут Юки вспомнила про запланированную встречу с неведомым и заволновалась – еще не хватало банально проспять все самое интересное. Она торопливо сложила раскладушку, прислонила к стене возле крыльца и открыла дверь.

И в хорошем еще вечернем освещении, безо всякой мистической расплывчатости и игры теней увидела то, что резво шлепало по полу ей навстречу.

Это был ребенок, судя по грязно-белому платьицу с кружевами – девочка. Русые волосы сосульками свисали на скошенный лобик, закрывая глаза. Девочка была совсем маленькая, и это касалось не только возраста – возраст детей Юки вообще определяла с трудом, – но и роста. Точнее, роста в ней было даже значительно меньше, чем задумывалось природой. Потому что у девочки не было ног. Ее тело заканчивалось вместе с довольно коротким платьем, кружевной подол которого волочился по полу. А передвигалось это усеченное существо при помощи рук, ловко шлепая по доскам маленькими ладошками.

Все это Юки успела рассмотреть за одну бесконечную секунду, пока они обе изучали друг друга, замерев на месте. Юки чувствовала, как пристальный и цепкий взгляд ощупывает ее из-под свисающей челки, и готова была поклясться, что в этом взгляде тоже присутствует жадное любопытство.

А потом девочка открыла неожиданно огромный, жабий какой-то рот, разломивший ее личико надвое почти до самых ушей, и тонко, пронзительно закричала. Задрезжало оконное стекло, звенящей дрожью отозвались стоявшие в углу банки. А девочка, не переставая кричать, ринулась прямо на Юки, быстро шлепая ладошками по дощатому полу.

Хоть Юки и была уверена, что при встрече с необъяснимым покажет себя не визжащим от ужаса обывателем, а храбрым

исследователем, на деле все вышло несколько иначе. Она с воплем захлопнула дверь перед самым носом кошмарного существа и судорожно повернула торчавший из скважины ключ. С той стороны раздались стук и грохот, а потом по дереву отчетливо заскребли когти – точнее, ногти, непомерно отросшие и пожелтевшие детские ноготочки, которые Юки тоже успела заметить.

Спотыкаясь в своих незастегнутых босоножках и не разбирая дороги, она ударилась в позорное бегство – как самый настоящий трусливый обыватель.

Остановившись, чтобы хоть чуточку отдышаться, Юки обнаружила, что ноги сами принесли ее к даче раздолбая Пашки. Через сетчатый забор было видно, как Пашка меланхолично колет дрова возле сарая. Юки принялась сипло и отчаянно звать его, но он не откликнулся. У Юки сердце ушло в пятки – она решила, что это тоже часть наваждения, и теперь люди ее не слышат, а может, и не видят, а может, жуткая безногая девочка уже убила ее, и теперь она сама призрак... Наконец Пашка краем глаза заметил, как кто-то мельтешит у забора, поднял голову и снял гроыхающие музыкой наушники.

Из долгих и сбивчивых Юкиных объяснений Пашка с большим трудом понял, что в дом к ней проник чужой ребенок, неизвестно откуда взявшийся и очень, очень страшный. Пашка удивился – он, конечно, не был большим поклонником детей, но не понимал, что в них может быть такого страшного, если они не от тебя. Юки вздохнула и излагала какие-то фантастические подробности про отсутствие ножек – это ей точно показалось, не было в поселке безногих детей, – про жуткий огромный рот, про соль у порога, про камни и береги, которые должны были защитить ее от малолетнего чудища, но она оказалась по другую сторону двери, и это не случайность, точно не случайность, ведь она никогда не спит днем, даже в детстве не любила...

Пашка выдал Юки бутылку с водой в надежде, что она, как всякий младенец, «присосется и заткнется», набросил на нее куртку, чтобы не мерзла в своих коротеньких шортах и верхе от купальника, и отправился смотреть, кто же все-таки к ней вломился. Юки семенила следом, хныча и треща без умолку – даже бутылка не помогла.

К двери флигеля Пашка подошел осторожно, потому что помнил не только о том, что всю информацию, полученную от школьников – и особенно от школьниц, – нужно делить на десять, но и обо всех вьюрковских странностях. Прислушался, даже приложил ухо к прохладному дереву – очень аккуратно, вполне готовый к мощному удару с той стороны. За дверью было тихо, но острый Пашкин слух уловил еле различимый шелест и постукивание. Темнело, поэтому Пашка захватил с собой фонарик. Взвинченная Юки ойкнула шепотом, испугавшись внезапно вспыхнувшего синеватого света. Пашка медленно повернул ключ, недовольно поморщился, услышав лязганье замка, из-за которого теперь уже точно не получится проникнуть внутрь бесшумно, и распахнул дверь.

Предбанник был пуст. На полу валялись всякие хозяйственные мелочи – моток веревки, изолента, рассыпавшиеся гвозди. Под ногой хрустнуло стекло от разбитой банки. Никого здесь не было, и только одинокий серебристый мотылек шелестел под потолком, стучаясь о доски и роняя тонкую, переливающуюся в луче фонарика пыльцу с крыльев.

– Была она тут, вон, разгромила все! – упрямо зашипела Юки. – Я на два оборота заперла, не могла она выбраться!

– Может, в комнату переползла? – пожал плечами Пашка, и Юки вздрогнула, представив, как жуткая девочка ползает в темноте у нее под кроватью.

В жилой комнате они тоже никого не нашли, хоть и обшарили все углы, перепачкавшись в пыли и паутине, и под кровать тоже заглянули. Пашка скептически покосился на разложенные у двери магические предметы, и Юки торопливо принялась укладывать обратно в шкатулку яшму, свечу из пчелиного воска, птичью лапку...

Когда она стирала с двери руну, нарисованную мелком от тараканов, проникшийся сочувствием к юной истеричке Пашка предложил ей на всякий случай переночевать у него, раз она так боится.

– Ты чего? – вытаращила глаза Юки.

– Да нет, там два дивана, и вообще я на веранде могу... белье есть, и подушки, три подушки есть... – смутился Пашка. – Или у Катьки переночуй, пошли к Катьке, а?

Юки представила, как неудобно ей будет переодеваться и спать в чужом доме – прятать под ворохом одежды свое, прямо скажем, заношенное белье, спать вполглаза, чтобы не скинуть, как обычно, одеяло и не оголиться во всей давно не депилированной красе. И все время посматривать, не идет ли кто, когда она в коротенькой ночнушке будет выскальзывать ночью в туалет – а она будет, минимум три раза за ночь, мама даже отправила ее однажды к врачу по этому поводу, – мол, бегают и бегают девочка в туалет, может, застудилась, но после пятнадцати минут позора врач постановил, что все в порядке, просто вот такая стыдная особенность. Не попросишь же у Кати поставить ей ведро, как она сама обычно в своем флигеле и делала, и уж тем более не объяснишь все эти тонкости Пашке. Таинственная юная дева, потомственная ведьма – и ведро...

– Не пойду я никуда, – буркнула Юки. – Сам говоришь, что показалось. Я лучше тут. И дверь запру.

– А если вдруг... – неопределенно забеспокоился Пашка. – Люди же пропадают... Мало ли.

У Юки сердце задрожало от восторга: волнуется Пашка, за нее волнуется!

– А ты оставайся, будешь меня охранять. Я тебе в предбаннике раскладушку поставлю. Заодно и узнаем, чудится мне или нет.

Юки хихикала, но в ее заполошном кокетстве сквозила искренняя детская надежда. Она действительно хотела, чтобы Пашка остался и защитил ее как рыцарь... Нет, не принцессу, это слишком слащаво и вообще для блондинок, пусть лучше она будет прекрасной колдуньей. Впрочем, Пашка был не слишком проницателен.

– Я тебе бобик, что ли, в предбаннике спать, – немного обиженно сказал он. – Ладно, ночуй, где нравится. Но если чего вдруг – сразу ори.

– Буду. – Юки тоже немного обиделась. – Еще как буду.

Пашка допоздна просидел в гостях, веселил Юки байками из разухабистой жизни своих приятелей и анекдотами. А потом все-таки ушел, погрохотав предварительно во всех углах шваброй – чтобы доказать, что никого там нет и быть не может. Дверь из комнаты в предбанник он оставил открытой настежь.

Юки смотрела-смотрела на этот крохотный, обшарпанный, безобидный закуток и в конце концов решила, что ночевать тут она не будет. Ведь есть еще большой дом, в котором уже и полы перестелили, так что раскладушку там можно ставить спокойно, не опасаясь, что она провалится в подвал к мышам и сороконожкам.

И Юки принялась перетаскивать спальные принадлежности в одну из комнат бабушкиного дома, почти полностью уже отремонтированную. Решение ее, конечно, кому угодно показалось бы сомнительным: пустой старый дом вряд ли был самым безопасным местом для ночевки. Но, во-первых, заботливых советчиков поблизости не наблюдалось, во-вторых, Юльке по прозвищу Юки было пятнадцать, а в-третьих, ей все-таки мешала мыслить здраво легкая, приправленная страхом эйфория: ведь именно ею, ею лично, заинтересовалось наконец сверхъестественное существо. И теперь нужно выяснить, кто оно и что ему нужно, главное – не впасть в панику.

Или впасть, но не сразу.

Вокруг раскладушки Юки разложила свои осмеянные вредным Пашкой амулеты, насыпала круг из соли – очень экономный круг, ведь так и всю пачку можно израсходовать на духов вместо супа – и легла спать. Под подушку она спрятала фонарик и складной нож – предметы, прямого отношения к магии не имеющие, но тоже крайне полезные.

В бабушкином доме не было и намека на ту безмятежную ватную тишину, которую так ценят любители дачного отдыха. Все время что-то потрескивало, поскрипывало, щелкало, возились под полом мыши, а на чердаке – еще кто-то. Пахло свежим деревом и какими-то строительными пропитками. Пушистая ночная бабочка стукнулась в недавно вставленное, еще с наклейками стекло и с шорохом скатилась вниз.

Юки вслушивалась, всматривалась, вертелась на раскладушке, сбивая постепенно простыню в комок, и думала, что ни за что не заснет. Сердце билось так сильно, что грудь вздрагивала под одеялом, в голове было тревожно и ясно...

А потом очертания голого скелета комнаты, хорошо различимые в сумерках, дрогнули, затуманились и стали обрастать жилой плотью. Зазмеился по стенам растительный орнамент, укрепился, расцвел и

превратился в советские цветочные обои. Что-то вспучило их изнутри, и под обоями налились уродливые узлы, похожие на березовый гриб чагу. Эти новообразования постепенно увеличивались, обретали форму, темнели, выламывались из стен и становились шкафами, стульями, зеркалами. Многочисленными квадратиками и овалами на обоях запестрели старые фотографии. Понять, кто на этих фотографиях изображен, было невозможно – только еле-еле угадывались бледные пятна лиц. Окно подернулось тюлевой занавеской, запахло чужим старым жильем – пыль, лежалая бумага, стиральный порошок, что-то сладковато-затхлое... И в комнату бесшумно вошла бабушка – высокая, прямая, иссушенная. Снежная королева, превращенная старостью в Бабу-ягу. Ее лицо, которого Юки не помнила, было мягко затушевано темнотой. Бабушка держала в руках большое блюдо, прикрытое полотенцем.

– Вот, с вареньем тебе испекла, – сказала она. – Чтобы жить сладко было.

– Спасибо, – хотела ответить Юки, но голоса почему-то не было, даже губы еле шевельнулись.

– Надо, чтобы жили тут. Чтобы приглядывали. За ребеночком всегда пригляд нужен.

Бабушка сдернула полотенце, но вместо обещанного пирога с вареньем под ним был перевязанный лентой продолговатый кружевной сверток. Бабушка вскрикнула и уронила блюдо, а упавший сверток быстрой гусеницей пополз прямо к раскладушке...

Юки заметалась, пытаясь подняться, и проснулась. В ушах все еще отдавался эхом пронзительный бабушкин крик – прямо как в ту ночь, когда она впервые услышала странные звуки в предбаннике. Трясущейся рукой Юки выдернула из-под подушки фонарик. Полоска света пробежала по голым новеньким доскам, нашла дверной проем, скользнула по потолку, опустилась вниз. Не заметив ничего подозрительного, Юки выдохнула и перехватила фонарик поудобнее, чтобы ребристая ручка не впивалась в ладонь. Дрогнул призрачный световой кружок на полу... и противоестественно укороченная белая фигурка прыгнула невесть откуда прямо в него. В распахнутом жабьем рту Юки отчетливо увидела гнилые, стершиеся почти под корень молочные зубки.

Юки сама не поняла, когда и как она оказалась в другой комнате. От холода и страха ее трясло, по стенам метался кружок света от зажато го во вспотевшей руке фонарика. Только одно она помнила прекрасно, до дрожи отчетливо: как кружевное существо с легкостью запрыгнуло к ней на раскладушку, доказав тем самым полную бесполезность всех оберегов. Оно приземлилось Юки прямо на ноги, и через тонкое одеяло она почувствовала неоспоримо реальную, холодную тяжесть. Да что там – она чувствовала ее до сих пор.

Юки быстро обшарила комнату лучом фонарика, увидела темнеющий впереди дверной проем – новую дверь здесь еще не поставили – и бросилась туда. Но, не успев пробежать и нескольких метров, неожиданно и больно обо что-то споткнулась. Препятствие с гулким грохотом откатилось в одну сторону, Юки, обдирая коленки, – в другую. Оказывается, она налетела на неизвестно откуда взявшийся желтый эмалированный таз. Наверное, это родители его сюда притащили, разводили в нем клей или еще что-нибудь.

Сзади послышалось торопливое «шлеп-шлеп-шлеп». Юки выключила фонарик, надеясь проскочить в темноте незамеченной, кинулась к выходу из комнаты – и с размаху врезалась в дверь. В запертую дверь, которой здесь не было да и быть не могло. Юки зашарила в отчаянии руками по разошедшемуся дереву, но так и не нашла ни щеколды, ни крючка, зато нащупала чуть правее стену с бумажными струпами обоев. И их здесь тоже быть не могло: все до последней полоски содрали перед ремонтом. Судорожно выдохнув, Юки снова включила фонарик.

Комната стала другой. Со стенами в тот самый советский цветочек, уже виденный во сне, с крашеным дощатым полом и, самое главное, – с мебелью. Стол, провисшая кровать, тумбочка, прикрытая вязаной салфеткой, и шкаф – монументальный, нелепый шкаф с пустой глазницей зеркала, который они втроем еле-еле выволокли отсюда по частям, а потом папа порубил его на дрова.

Рядом с непостижимым образом вернувшимся шкафом Юки увидела другую дверь, узкую и заманчиво приоткрытую. Раздумывать было некогда, деловитое дробное пошлепывание раздавалось уже совсем близко, а дверь, в которую она тщетно ломилась, была, по всей видимости, заперта на ключ. Юки бросилась к той, другой, дернула за холодную металлическую ручку и юркнула внутрь.

В свете фонарика Юки разглядела ровные ряды полок с какими-то горшками, кастрюлями, коробками. Бледные соленья плавали в банках, как зародыши в формалине. Это была кладовка. Маленькая, глухая, безвыходная кладовка, которую родители давным-давно сломали, чтобы присоединить к комнате, потому что и так есть и сарай, и погреб, а комната небольшая, вот и будет ниша для, например, гостевого диванчика...

«Шлеп-шлеп-шлеп», – послышалось за дверью. Юки подперла ее тяжелой коробкой с каким-то хламом, а сама забилась в самый дальний угол, в труху и паутину. С полок, грохоча, посыпались горшки и банки. Дверь скрипнула, дрогнула, и Юки внезапно с ужасом вспомнила, что открывается-то она наружу, и коробка никак этому не помешает.

Дверь снова скрипнула – прыгучему существу, похоже, удалось каким-то образом добраться до ручки. Юки с отвратительной ясностью представила, как девочка висит там и раскачивается всем своим коротеньким телом, пытаюсь открыть. Дверь тяжелая, подумала Юки, у нее не получится, она, правда, тяжелая... И тут же увидела в дрожащем пятне света детские пальцы, вползающие в щель. Юки подскочила к двери и дернула ручку на себя. Пальцы исчезли, с той стороны раздался визг, дверь снова закрылась наглухо.

– Уходи! – заревела Юки. – Уходи-и-и!

И в то же мгновение поняла, что это не ее руки изо всех сил тянут дверь на себя. Это были чужие, взрослые, шершавые руки с потемневшими лопаточками ногтей, но она ощущала их как свои собственные. Она чувствовала прохладу дверной ручки и даже саднящую боль от заусенца, воспаленного чужого заусенца на чужом указательном пальце. Юки бросила отчаянный взгляд вниз и увидела чужое тело – плотное, грудастое, в синем байковом халате, пропахшем луком и кислым потом.

– Уходи-и! – взвыла Юки надтреснутым бабьим голосом, и все закачалось, поплыло, затянулось зеленоватой, как ряска, пеленой...

Рано утром ее нашли раздолбай Пашка и Катя. Юки сидела в углу пустой комнаты, обхватив руками колени, и, казалось, дремала. Хотя Пашка, которому Катя уже успела устроить знатную взбучку за проявленную неосмотрительность, сразу заподозрил непоправимое.

Но как только скрипнула половица, Юки распахнула покрасневшие глаза и дико уставилась на вошедших.

– Ну? – Катя опустилась на корточки рядом с ней. – Кого видела?

Заикаясь и перескакивая с одного на другое, Юки рассказала о ночных событиях. Получилось, как обычно, сумбурно и неубедительно, но Катя слушала так, будто все понимала, а потом еще и отругала Юки – за камни, за полынь, за круг из соли. Пашка, оказывается, еще и про руны на двери ей сказал, так что вдобавок и за это влетело. Юки растерянно хлопала мокрыми ресницами, ужас от пережитого сменялся недоумением и обидой, а Катя гнула свое: и так вокруг неизвестно что творится, нельзя в эту магию играть, будь она хоть десять раз выдуманная. Лучше подумала бы Юки своей крашеной головой, не дразнит ли она тараканьими рунами кого не надо, не приманивает ли сама всяких...

– Чертей? – уточнила Юки.

– А хоть бы и чертей! – отрезала Катя, которую Юки никогда прежде не подозревала в зашоренности и мракобесии.

Спорить Юки не стала – сейчас ей было совсем не до защиты своих магических прав. Катя заставила ее собрать вещи – шкатулку с амулетами взять не разрешила – и увела к себе на дачу. Там, напившись травяного чая и съев по Катиному требованию какую-то таблетку, Юки постепенно успокоилась. Катя, похожая теперь не на чудаковатую рыбачку, а на строгую учительницу, велела рассказать все еще раз, по порядку. И слушала очень внимательно, даже делала пометки в блокноте, а Юки рассеянно удивлялась – что же это Катя так чертями интересуется. Неужели знает что-то или даже умеет, а в юной соседке просто конкурента почуяла? Живет одна, скрытно, с тварями водяными и земляными возится, волос темный и в рыжину, если присматриваться, отдает – чем Катя не ведьма?..

Ближе к концу повествования Юки со страшной силой потянуло в сон, и Катя отправила ее на второй этаж, где уже было постелено.

– А соль есть? – еле справившись с зевотой, спросила Юки.

– Я тебе дам соль! Спи давай, не доберется она до тебя, по такой-то лестнице...

«Точно, – успела подумать Юки, зарываясь головой в подушку, – знает что-то, только говорить не хочет...»

Шел сильный дождь, и утоптанная дорожка превратилась в хлюпающее грязевое тесто. При каждом шаге приходилось вытягивать из него большие, не по размеру, галоши, и они ударяли по пятке. Промокший, разбухший от влаги сад казался неузнаваемым, и дело было не только в дожде. У калитки, где росли кусты крыжовника, теперь почему-то была старая яблоня, а там, где мама посадила свои любимые лилии, вздрагивала под тяжелыми каплями картофельная ботва.

Она обернулась и посмотрела на дом – добротный, темно-зеленый, с резными наличниками и тюлевой пеной на окнах. Так вот, значит, каким он был раньше. А внутри, наверное, и обои в цветочек, и кладовка, и желтый эмалированный таз, об который все спотыкаются.

Но надо было идти дальше, к забору. Там самое лучшее место – лиловые ирисы, пестрые астры осенью, там никто не побеспокоит...

В руках у нее был продолговатый кружевной сверток, а под мышкой – тяжелая, волочащаяся по грязи лопата. От одной только мысли о том, чтобы приподнять кружево, посмотреть, что под ним, становилось страшно и больно. Надо просто закопать, поглубже, чтобы никто не добрался, не разбудил. Хорошо, что земля сейчас мягкая.

Копала она долго, с трудом выворачивая тяжелые мокрые комья. Уже стемнело, и лежащий в уютной постельке из лопуха сверток пронзительно белел в полумраке. Она взяла сверток и осторожно опустила туда, в грязную жижу.

И мозг вдруг пронзила чужая, лихорадочная мысль – не убивала, не убивала, нет-нет-нет, она бы ни за что, просто уснула слишком крепко... И мысль была чужая, и тело – то самое плотное, грудастое, знакомое уже тело незнакомой женщины в мокром насквозь халате.

Она стерла соленую воду с лица, случайно зацепив мизинцем сережку. И вспомнила сразу так ярко, что захотелось закрыть глаза и умереть на месте: как же маленькой эти сережки нравились, все тянула пальчики к прозрачным алым камням, хватала, игралась. Замок никак не поддавался, и она почти вырвала сережку из уха, кровь капнула на шею. Поцеловала нагретый от тела металл и бросила на сверток:

– Забирай игрушечку, на память...

– На память, – повторила, распахнув глаза, толком еще не проснувшаяся Юки. – На память!

Она кричала так громко, что на второй этаж тут же взлетела разбуженная Катя. Юки, всхлипывая, протянула ей кулон, который сделала из найденной сережки. Ведь он все время, все это время висел у нее на шее, она просто забыла о нем. Висел вместе с любимыми бусами из «кошачьего глаза» и образком, который подарила мама. Украшения, которые ей особенно нравились, Юки носила не снимая, и этот дополнительный шнурок даже не чувствовался, как будто его и не было. Катя молча разглядывала сережку, а Юки все причитала: какая же она дура, как же она не подумала, ведь столько ужастиков пересмотрела...

– Где нашла, помнишь? – спросила Катя.

– Приме-рно...

Катя задумчиво кивнула.

Они копали до самого вечера. Юки очень боялась, что рано или поздно лопата наткнется на тонкие побуревшие косточки, и вздрагивала от каждого подозрительного стука. Но это, к счастью, оказывались то камни, то корни. Юки успела во всех подробностях пересказать Кате свой сон, и та все время спрашивала, какой именно глубины была яма. Наконец, стерев ладони до пузырей, они решили, что глубина подходящая.

Катя взяла сережку, бросила на дно ямы и очень серьезно сказала:

– Забирай свою игрушку и память свою забирай.

Юки покосилась на нее с удивлением. А Катя вручила ей лопату и велела закапывать.

А потом, утрамбовав землю и накидав сверху досок, Катя и Юки отправились в кошачье царство, к Тамаре Яковлевне. После чуть не удушившей Вьюрки ссоры пенсионерки-старожилы сосуществовали мирно и благостно, но на участке Зинаиды Ивановны по-прежнему буйствовала зелень, а покой Тамары Яковлевны оберегали полосатые легионы. Для них Катя приготовила связку мелкой плотвы – уже были случаи, когда кошки просто не пускали не понравившегося им гостя за калитку, окружив его шипящим кольцом.

Предлог для визита был благовидный – не так давно Катя одалживала у Тамары Яковлевны стакан муки. Муку Юки отсыпала из своего мешка, а еще они прихватили с собой бутылку малиновой

настойки, невыносимо сладкой, которая уже не первый год хранилась у Кати в погребе для какого-нибудь особого случая.

Тамаре Яковлевне нездоровилось – как она сама утверждала, из-за погоды, – она полулежала на диване, вся в подушках и котах. Коты смотрели на гостей бездумно и сосредоточенно, совсем как та кошмарная девочка, и Юки, и без того очень смущавшейся, стало окончательно не по себе. Но малиновая настойка быстро взбодрила Тамару Яковлевну, та разругалась, подобрела, даже сказала, что у Юки прекрасные волосы и надо отращивать косу, только смыть сначала чем-нибудь эту ужасную черную краску...

Поговорили о погоде, о высоком атмосферном давлении, о том, снимать уже помидоры или подождать, потому что в нынешних условиях совершенно непонятно, когда начинать сбор урожая. А потом Катя ненавязчиво, как опытный киношный следователь, перевела разговор на прежние времена, когда погода всегда была хорошая, лето длилось столько, сколько полагается, Вьюрки можно было покинуть в любое время, а участки здесь получали приличные, заслуженные люди. Вот, например, семья Юлиной бабушки – большая, наверное, была, работающая, дружная...

– Дружная, дружная, – закивала Тамара Яковлевна. – Дом вон какой отгрохали, сад – все сами. Вы уж поддерживайте, следите, старались же люди.

– Обязательно, – согласилась Катя. – А что ж они ездить-то перестали, надоело или случилось что?

– А беседка какая, и яблони голландские, и качели за домом висели. Лучшая дача в поселке была, и у генералов таких нет, – Тамара Яковлевна погрузилась в приятные воспоминания, прижимая к груди, как спасательный круг, толстого рыжего кота. – Гости у них бывали, молодежь, танцы, я сама ходила... И работали тоже, не белоручки – огурцов по десять кило снимали, все чистенько, все прибрано...

– И такую хорошую дачу забросили?

Юки удивилась про себя: какая Катя упорная, оказывается, и даже хитрая.

– Вот и я говорила – что ж бросать, столько вложено! Опостылело им. Это уж после того, как с Зоечкой несчастье случилось. Слышали наверное, да? Ужас, ужас, такое несчастье...

– Вроде там мать младенца убила?

Тамара Яковлевна, к неудовольствию кошек, резко приподнялась, рубанула воздух рукой:

– Не убивала она, нечего сплетням верить! Не знают, а судят, бессовестные!

– Да я нет, я просто...

– Не убивала! Приспала Зочка дочку, во сне случайно задавила. А после умом тронулась. Похоронила прямо на участке, а потом в милицию – я, мол, убила...

– А вы откуда знаете, что это она случайно? – не выдержала Юки и получила от Кати локтем в бок.

Тамара Яковлевна прищурила мерцающие по-кошачьи глаза:

– А я, милая, все знаю... Признали Зочку невменяемой, положили в лечебницу, да и с концами, царствие небесное. А вот девочку не нашли, милиция приезжала, весь участок изрыла, а трупика и нет. Может, искали плохо, ленились, сами знаете, дожدهшься от них... Только Нюра, бабушка твоя, мне рассказывала, что племянница к ней во сне ходит. Растет, говорила, потихонечку, совсем ведь кроха была...

– Ногами ходит?

Тамара Яковлевна удивленно приподняла брови, а Катя опять толкнула Юки в бок.

– Девочка эта... она ведь... она ведь инвалидом была, да?

– Это кто тебе глупость такую сказал? Чудесная была девочка, совершенно здоровая.

Когда Катя провожала Юки до дома, было уже совсем поздно. Юки молчала, переваривая историю Зочки, несчастной бабушкиной сестры, о которой она раньше никогда не слышала. Катя толкнула калитку, Юки увидела свой участок и с необыкновенной отчетливостью вспомнила все и сразу: шлепающие по полу детские ладошки, безвыходную кладовку в чужом и страшном доме, кружевной сверток, синий байковый халат... Она вцепилась в Катину руку и запричитала: нельзя здесь ночевать, нельзя, кто его знает, угомонилась эта... эта штука или нет, может, она снова придет, может, они не там закопали сережку, или ей еще что-нибудь не понравилось...

– Утихни, – сказала Катя и потянула Юки за собой, во флигель.

Она поставила у двери раскладушку, спросила у Юки, найдется ли запасной комплект белья и, желательно, одеяло с подушкой. Юки сразу почувствовала, что она – под защитой, «в домике». Совсем как в детстве, когда после очередного страшного сна на ее крик приходила мама со свернутым одеялом под мышкой и устраивалась на диванчике рядом. И Юки умиротворенно засыпала, хоть и знала, что мама все утро потом будет ругаться: опять из-за тебя не выспалась, всем и всегда что-то снится, зачем же орать на весь дом...

– А если все-таки придет? – шепотом спросила Юки, когда они погасили свет.

– Вот и проверим, – ответила с раскладушки Катя. Помолчала и вдруг спросила: – А у нее точно не было ног? Может, ползала просто?

– Не было. Совсем-совсем. Но ведь Тамара Яковлевна сказала...

– Это игоша...

– Чего? – приподняла голову Юки.

– Ничего. Спи.

И Юки по голосу поняла, что Катя улыбается в темноте этой своей кривой, странной улыбкой.

Ночью было тихо, никто не приходил, не шлепал по полу и не скребся в дверь. А утром они позвали Пашку с Никитой и поставили забор между участками Юки и покойного Кожебаткина на прежнее место.

Юки запомнила, что Катя обозначила жуткую девочку каким-то странным словом, а вот само слово растеклось в памяти, распалось на перепутавшиеся звуки. Осталась только уверенность в том, что было в этом слове что-то лошадиное – так глупо, прямо как в рассказе из школьной программы. Юки побоялась, что Катя станет над ней смеяться – а для пятнадцатилетнего человека нет ничего более унижительного, – и не стала ее расспрашивать.

Главное, что мертвая девочка в кружевном платье к ней больше не приходила.

У страха глаза мотыльки

Виталий Петрович, одинокий кругленький пенсионер, жил на своем участке в садовом товариществе спокойно и размеренно, с малопонятным суетливому большинству дачников тихим удовольствием. Не заказывал у темных расторопных людей перепревший навоз, не копал истерически в начале сезона и не сбрасывал ближе к осени в помойную яму закисшие, облепленные мухами лишние природные дары, не лезущие уже ни в рот, ни в банки, ни во внуков. Виталий Петрович, казалось, и не жил даже, а произрастал на своем не изрытом садово-огородными траншеями участке вместе со скромным, натурального буро-древесного цвета домиком, забором из рабицы, малиной и уютным орешником.

Он мало интересовался жизнью садового товарищества и даже до сих пор не запомнил, как зовут его бессменную председательшу. Возможно, он так и не заметил до самого последнего момента, что не только с его тенистыми владениями, но и со всеми Вьюрками творится что-то неладное и доселе невиданное.

Виталий Петрович преданно и безответно любил искусство. В его дачке повсюду висели репродукции признанной красоты, и темная плесень медленно поедала лица возрожденческих мадонн. На самодельных полках стояли книги с золотым тиснением и обтекаемыми названиями: «Искусство», «Мастера пейзажа», «Шедевры живописи». В холода Виталий Петрович стыдливо растапливал печь какими-нибудь «Основами архитектурной гармонии» – предварительно, разумеется, зачитанными до полупрозрачности засаленных страниц.

Если Виталий Петрович и жалел о чем-то, то о том, что жизнь прожил серенькую, трудился на какой-то незначительной работе, а где-то далеко в это время шелестели парчовокрылыми стрекозами избранные: живописцы, скульпторы, люди искусства, творящие для вечности, оставляющие свое имя в веках, обгоняющие блистательным гением время и несущие миру Красоту и Гармонию – непременно с заглавных букв. Рассуждая об Искусстве, распаляющийся Виталий

Петрович не мог обойтись без заглавных букв; он даже рисовал их в воздухе своими маленькими ручками, потому что без них, как ему казалось, получалось слишком обычно и неподобающе. Впрочем, мало когда и с кем ему удавалось поговорить о самом дорогом, ведь люди понимающие встречаются так редко.

Настоящее произведение искусства, по мнению Виталия Петровича, должно было быть старым, красивым и в основе своей иметь подлинную, реальную жизнь, поскольку искусство, как известно, отражает ее, обогащая при этом и облагораживая. Все эти авангардисты и другие новомодные халтурщики Виталия Петровича, конечно, не интересовали. Закрасить холст черным и продать подороже любителям «современного искусства» – много таланта не нужно. Но и гонения в строгие прежние времена на них устраивали, пожалуй, зря – ведь молодежь, малюя свои квадраты, тоже тянется к прекрасному. Направить бы эту тягу в нужное русло, сводить молодежь в Третьяковку, заставить скопировать хотя бы для начала чей-нибудь искусный натюрморт – вот что стоило бы сделать.

В строгие советские времена вообще было много настоящих художников. Лет десять назад Виталий Петрович испытал подлинный катарсис, отправившись с приятелем за опятами и уже у трассы – к которой они и забредать-то не планировали, увлеклись, – очутившись вдруг на территории заброшенного пионерлагеря. Тогда много было таких забытых уголков, где гнездились птицы и подростки устраивали пивные посиделки, а вокруг осыпалась, таяла непростая, но великая эпоха. Виталий Петрович, в плаще-дождевике и с корзинкой, так и застыл, увидев нежные, прекрасные лики гипсовых пионеров, взметавших руки в последнем решительном салюте из крапивного плена. Было в их хрупких фигурах и тонких лицах что-то от обольстительных мадонн и мучеников кисти великих итальянцев, которых так любил разглядывать Виталий Петрович.

Конечно, он не смог бросить их там, на верную гибель. Творения неизвестного художника, лишившиеся уже кто руки, кто горна, надо было вызволить из жгучих, пропахших клопами зарослей. И Виталий Петрович сам, отправившись на заповедную территорию с топором и тележкой, снимал с постаментов строгих юношей и дев и вывез их потихоньку.

Так и поселились на участке Виталия Петровича белые пионеры, ставшие тайной достопримечательностью садового товарищества «Вьюрки». Посмотреть на них водили друзей, когда шашлыки были доедены, а вино еще оставалось. И велосипедные дачные дети украдкой показывали выглядывающих из кустов пионеров гостям. Украдкой – потому что непонятно было, как к этому относится сам чудаковатый хозяин участка, перетащивший зачем-то гипсовых советских детей к себе и залечивший их трещины и пятна, но не рискнувший дать увечным новые конечности. Он только срезал арматуру, торчавшую из культей ржавыми костями, и пионеры так и остались похожими на прекрасных греческих инвалидов. Виталий Петрович, который оставался равнодушным к робким экскурсиям вдоль забора, даже представлял, как археологи будущего, выкопав сбереженные им статуи, молча поражаются тому, что почти у каждой чего-то не хватает. Как радовался, глядя на Венеру или Нику, сам Виталий Петрович – ведь если бы дошло все в целости, как бы оно дразнило, как бы мучило своей слепящей недостижимой красотой? Художники мельчают с каждым веком, и новым поколениям очень, должно быть, больно видеть величие гениев прошлого...

Впрочем, так увлекался и парил в мыслях Виталий Петрович нечасто, а только когда выпивал – тоже, как правило, в одиночестве, – и усаживался на крыльце, чтобы подышать молочно-теплым летним воздухом и полюбоваться своими владениями. Рос из земли орешник, росли елки, росли пионеры, рос с ними сам Виталий Петрович – и было хорошо.

Через несколько лет после появления бледных гипсовых детей Виталий Петрович решил добавить к своей дачной выставке новый экспонат – пень, удивительно напоминавший лошадиную голову. Так как Виталий Петрович не сам его изваял, а всего лишь нашел в лесу, отполировал и покрыл специальной пропиткой, выставлять пень среди настоящих скульптур было не слишком неловко. Потом к нему добавилась коряга, похожая на крокодила, потом – безымянный зверь с тремя рогами, сделанный из останков вывороченной ветром ничейной яблони. А потом Виталий Петрович осмелел и увлекся. Пионеры были ни при чем, ему всегда хотелось творить самому, и рано или поздно он все равно бы начал.

Творения Виталия Петровича были далеки от классических идеалов и приближались скорее к порицаемому им современному искусству – к которому он, повторяя ошибку многих увлекающихся прекрасным пенсионеров, относил и написанный до его рождения «Черный квадрат». Но они ведь ни на что не претендовали, и нравились ему, и так хорошо дополняли дачные уголья, бесстрастных пионеров, всю его укрытую в зеленой тени выставку. Свои скульптуры Виталий Петрович делал из чего придется – палок, камней, старых покрышек и велосипедных колес, проволоки, тазиков и ковшиков, дырявых сапог и ведер. Все это в изобилии валялось вокруг, потому что дача – это место хлама, где всегда можно найти огромное количество вещественных обрывков прошлого, потрепанных и неработающих, но зачем-то все же хранимых. Возможно, для вьюрковцев, как и для всех прочих дачников, дедушкины транзисторы и бабушкины кастрюли были, в сущности, тем же, чем для Виталия Петровича стали его пионеры. И они тоже не могли бросить хлам на верную гибель.

Скульптуры свои Виталий Петрович считал, разумеется, баловством и никому специально не показывал, но обитателям Вьюрков они понравились, и они смотрели на них даже с бóльшим интересом, чем прежде на строгих советских ангелов.

Доподлинно неизвестно, заметил ли вообще Виталий Петрович день, когда Вьюрки по неизвестным причинам замкнулись сами в себе. Примерно в это самое время он поселил в своей прохладной галерее нового жильца – железного дровосека с воронкой на голове, в точности как на детских картинках, и с гнутой собачьей миской вместо лица. Творения Виталия Петровича всегда были безликими – если лицо у них вообще подразумевалось; зверей и просто некие мелодично дребезжащие на ветру конструкты он ваял гораздо охотнее. Лицо, и еще руки – это было слишком тонко, слишком интимно и слишком легко было все испортить, создав по неумению безобразное и смешное вместо прекрасного. Лица в его частном приюте прекрасного дозволялось иметь только гипсовым пионерам.

Установив железного дровосека возле калитки, Виталий Петрович вздохнул и потянулся, ощущая во всем теле сладость от завершения труда. И вдруг заметил за забором яркую шапочку недавно

раскрывшихся цветов. Это были флоксы. На тянущихся из цветоложа трубочках покоились плоские лопасти лепестков того неприятного оттенка, который любят молодящиеся старухи. Цвет фуксии, вспомнил Виталий Петрович и покачал головой – зря так назвали, кто эту фуксию видел. Лучше «цвет флокса»: флоксы – вот они, почти у каждой дачи, поздние цветы, стародевьи, первый укол осени в сердце. Значит, летний тенистый рай Виталия Петровича пошел потихоньку на убыль, и пусть он может просидеть на даче до первых заморозков, даже всю зиму – и ведь сидел пару раз, таскал на санках дрова из сарая, стряхивал снег с пионеров, застывших неприступными Каями. Все равно таял летний кусок дачного счастья, вожделенный и ускользящий еще со времен школы, института, работы, придуманных для того, чтобы отнимать время и вызывать спустя годы ничем не оправданную ностальгию...

Все это промелькнуло в голове Виталия Петровича за одно мгновение, не успев толком оформиться и зацепиться. Он открыл калитку, выдернул осенний флокс, кинул в канавку и пошел, насвистывая, к дому.

Потом во Вьюрках начались какие-то движения – дачники бродили группками мимо забора, шумели, заходила председательша, требовала, чтобы Виталий Петрович обязательно пришел на общее собрание, говорила какие-то глупости. Виталий Петрович спросил, не отключают ли уже воду на зиму, председательша всплеснула руками, начала объяснять, что не в этом дело, неужели вы не знаете, неужели не заметили... Он понял, что воду не отключают, да и действительно рано было. И на собрание не пошел. Потом дачники еще побродили по улице, погалдели, кто-то полез зачем-то через забор в лес, потом все вроде стихло.

Странные изменения Виталий Петрович заметил позднее, когда вьюрковцы уже начали обживать в своей новой и местами необъяснимой реальности. А пока он радовался – лето словно замерло, покачиваясь вместе с нетускнеющими листьями, в своей наивысшей точке, и флоксы больше не зацветали, и тянулось его спокойное счастье.

Началось все неожиданно. Виталий Петрович вышел утром из дачи и задумался, что бы такого предпринять – собрать малину,

отправиться на поиски нового материала для скульптур, а то давно не ходил, или же просто заварить чаю и полистать альбом с репродукциями. И тут он почувствовал, что на него смотрят. Виталий Петрович вообще остро чувствовал чужие взгляды, всегда так было, и оставшаяся далеко в прошлом супруга по молодости будила его веселья ради «телепатически» – долгим взглядом в лицо или даже в затылок.

Виталий Петрович огляделся. Вмятинами зрачков в белых глазах на него смотрели из-под ореховых ветвей вечные пионеры. Странно, что почувствовалось вдруг так резко и сильно, давно пора было привыкнуть к их требовательным взглядам. Возможно, просто тень так упала или, наоборот, солнечный луч озарил пионерские глаза, и они как-то по-особенному взглянули на Виталия Петровича из своего счастливого детства.

Ночью Виталий Петрович, идя по нужде в зеленый домик, остановился от того же чувства – кто-то смотрел на него. И от этого взгляда первобытные мурашки покатались по спине и рукам, вздыбилась несуществующая шерсть, и Виталий Петрович, сам того не заметив, настороженно сгорбился по-звериному. Не то чтобы из темноты на него глядели злобно или кровожадно, просто было в этом взгляде что-то постороннее, чужое. Это были вовсе не гипсовые пионеры, ставшие уже родными до последней выщерблилки.

Виталий Петрович боязливой трусцой добрался до зеленого домика, распахнул дверь, включил свет внутри. На траву шлепнулась лягушка, закачались ветки ближайшего куста. А дальше была непроглядная тьма, из которой что-то смотрело на уязвимого, озаренного светом сортирного фонаря Виталия Петровича.

Он влетел внутрь, захлопнул дверь и вдруг почувствовал, какое холодное и влажное у него тело, прямо как мокрая глина. Сердце прыгало в горле, трясло грудную клетку. Давление надо померить, испуганно подумал Виталий Петрович.

Утром, вспомнив уже скругленные сном и совсем не такие тревожные ночные события, Виталий Петрович отправился на поиски. Что-то, несомненно, присутствовало на участке и, несомненно, пристально на него смотрело. Оставалось выяснить, что это.

Проверив на всякий случай всех пионеров и убедившись, что от их взглядов он ничего, кроме легкой и светлой грусти, не ощущает, Виталий Петрович принялся планомерно обшаривать каждый уголок и закуток. Проверил дачу. Залез на чердак. И сверху, через слуховое окошко, увидел, что в его девственном малиннике змеится неизвестно откуда взявшаяся дорожка.

Там, продравшись через упрямые гибкие ветки, исцарапанный Виталий Петрович и нашел его. Скрючившегося на гладком чурбане невероятного уroda, слепленного из серой, перемешанной с травой и песком глины. Бесшей, с непропорциональным телом и обломками речных раковин вместо ушей, урод был похож на необыкновенно, пугающе безобразную обезьяну. Лицо у него было деревянное, грубо выдолбленное и налепленное поверх глины. В глубокий распяленный рот напихали белых камешков, которые, видимо, изображали зубы. И еще у урода были глаза – такие жуткие и внимательные, что Виталий Петрович даже не сразу понял, из чего они. Это оказались мотыльки-ночницы, прибитые к дереву. И этими бурыми мохнатыми глазами урод на Виталия Петровича неотрывно таращился. Даже зрачки были – из шляпок крохотных гвоздей, пронзивших пушистые тельца мотыльков.

Ошарашенный Виталий Петрович сел прямо на подернутую мхом землю. Кто мог такое сделать? Пробраться на участок, поставить старательно вылепленного из грязной глины урода, поиздеваться вот так над его скромной, лишь для себя устроенной дачной выставкой? Ведь раньше вот ходили смотреть через забор, посмеивались – он слышал, – но чувствовалось, что относятся в целом по-доброму, даже рады, что такой ценитель красоты живет по соседству. Что жестряслось во Вьюрках, думал Виталий Петрович, раз теперь вздумали так поглумиться, нарушили все границы, все приличия, приволокли и воткнули посреди крохотного царства гармонии издевательского урода? И ведь специально, специально лепили, старались, готовились...

И впервые за много дней Виталий Петрович покинул свой участок. Он шел по улице Рябиновой и настойчиво спрашивал у попадавшихся навстречу немногочисленных дачников, не знают ли они, кто и зачем притащил к нему новую скульптуру, такую, понимаете, обезьяну с мотыльковыми глазами, – может, подростки

балуются? Дачники смотрели на Виталия Петровича с удивлением. Потом попалась сердобольная старушка, выслушала его внимательно, покивала и развела руками:

– Ну а чего вы хотите.

Наконец Виталий Петрович встретил небольшую компанию молодежи и вспомнил вдруг, что один из этой компании, длиннорукий парень, вечно поддатый, не так давно ломился в его калитку и путано просил разрешения зайти, зачем-то ему надо было попасть в лес, причем именно с участка Виталия Петровича, будто других ходов нет.

Виталий Петрович кинулся к нему, сердито схватил за футболку:

– Вы урода поставили?

Компания загалдела, а парень – это был Никита Павлов – заметно испугался. Слушать молодых Виталий Петрович не стал. Сжимая в кулаке кусок туго натянувшейся футболки, он поволок потенциального хулигана за собой, на место преступления. Виталий Петрович дышал с присвистом, хромал на правую ногу, да и Никите он еле до плеча доставал, но тот не сопротивлялся, покорно шел за ним. Только расспрашивал с испуганным видом – что за урод, где, о чем вообще речь...

В малиннике молодежь долго разглядывала сутулое чудище, трогала деревянный лик и удивлялась. Все, конечно, клялись, что это не они, они и лепить не умеют, и из дерева никогда не вырезали, только на уроках труда делали, как положено, табуреты. Да и зачем бы им было лезть сюда, и в голову бы такое никогда не пришло, они только смотрят иногда, ведь у Виталия Петровича в саду такие скульптуры замечательные, они их с детства помнят, когда еще только пионеры тут были.

Виталий Петрович посматривал на их неловкие, чистенькие, только ко всем этим телефонам привыкшие руки и думал, постепенно успокаиваясь, что правду, пожалуй, говорят, действительно не они.

– Давайте мы его выкинем, – предложил наконец Никита. – И правда урод, зачем он тут будет?

Виталий Петрович хотел было сказать, что да, конечно, а потом заглянул в мотыльковые глаза, перевел взгляд на холодный профиль пионера, стоявшего за малинником, и задумался. Ведь и он ставил рядом с этой классической красотой свои глупые поделки. А урод был,

в общем-то, вылеплен со старанием, с фантазией, даже с талантом, хоть и шел этот талант явно по неверной, извращенной дорожке, творя вместо прекрасного и облагораживающего черт знает что. Дегенеративное искусство, так это называли где-то и уничтожали – наверное, справедливо. Фашисты так делали, вспомнил Виталий Петрович, ужаснулся и торопливо сказал:

– Не надо выкидывать, пусть стоит. Все-таки тоже... скульптура.

И урод остался жить у Виталия Петровича в малиннике. Он ничем не мешал, его и видно-то из-за кустов не было, и взгляд его глазмотыльков Виталий Петрович быстро перестал чувствовать. Только новая скульптура из уже отшлифованной, красивой, похожей на застывшую в дереве пенную волну коряги никак теперь не давалась. Виталий Петрович даже придумать не мог, что из нее сделать. Только приходила в голову какая-нибудь идея – и вспоминался зарастающий малиной урод, и становилось не по себе, а идея казалась нелепой.

Проползли другие дни белесого среднеполосного лета, и вот однажды после долгих дождей случилось ясное, обещающее безоблачную жару утро. Под густой росой зелень травы еще была матовой, как запотевшая бутылка, и тени казались еще слишком холодными и темными, но растопленное масло солнца постепенно заливало Вьюрки.

Виталий Петрович выкатился на крыльцо, осмотрел свои владения и вдруг вскрикнул от испуга и ярости, затопал ногами, задышал тяжело и часто. Прямо перед дачей, на дорожке, которую он мостил лично подобранными булыжниками, стоял новый урод.

Он отличался от прижившегося в малиннике, был выше и коренастее, с вытянутой мордой. Но стиль, материал – все было то же. Непромытая глина вперемешку с травой и веточками, клювовидная, как у чумного доктора, маска из выдолбленного куска коряги – той самой, окатило вдруг душным ужасом Виталия Петровича, – той самой, из которой у него никак не получалось сделать новую скульптуру. Он решил оставить ее, пусть пока отлежится, и несколько дней даже не заходил в сарай, где хранились его материалы, – значит, залезли, украли, распилили и сделали из нее эту чудовищную крокодилью... харю.

Харя тарасилась на него двумя приколоченными к дереву ночными бабочками. Небольшие, нежно-узенькие, они придавали ей

кокетливое выражение, лукавый прищур. То ли от этого, то ли от возмущения, злости, суеверного страха и вообще всей гаммы разрывавших его безволосую грудь чувств, Виталий Петрович совершенно озверел. Он схватил палку и ударил урода. Тот оказался некрепким – туловище разломилось напополам и рухнуло, отлетела морда из обезображенной коряги, Виталия Петровича обдало глиняной пылью. Он победоносно оглядел поверженного врага и вдруг попятился. Внутри были кости.

Мысль о том, что урод был живым, что он только что кого-то убил, вонзилась в мозг Виталия Петровича и тут же была отвергнута как слишком безумная. Приглядевшись, Виталий Петрович понял, что кости принадлежат курице, причем предварительно приготовленной и до этих самых костей обглоданной. С отвращением покопавшись в обломках, он обнаружил и другие кости, а также палки и одну велосипедную спицу. Это был внутренний каркас урода, который явно неопытный скульптор собирал из чего придется.

Голова лежала отдельным темным комком. Виталий Петрович осторожно толкнул ее ногой, она перекатилась и оскалилась на него кошачьим черепом.

Виталий Петрович вывез за калитку в тачке и сбросил в канаву все, до последнего кусочка. Второго урода он тоже казнил, и внутри у него обнаружилась та же дрянь – куриные обглодки, палки, а череп заменяла здоровенная мозговая кость. Виталий Петрович даже задумался, а не колдовство ли это, не изводит ли его кто-то особенно хитроумным и мерзким способом. Смутно припомнилось что-то о порче, закрутках, четверговой соли – знать бы еще, что это, – но не о глиняных скульптурах, неизвестно откуда появляющихся с издевательским упорством.

Избавившись от уродов, Виталий Петрович осмотрел участок и обнаружил полосы и капли глиняной грязи на траве. Вели они к калитке, а оттуда – дальше по Рябиновой улице. Внимательно их высматривая, чуть ли не нос уткнув в неровный дачный асфальт, Виталий Петрович добрел до речки. Конечно, отсюда и брали глину, со скользкого берега. Все улики были налицо – и ямы, и следы, тут явно кто-то долго топтался, и непохоже, чтобы он был один. Целая шайка.

Копали, сволочи, таскали глину, старались. Жаль, собаки нет, по следу пустить...

– Вы чего? – крикнули с насыпи.

Виталий Петрович поднял голову и увидел загорелого мальчишку в синих шортах.

– Вы чего? – снова заорал тот. – Тут же нельзя! Вы уходите лучше!

– Нельзя, значит?! – прорычал Виталий Петрович и, поскальзываясь, ринулся вверх по склону. Подросток, разглядев его багровое от гнева лицо, схватил свой велосипед, лежавший на земле, и с позвякиванием умчался.

– Гады! – чуть не заплакал, выбравшись наконец на дорогу, Виталий Петрович. Он бессильно поднимал и опускал побелевшие кулаки. – Гады, гады, гады!

В тот же день, а точнее, той же ночью Виталий Петрович установил на участке дежурство. Уроды появлялись по ночам – значит, и ловить хулиганов надо было в темноте. Либо он их поймает с поличным и покажет кузькину мать, либо, что даже лучше, они вообще не рискнут соваться на тщательно охраняемый участок. Отныне каждую ночь Виталий Петрович сидел на крыльце или обходил территорию с фонариком, тщательно высвечивая и обследуя каждый уголок, из которого доносился подозрительный шорох.

Сначала было тихо. Скромный заросший участок превращался в темноте в огромное пространство, наполненное шелестом и шепотом. Но все это были мирные, понятные звуки, сонное бормотание природы. Задремывал и сам Виталий Петрович, сидя у дачи с заготовленной палкой. Хоть он предусмотрительно и отсыпался днем, ночь убаюкивала, склеивала глаза. Пискнет протяжно мягкая ночная птица, стукнется в стекло бабочка – и снова дремота, покой, тишина.

И во время одного из таких дежурств задремавшего в прохладном свете луны Виталия Петровича вдруг разбудил громкий, отчетливый треск. Звук доносился из недр орешника, где стоял любимец Виталия Петровича, горнист, давно лишившийся горна. И производил этот звук точно не продирающийся сквозь кусты еж, это было что-то большое, внушительное.

Виталий Петрович, обуянный охотничьим азартом, ринулся на шум, полоса света запрыгала по темным веткам. И тут же новый треск раздался с другого края участка. Грозно вопя, чтобы не смели, что он им задаст, Виталий Петрович метнулся туда и снова рассек палкой пустоту. А трещало уже совсем в другом месте, за малинником, и со стороны дома доносился хорошо различимый шум, и лязгнула щеколда в калитке, и Виталию Петровичу показалось вдруг, что он окружен, что в темноте вокруг него – целый легион неведомых врагов.

Отважно кидаясь на каждый новый шорох, Виталий Петрович вновь очутился в зарослях орешника, и что-то внезапно ударило его в спину. С криком обернувшись, он понял, что ударился сам о бетонный блок, который заменял горнисту постамент. Виталий Петрович поднял фонарь и снова вскрикнул, ошалело шаря лучом в темноте.

Горниста на постаменте не было. Неизвестные враги, похоже, сменили тактику – вместо того, чтобы ставить свои издевательские скульптуры, начали красть чужие.

– Гады... – застонал Виталий Петрович.

Уже совсем близко трещали кусты, шуршала трава, сминаемая неторопливыми, уверенными шагами. Кольцо смыкалось вокруг Виталия Петровича, и вот наконец трясущийся луч выхватил из темноты лицо. Спокойное, белое лицо гипсового пионера, строгого советского ангела. Вмятины зрачков смотрели требовательно и печально, прозревая досадные несовершенства мира. Виталий Петрович шарахнулся в сторону – и попал в твердые холодные руки. Фонарь упал в траву и превратился в тускло-зеленое пятно. Но и света луны было вполне достаточно, чтобы все видеть, – ведь действовали пионеры открыто, честно, никто не прятался по кустам. Они обступили бьющегося Виталия Петровича, заткнули ему пучком травы рот, ловко ухватили за руки и за ноги и понесли. Все были здесь, и все помогали друг другу, даже те, у кого не хватало конечностей.

Сначала Виталий Петрович выл и вырывался, ушибаясь о бледные тела своих любимцев, умоляюще заглядывая в их прекрасные лики, пытаясь перехватить отрешенные взгляды. А потом, почувствовав, как начала облеплять его тело холодная глина, все понял и затих. Юные скульпторы нашли наконец подходящий материал и прилежно его осваивали.

Твердые пальцы тщательно, не торопясь, облекали его во влажную гипсовую броню, лепили, создавали заново. Виталий Петрович медленно и мучительно превращался в художественное произведение – и никто, даже он сам, не смог бы это оспорить, каким бы ни оказался конечный результат, потому что в основе этого произведения лежала реальная жизнь и подлинная боль. Он стал священной жертвой на алтаре искусства, о чем прежде и помыслить не мог. В затухающих мыслях Виталия Петровича его незначительная жизнь вдруг обрела безупречный, как линии античных статуй, смысл. Только быстрее бы все это уже закончилось, потому что слишком сильны были телесный ужас и отчаяние, паника душила, мешала проникнуться необычайностью происходящего, а ведь такое даже избранным дается только раз, последний раз.

И Виталий Петрович умиротворенно дрогнул губами под слоем глины, ощутив на веках шелковое прикосновение крыльев мотылька.

Зовущие с реки

Когда Ромочка в первый раз увидел того, кто бродил в лесу за забором, погружаясь бесследно в землю и снова выныривая из нее, он сразу рассказал маме, но мама не стала слушать. Мама Ромочку никогда не слушала, как будто речь его была чем-то вроде воздушного или птичьего шума. Он не обижался, так уж была устроена мама. С ней всегда было тепло и вкусно, а на ночь она обязательно подтыкала ему одеяло, чтобы Ромочка безмятежно спал в мягком коконе. Он очень боялся того, кто сидел по ночам под кроватью и хватал почему-то за свесившуюся во сне ногу или руку. Целиком его Ромочка никогда не видел, только вот эти лапы, которыми он хватал, – серые, голые, многочисленные. Один раз, когда приезжала тетя с двоюродным братиком, они все вместе ходили в специальное морское место, где было много аквариумов с разными водяными зверями. Там Ромочка очень испугался зверя креветки – потому что если его вынуть из воды и увеличить во много-много раз, то лапы получатся точь-в-точь как у того, кто сидел под кроватью. Даже слова были похожие – «кровать» и «креветка», и Ромочка пытался сказать маме про огромную подкроватную креветку, но мама не слушала. Зато всегда подтыкала одеяло, чтобы Ромочке было не так страшно. Даже на даче подтыкала, хотя это было необязательно – многолапый зверь оставался в городе, он, наверное, мог жить только там.

В летнем дачном мире раньше было хорошо, только ребята на улице иногда обзывали Ромочку и кидались в него гадостью, но это потому, что они глупые. А он не за ними совсем за калитку ходил, а за лесом, за рекой, стрекозами и блестящими жуками, которые быстро-быстро зарывались в землю. Раньше тут было очень хорошо, и все Ромочке нравилось, пока он не проснулся однажды в совсем другом мире, совсем непонятном. Откуда-то пришли и поселились во Вьюрках странные существа с изменчивым обликом, которых Ромочка толком даже описать не мог, поэтому называл уклончивой скороговоркой – всякие-странные. Первого он увидел на рассвете того дня, когда мир изменился: стояло в лесу за калиткой что-то темное, высокое и покачивалось туда-сюда. Деревья в одну сторону качались, а оно – в

другую, и смотрело на Ромочку, только не глазами, потому что глаз у него никаких не было.

И все дачные люди тоже заметили, что мир изменился. Они бродили по Вьюркам испуганными стайками, шумели, пытаясь эти перемены как-то для себя объяснить. Только вот всяких-странных они как будто не замечали, смотрели мимо и даже проходили сквозь них как ни в чем не бывало. Но это потому, что всякие-странные прятались: таились в темных углах, прикидывались тенями и бликами. Даже Ромочка видел сначала не всех, он учился их распознавать, как охотник в лесу, искал следы и прислушивался к звукам. Он и хотел бы на них охотиться с большим ружьем и развешивать потом по стенам их опустевшие шкуры, потому что чужие они были, эти всякие-странные, жуткие, непонятные, и от одного их вида холодело под ребрами. Лучше бы их не было, думал Ромочка, лучше бы все оставалось, как раньше.

Пожилая женщина, которую соседи продолжали, невзирая на возраст, называть Таней, жила в ветхой синей дачке на углу Вишневой улицы, перед самой рекой. Таня ни с кем не дружила и не общалась без необходимости, все свое время уделяя дачному хозяйству и сыну Ромочке, который и стал причиной ее угрюмой замкнутости. Таня была не из тех матерей нестандартных детей, которые сбиваются в стаи, начинают отстаивать права и трудноопределимую избранность, но и дежурной жалости от более везучих она тоже не желала. Вот и существовала обособленно, отгородившись от тех и от этих и целиком посвятив себя заботам о сыне – тем более что больше заботиться не о ком, только Ромочка в Таниной жизни и был. Крупный, долговязый, приближающийся по общепринятым меркам к совершеннолетию, но застрявший по неизвестным вьюрковцам причинам в малоосмысленном детстве. Ромочка ездил по поселку на велосипеде, посматривая из-под густых мужских бровей безоблачными глазами, купался в Сушке, с ревом прыгая с мостков и тут же возвращаясь на мелководье, поскольку не умел плавать, бродил в лесу, держась по маминому указанию поближе к забору и иногда пугая грибников внезапными безмолвными появлениями из кустов.

Таня первой начала паниковать на общих собраниях после того, как Вьюрки загадочным образом замкнулись сами в себе.

Возмущалась, кричала, что нужно что-то делать, как-то решать эту необъяснимую проблему, потому что ей нужно в город, у нее недостаточно лекарств для больного ребенка. Прежде никто и не знал, что Ромочка ежедневно поглощает целую пригоршню таблеток. Таню успокаивали, объясняли, что ушедшие на поиски выхода дачники теряются в лесу и не возвращаются с поля, поэтому лучше потерпеть и выждать, авось разрешится как-то само собой, переменится, перемелется. Тогда во Вьюрках еще очень остро верили в то, что снаружи придет помощь – ведь, в конце концов, не могли о них там просто забыть, оставить без внимания непостижимую пропажу такого количества людей. Но даже веские заверения Клавдии Ильиничны вскоре перестали действовать на Таню. Председательша уже начала волноваться, советовалась с супругом, как успокоить, наконец, эту угрюмую женщину со встрепанными седыми волосами, чтобы она прекратила скандалить и будоражить остальных дачников, и без того напуганных. Но все разрешилось без лишних усилий со стороны Клавдии Ильиничны: после очередного скандала Таня сама перестала ходить на собрания.

Ромочка видел, что мама чем-то расстроена. И пытался ей объяснить, что не надо так бояться нового мира и всяких-разных, которые незаметно бродят вокруг. Он ведь и сам сначала каждую тень подозревал в недобром и не спал по ночам от страха, а потом присмотрелся и понял, что всякие-разные тоже боятся. У них и вид был растерянный, совсем как у обычных, живых дачников. Словно для них перемены оказались таким же внезапным потрясением, и они, свалившись неведомо откуда, теперь привыкали и обживались. На беженцев они были похожи, на робких переселенцев с узелками из старого кино – поняв это, Ромочка впервые пожалел всяких-разных. Только некоторые из них обращали внимание на людей, рассматривали их и трогали – например, тот, из леса, которого Ромочка заметил в самом начале. Вот его точно можно было уже начинать бояться: он следил за дачниками, бесшумно вздымаясь земляным столбом у самой ограды, старался к ним прикоснуться и вообще казался недобрым. А за остальными даже интересно было наблюдать, дивясь их причудливости: не люди и не звери, они только напоминали изменчивыми очертаниями кто медведя, кто корягу, кто тетеньку.

Ромочка спрашивал у взрослых, кто же это пришел во Вьюрки и как их нужно называть, но взрослые смотрели на него с таким же непониманием, как и сами всякие-разные, когда он пытался спрашивать у них. Только непонятно было, чем же они все-таки смотрят, но взгляд Ромочка чувствовал.

Мама расстраивалась все больше, стала сердитая, и Ромочкины любимые картофельные оладьи теперь у нее каждый раз подгорали. Ромочка осторожно выплевывал черные корки и складывал их на клеенке, в сердцевине большого нарисованного цветка. А мама ругалась, что Ромочка разводит на столе свинарник, и даже несколько раз стеганула его кухонным полотенцем. И перестала подтыкать ему одеяло на ночь – прежде такого никогда не случалось, и Ромочка почуял приближение катастрофы. Мама тоже становилась чужой и странной, совсем как новые обитатели Вьюрков.

А потом она разбудила Ромочку рано утром, когда даже лягушки на реке еще молчали. Мама стояла у кровати в полосатой кофте, с волосами, аккуратно прибранными под платок, – обычно она одевалась так, когда ехала в город. Ромочка сказал ей, что сейчас в город нельзя, ведь дороги больше нет, и в лесу стережет тот, высоченный, а в поле – другой, его почти не видно, потому что он стелется по земле, и это он растягивает поле, никому не давая уйти. Мама заплакала и велела Ромочке хорошо себя вести, хорошо кушать – она оставила ему полную миску оладий на кухне, – и слушаться тетю Лиду, которая будет за ним присматривать до ее возвращения. Ромочка тоже с готовностью сморщился, замычал басовито и расплакался. Мама рывком поправила сумку на плече и захлопнула за собой дверь.

Ромочка бежал за ней по поселку в одних трусах со смешными нарисованными морковками, ревел и просил вернуться. Мама упорно отворачивалась, он видел только ее ссутуленную спину. А потом мама вдруг схватила с земли палку и двинулась на Ромочку, неуклюже ею размахивая:

– Уйди! У-уйди!.. Куда ты без лекарств своих? А если приступ? У-уйди!

И такими страшными были и мамин голос, и ее красное лицо со вздувшимися венами, что Ромочка испугался и послушался, побежал обратно к калитке. Даже не успев сказать, что таблетки он уже много дней не пьет, высыпает под матрас, чтобы мама не волновалась, когда

они закончатся, – вон их у него сколько припасено. И ему хорошо, гораздо лучше, чем обычно, и приступов никаких, и он теперь стал, наверное, совсем здоровый...

Жившая напротив тетя Лида, похожая на sereneкую монашку, действительно иногда приходила, кормила и умывала Ромочку, разговаривала с ним. Но Ромочка чувствовал, что этой своей обязанностью, невзирая на все показательное смирение, она тяготится, и сам он ей неприятен. Она старалась уйти побыстрее, и Ромочка так и не понял, что же в нем такого гадкого – он и в зеркало смотрелся, и нюхал себя, и даже старательно высмаркивался заранее, увидев за забором тети-Лидину косынку. А больше не приходил никто. Как будто во Вьюрках и не заметили, что мама пропала, а Ромочка остался один и скучает до саднящей боли в груди.

Мама не возвращалась, а в даче все до сих пор ею пахло. Чтобы не задохнуться совсем от тоски, Ромочка старался проводить там как можно меньше времени. Он бродил по улицам, собирал малину вдоль общего забора, за которым начинался лес, ловил на реке стрекоз. Взрослые сказали ему, что купаться там больше нельзя, и Ромочка безропотно согласился с запретом. На пологом берегу, где раньше устраивали летом поселковый пляж, теперь и впрямь не купались, не орали мальчишки, прыгая с мостков, не бродили бабушки с внуками в одинаковых панамках. На реку вообще никто больше не ходил, кроме тихой рыбачки Кати, которая по-прежнему закидывала там свои удочки и сидела неподвижно в ожидании первой дрожи поплавка.

Рассказывали, будто на реке завелись страшные твари, которые топят людей. Но Ромочка видел тех, кто здесь теперь жил – не такие уж они были и страшные, скорее, робкие и пугливые. Они прятались в воде, под корягами, только смутные тени иногда мелькали да слышались всплески. Ромочка все надеялся их выследить и рассмотреть хорошенько, а может, даже поймать одним сачком, но они исчезали при малейшем шорохе, точно мальки на мелководье.

А другие существа тем временем обживались во Вьюрках, смелели, становились все заметнее, уплотняли свои очертания и даже меняли их на более понятные. В их подвижной бесформенной плоти, неизвестно из чего состоящей, проступали лица и глаза, они словно обтесывали сами себя по людскому подобию. Так меняет цвет

осьминог, оказавшись на подкрашенном песке. Вспомнив передачу, в которой кидали в разноцветные аквариумы маленького уродливого осьминога, Ромочка тем же вечером увидел, как ползает в малиннике что-то по-осьминожьи многоногое, с круглым ртом в центре похожей на пульсирующий мешок головы, и очень испугался. Он решил, что раз они залезли в его мысли и там ищут подходящие образы, то теперь он будет представлять себе что-нибудь приятное – птичек, котов, красивых девушек.

А потом Ромочка снова увидел маму. Он бродил, как обычно, вдоль общего забора и вдруг заметил с той стороны, под елью, знакомую фигуру в полосатой кофте. Ромочкино сердце горячо и жадно трепыхнулось, он даже не разглядел маму, а угадал по одним только очертаниям, выученным наизусть, и сразу бросился к забору. Но замер, так и не сделав последние несколько шагов.

Это была не мама. Это была страшная неживая штука, грубо и неточно повторяющая мамин облик. Она стояла неподвижно, уставившись на Ромочку, и в ее остановившихся глазах зияла пустота. Сначала они научились сами ходить на людей, а теперь учатся их подделывать, с ужасом понял Ромочка. Это тот, из леса, забрал маму и вместо нее подкинул к забору наспех сляпанную фальшивку. Мертвоглазую, полую внутри, как трухлявый пенёк. Ромочка сразу увидел, что там, за лицом, похожим на мамино, ничего нет, там белеют нежные ниточки плесени и жуки-древоточцы прокладывают свои ходы.

Поддельная мама подняла руку и слепо зашарила ею перед собой.
– Уйди! – заревел Ромочка. – Сгинь!

Поддельная мама улыбнулась вдруг широким оскалом и попятилась обратно в глубину леса так быстро, словно у нее были глаза на затылке. Ромочке намертво врезалось в память, как жуткая копия убегала спиной вперед, обратив к нему распяленное в улыбке лицо и странно выгибая ноги. Но он не помнил, как добрался до дачи. Там он долго ревел на маминой кровати, взбивая подушки тяжелыми взрослыми кулаками.

После этого Ромочка долго не выходил из дома. Он запер дверь и не открывал даже тете Лиде. Питался сухими овсяными хлопьями и консервами из шкафа, ходил на свой детский горшок, который изредка

выплескивал за окно. Если бы мама была здесь, она бы заволновалась, конечно, но удивляться не стала: Ромочка и раньше так реагировал на тяжелые внешние впечатления. Закрывался у себя в комнате и сидел, угрюмо ожидая, когда неправильная реальность исчезнет и можно будет выйти в новую, хорошую.

По ночам Ромочке очень мешал всякий-разный, который давно уже поселился в опустевшей маминой комнате – совсем маленький, телом напоминающий человечка, а лицом – сову. Он громко цокал по полу коготками, все двигал, гремел посудой, сдергивал зачем-то занавески на пол. Ромочка гонял его топотом и криками, а утром просыпался с крепчайшими колтунами в волосах – так человек мстил.

Прошла неделя или больше, прежде чем Ромочка повернул наконец ключ в двери. Он вышел, вдохнул сладковатый вечерний воздух, особенно вкусный после дачного смрада. И пошел мыться на реку. О том, что купаться там теперь запрещено, Ромочка забыл – да и неважно это было, ведь прошло достаточно времени для того, чтобы мир изменился еще раз и наконец исправился.

Он сложил одежду горкой на берегу, зашел в воду и начал неуклюже плескаться. И тут кто-то отчетливо позвал его:

– Ромочка.

Голос звучал не снаружи, а как будто внутри его головы. Он был чистым и радостным, как у мамы, когда она возвращалась домой после удачного похода по магазинам, отхватив и курицу по скидке, и пакетик конфет, и пачку отличных мужских носков.

– Ромочка, а что я тебе принесла.

Они опять подглядывали ему в голову. Но голос, который повторял мамины слова, был таким теплым, таким ласковым, что в груди опять жадно трепыхнулось. И кто-то плеснулся в ответ в буроватой воде.

– Погляди, Ромочка...

– Ты что, а ну вылезай! – гаркнули с насыпи над берегом.

Незнакомый Ромочке человек в очках скатился оттуда и запрыгал у кромки воды, не решаясь соваться дальше.

– Вылезай! Нельзя в реку! Тут люди пропадают!

– Их, наверное, зовут, – подумав, объяснил Ромочка.

Человек растерялся:

– Кто зовет?

– Не знаю. С реки зовут.

Так Ромочка случайно подарил Вьюркам присказку про «тех, кто зовет с реки». Но сам он об этом так и не узнал. Он послушно вышел из воды, взял свои вещи под мышку и поднялся на насыпь вслед за тревожно озирающимся дяденькой в очках. Это был бывший фельдшер Гена с Цветочной улицы, но познакомиться с ним Ромочка тоже не догадался.

С тех пор он стал при любой возможности убегать на берег Сушки, чтобы посмотреть на зовущих с реки. Ромочка прятался повыше, за кустами, чтобы не спугнуть их и самому не полезть, забывшись, в воду. Их ласковый зов оказался чем-то вроде бездумной птичьей песни, которую они повторяли на разные лады, листая образы и воспоминания в Ромочкиной голове. Наверное, они проделывали это с каждым, кто приходил на реку.

Потом им наскучили немногочисленные мысли Ромочки, и робеть они тоже перестали. Подплывали к самому берегу, возились в зарослях кубышек, с боем выдергивали резиновые стебли и мастерили гирлянды из желтых пузатых цветов. А Ромочка смотрел во все глаза и удивлялся, каким же глупым он был раньше. Ведь они казались ему неопишущего вида тварями, чем-то вроде живых коряг или циклопических водомеров с ловкими мерзкими лапами. А теперь, следя за их играми, он ясно видел, что это девочки, чудесные нежные девочки в липнувших к телу белых одеждах. Они гонялись друг за другом, вспенивая воду, выбирались погреться на стволы поваленных бобрами деревьев и мгновенно исчезали при любом резком звуке, оставив одни только круги на речной глади. Они были такими красивыми, такими хрупкими, что Ромочкино сердце плавилось от немногого обожания. Ему все нестерпимей хотелось скатиться по заросшему травой берегу и нырнуть к ним. Но дяденька в очках строго-настрого запретил ему приближаться к воде, а Ромочка верил взрослым и читил их запреты почти как божественные табу. Уже то, что он все-таки приходил на реку снова и снова, граничило со святотатством, но навеки детское сознание Ромочки не могло совладать с оглушившей его любовью к чудесным девочкам.

Он чуть было не повернул назад, когда однажды утром, явившись на свое излюбленное место, увидел там рыбачку Катю. Вроде бы она здесь обычно не удила, место было мелководное, затянутое водорослями, – а вот пришла все-таки. Ромочка уже собрался отступить, пока она его не заметила, но тут увидел совсем рядом, под плакучей ивой, одну из белых девочек. Он постепенно научился отличать их друг от друга, и это была одна из его любимиц: тоненькая, с аккуратной гладкой головой, похожая на безделушку из маминой комнаты – фарфоровую балерину.

Ромочка и сам не понял, как оказался на своем обычном наблюдательном посту. Но не мог же он оставить фарфоровую балерину одну.

– Ромочка, – сказал у него в голове чистый радостный голос. – Пришел Ромочка.

Балерина не играла и не грелась на солнце. Прячась под нависшими ветками, она очень медленно, осторожно приближалась к Кате. Чем-то Катя ее заинтересовала – наверное, тем, что тетенька, а рыбу ловит. Ромочка тоже удивлялся, потому и запомнил, что тетю с удочками Катей зовут. Когда Ромочка был поменьше, она пару раз показывала ему, как насаживать червяка и коротким движением забрасывать поплавков не в кубышки и не на дерево, а ровно туда, куда хочешь. Ромочке нравилась Катя, нравились ее пушистая темная челка и рыжие веснушки возле носа. Только она всегда была какая-то грустная. Интересно, и сейчас грустная? Заинтригованный Ромочка пополз, пыхтя, вниз по насыпи, чтобы увидеть хоть краешек Катиного лица. И обнаружил, что рыбу она ловить и не думает. Удочки, садок – все лежало без дела в траве, а Катя сидела, напряженно выпрямившись, и смотрела ровнехонько туда, где тихо покачивалась над водой глянцева голова балерины. Катя ее заметила! Она тоже видела всяких-разных! Прижимаясь к земле и тщетно уворачиваясь от жгучих поцелуев крапивы, Ромочка сползал все ниже, к воде. И уже у самой кромки понял: Катя не просто наблюдает за девочкой, прячущейся под ивой, она с ней разговаривает. Так тихо, что нельзя было слышать ни слова, но Ромочкина любимица подплывала как замороженная все ближе, точно Катя звала ее...

И тут Ромочка вдруг провалился ногой в пустоту, потерял равновесие и шумно, с воплем сполз в воду. Катя вздрогнула и поспешно обернулась, а фарфоровая балерина скрылась в речных глубинах.

Спустя мгновение Катя уже поднимала вытащенного из воды Ромочку на ноги и шепотом негодовала:

– Ты зачем сюда пришел?!

– К девочкам... – смущенно пробасил Ромочка, размазывая ил по штанине.

Катя нахмурилась:

– К каким девочкам?

– Которые в реке... ну вы же сами видели... я тоже на них смотреть хожу.

Ромочка бубнил объяснения, даже несколько польщенный таким вниманием, а сам разглядывал Катино лицо. Нет, оно больше не было грустным, теперь в каждой его черточке сквозил глубокий, давно вынашиваемый страх. У мамы становилось такое лицо, когда она видела паука. Она всю жизнь их боялась, но не до обыкновенного визга, как все тетеньки, а тяжело, по-настоящему. Ромочка скорее почувствовал, чем понял головой: Катя тоже увидела своего паука.

– Девочки... – повторила Катя и быстро зашептала: – Нельзя сюда ходить. Они тебя заберут. Туда, в воду, заберут, и всё. Или подменят, отправят вместо тебя к нам лягушку здоровенную, а все будут думать, что это ты.

Ромочка представил себе, как лягушка важно гуляет по Вьюркам, а все с ней здороваются, и хихикнул.

– Я правду говорю, – Катя заглянула в Ромочкины безоблачные глаза, и ему стало вдруг не по себе от этого взгляда. – Чтоб духу твоего здесь не было. Ты где живешь? Ну-ка давай показывай.

Ромочка зря ей доверился: Катя оказалась злой ябедой. Нажаловалась тете Лиде, что Ромочка на реке околачивается, да еще приврала, что он там чуть не утонул. Тетя Лида охала, всплескивала руками, а потом, не зная, как еще наказать великовозрастного чужого ребенка – чтобы понял, а то без наказания не поймет ведь ничего, – заперла его на даче и строго-настрого запретила выходить. Сидеть взаперти не по собственной воле оказалось очень противно и обидно.

Ромочка побитым сенбернаром бродил по даче, плакал, даже обзывал в сердцах дурами и тетю Лиду, и Катю. У него отобрали чудесных девочек, теперь они будут играть без него, а что он такого сделал, почему такая несправедливость...

В унынии и заточении Ромочка провел два дня. Приходила тетя Лида, оставила банку супа и мерзкие рыбные котлеты – и снова заперла дверь. Она даже немного удивилась, что Ромочка не попытался убежать – через окно, например. А зачем и, главное, куда ему было убегать, если все равно нельзя на реку. Катя сказала, что будет его там караулить. И Ромочка представлял, как она караулит его под насыпью – с овчаркой Найдой на поводке, как пограничник. И тетя Лида, наверное, тоже станет караулить, вон какая сердитая ходит. Обе будут днем и ночью бродить по берегу с собаками, охраняя реку от Ромочки. Его тайная дружба с речными девочками раскрыта, опозорена, и остаток жизни он проведет здесь, в разлуке с ними.

Ночью Ромочка проснулся от шума. Человечек с совиным лицом возился на полке, где хранились книги и всякая дачная мелочь. За последнее время человечек оформился окончательно, превратился из малопонятной узловатой фигурки в ладного гномика серой масти.

На кресло-кровать под полкой упруго падали книги, коробочки, пузырьки. Ромочка ругался, хлопал в ладоши, но человечек не уходил. Пришлось встать и включить свет. Всякий-разный тут же свалился с полки и юркнул под шкаф. Он всегда пропадал бесследно, не давая рассмотреть себя на свету.

На кресле поверх всего сброшенного лежал странный желтый кирпичик. Ромочка взял его, повертел в руках и наконец понял – это маленький радиоприемник, по которому мама иногда слушала новости. Он щелкнул переключателем, из крохотного динамика послышалось шипение, то нарастающее, то убывающее, как шум ночного леса. Колесико легко крутилось туда-сюда, и шум менялся, но не превращался, как обычно, в музыку и голоса.

– Ро...

Он замер, торопливо прокрутил обратно и прижал приемник к уху.

– Ромочка, – сказал из динамика легкий ласковый голос. – А мы к тебе. Мы к тебе...

Они пришли следующим вечером. Ромочка мучительно ждал их, боясь отойти от окна даже на пару минут, и за весь день съел одно яблоко. И после заката, когда оранжевые всполохи еще горели в небе, сад вдруг наполнился шорохом и смехом, и чудесные девочки возникли из ниоткуда: расселись в траве, весело закачались на ветках. Они вертели в руках забытую в беседке посуду, перекидывались яблоками, теребили прислоненный к крыльцу велосипед – и вдруг брызнули врассыпную, испуганные внезапным звонком.

Ромочка застыл у окна в безмолвном восторге, ничем не выдавая своего присутствия. Но девочки сами быстро его обнаружили и подошли, начали стучать по стеклу долгими белыми пальцами. В сумерках казалось, что от них идет еле уловимый молочный свет. Ромочка очнулся, с трудом оторвал прилипшую к размякшей краске на раме щеколду и распахнул окно. Множество нежных и очень холодных рук потянулось к нему, и он словно перетек в них, оказавшись каким-то образом уже за стенами дачи, в центре белого хоровода. Девочки окружили его, и каждая норовила дотронуться, погладить, ласково пощекотать. От них пахло рекой, водорослями, чистой речной рыбой. И ледяное, прозрачное счастье медленно растекалось в Ромочкином сердце...

И вдруг откуда-то послышались шум и крики. Девочки опять брызнули врассыпную, как стайка мальков, и Ромочка увидел Катю. Растрепанная, со строгим побелевшим лицом, она шла по садовой дорожке, замахиваясь на девочек большим пучком какой-то зелени и иступленно повторяя:

– Хрен да полынь! Плюнь да покинь! Хрен да полынь!..

Выглядело это нелепо, и присказка была дурацкая, Ромочка даже пару раз, не удержавшись, хихикнул над нехорошим словом «хрен». Но бедным девочкам было не до смеха, они испуганно шарахались от Кати, от горького полынного веника, вскрикивали беспомощно, поптичьи, и растворялись в сумерках с тихим плачем. Ромочка пытался остановить их, умоляюще хватая за нежные руки и белые одежды, но они ускользали и таяли, таяли...

– Перестань! – взревел Ромочка и чуть не бросился на Катю с кулаками, но остановился, не добежав до нее. Наверное, потому, что на тетенок ведь с кулаками нельзя. И еще потому, что внезапно увидел,

как просвечивает у Кати внутри что-то непонятное и постороннее, близкое этим, всяким-разным, – только сама она этого, похоже, не чувствует, не знает пока о том, что стала другой. Ромочка не знал, как описать то, что он видел, да и не думал об этом, а если бы его спросили – совсем растерялся бы, не в силах объяснить, что Катя вспыхнула изнутри, и она не светится нежно, как речные девочки, а горит по-настоящему, и от нее идут прозрачным маревом волны жара. Бледный пламень проступал сквозь ее телесные очертания, тлел в глазах, и Ромочка инстинктивно почувал, что это не только красиво, но и опасно, и трогать Катю сейчас нельзя – обожжешься.

Чудесные девочки пропали, и стало тихо. Катя с трудом перевела дух и погасла, а потом зачем-то шлепнула Ромочку горьким веником по голове и плечам, словно жалуя в полынные рыцари.

– Что ж ты за дурак такой, – севшим голосом сказала она. – Они же тебя заберут. В реку к себе заберут – и все, не вернешься...

Тут замороженный белым огнем Ромочка очнулся и понял наконец, какую беду она сотворила.

– А я хочу-у! Хочу, чтоб не вернуться!

Он ревел долго, изливая накопившуюся тоску, сбивчиво объяснял Кате, что девочки добрые, и он хочет к ним, лишь бы позвали. Мама ушла, он один, ему так грустно и холодно – не снаружи, внутри холодно, внутри, потому что все про него забыли. Ромочка никому не нужен, он больной, уродливый, и всем в тягость, даже маме он был в тягость, потому она и ушла от него в лес. А девочки ласковые и добрые, и они даже говорили, что он им нравится, а он ни разу в жизни никому не нравился. Он любит их и ушел бы, с радостью ушел бы с ними в реку, если бы их не прогнала злая Катя. Теперь они уже не придут, они очень пугливые, с ними нежно надо, а не веником. Девочки обещали сделать Ромочку таким же, как они, легким и красивым, обещали, что он будет жить с ними, качаться на волнах, играть с рыбами и плести гирлянды из кубышек, а теперь все пропало...

Катя отвела его в беседку, усадила на лавку. Ромочка охрип и опух от слез, и глаза очень сильно щипало, а Катя хмурилась и обрывала с полынного веника листья.

– Можно на ручки? – попросился Ромочка. Он уже устал плакать, но никак не мог успокоиться.

– А?

– На ручки, – угрюмо повторил Ромочка и, забравшись на лавку с ногами, осторожно уместил, как смог, свое большое тело в Катиных объятиях, уложил лохматую голову ей на колени. Так мама обычно его утешала, баюкала, как будто Ромочка и снаружи оставался маленьким мальчиком.

Растерянная Катя сначала крикнула от тяжести, а потом, поняв, что никуда Ромочка уходить не собирается, устроилась поудобнее – насколько это было возможно – высвободила зажатую руку и опасливо погладила его по голове.

– Они русалки, да? – с закрытыми глазами спросил Ромочка.

Катя помолчала, вспоминая темные, жуткие фигуры с чуткими многосуставчатыми лапами.

– Может быть...

– А почему ты их боишься?

– Потому что они страшные, Ромочка.

– Ты тоже, а я тебя не боюсь.

Катя улыбнулась, и Ромочке стало спокойней.

– Ты меня покачай, как мама, – попросил он.

Катя неуклюже качнулась вместе с ним из стороны в сторону и виновато вздохнула:

– Я не умею.

– Почему? Все мамы умеют.

– У меня детей нет, Ромочка.

Ромочка задумался на минуту, не зная, говорить ей или нет, и все-таки сказал:

– Это потому, что она тебе не разрешает...

– Кто?

Он почувствовал, как наливаются жаром впившиеся ему в плечо Катини пальцы. И неожиданная, почти хитрая мысль сверкнула вдруг в легкой Ромочкиной голове.

– Отпусти меня к девочкам, тогда скажу! – выпалил он и зажмурился от ужаса перед собственной отчаянной наглостью.

Катя встряхнула его – грубо, совсем не как мама – и низким чужим голосом повторила:

– Кто?

– Отпусти к девочкам...

Катя прикусила губу, посмотрела на него серьезно-серьезно, как на взрослого, и кивнула:

– Ладно.

– Тетенька из огня. Высокая-высокая, и горит, как ты.

– Я горю?.. – удивилась Катя и потрогала зачем-то свой лоб.

– Не там, тут, – Ромочка постучал себя пальцем по груди. – Я видел.

Помолчав, Катя тихо спросила:

– А тетенька тебе что-нибудь говорила?

– Нет, – он широко зевнул. – Она только смотрит.

– И сейчас смотрит?

– Угу, – Ромочка неопределенно махнул рукой вверх. – Вон же она... А ты меня правда отпустишь?

– Рома...

– Ты обещала.

– Обещала.

– Ну вот, – Ромочка счастливо улыбнулся, хлюпнул в последний раз носом и мгновенно заснул.

И до самого рассвета Катя сидела в беседке, держа на онемевших руках этого неожиданного младенца. Ромочка всхрапывал и бормотал во сне, а Катя как будто застыла, уставившись неподвижно в серую мглу.

Рано утром Катя разбудила Ромочку, велела сполоснуться из рукомойника, чтобы избавиться от полынного духа, и одеться во все чистое. Ромочка сразу понял, куда они собираются, и благодарно затих, боясь спугнуть свою великую удачу. Радостное предвкушение распирало его изнутри, и он со всей искренностью счастливого человека жалел Катю, которая опять была грустная.

Они тихонько прошли по безлюдному, еще не проснувшемуся поселку и спустились к реке. Река тоже спала, только водомерки скользили по буроватой глади.

Катя бросила камешек, разбила речное зеркало, и на стволах прибрежных ив замерцали блики от разбегающихся кругов.

– Принимайте гостей.

У мостков что-то шумно плеснулось в ответ, и Ромочка расплылся в улыбке, увидев знакомую глянцевою голову с тонкой нитью пробора.

Катя тоже ее заметила, и по ее мгновенно закаменевшему лицу сразу стало понятно, что она не любит речных девочек, не верит им. Да что там – она их, кажется, ненавидит. Испугавшись, что она, чего доброго, передумает, Ромочка торопливо сбросил сандалии и хотел уже войти в воду, но Катя схватила его за руку.

– Ты обещала, – мгновенно налился свинцовой обидой Ромочка. – Обещала!

Катя молчала и только крепче сжимала его запястье. Ромочка заревел. Он был на голову выше Кати, ему ничего не стоило просто оттолкнуть ее и уйти, но так было нельзя. Она взрослая, она главная, и она не могла, не могла ему соврать...

– Поддай знак, – выдавила наконец Катя. – Как будешь там, подай знак.

Ромочка не совсем понял, о чем она говорит, но закивал так яростно, что даже голова закружилась.

И Катя его отпустила.

Ромочка, блаженно улыбаясь, пошлепал по мелководью. Когда вода дошла до колен, идти стало труднее, он пыхтел и размахивал руками. А Катя, стоя у самой кромки, молча смотрела на него. Серьезно-серьезно, как на взрослого. Наконец он почувствовал, как ласковые холодные руки смыкаются вокруг его тела, мягко увлекая не то на дно, не то в какой-то свой обещанный мир.

И после того, как остались от Ромочки только круги на воде, Катя долго еще стояла на берегу и все ждала знака. Трещали стрекозы, рыба чешуя серебрилась под темной гладью, вспучилась над водой лягушачья голова и, поразмыслив о чем-то своем, квакнула.

А знака никакого не было.

Стуколка

Ленка Степанова, ошпаренная до багрового отека крапивой в дачной душевой кабинке, стала одной из первых жертв чуть не погубившего Вьюрки загадочного растительного буйства потому, что участок Степановых граничил с участком Зинаиды Ивановны. Хотя, конечно, никто и не догадывался, что причина именно в этом. А Зинаида Ивановна полагала, что с соседями ей очень все-таки повезло: с одной стороны Тамара Яковлевна, многолетняя приятельница, с другой – приличные, непьющие Степановы. Ну, возникали иногда споры соседские, даже ссорились изредка – так с кем не бывает.

Впечатление семья Степановых производила именно что приличное, и все они были очень какие-то правильные. Рослые, крепкие, светловолосые, как будто сошедшие с одной из многочисленных картин о безмятежной жизни советских колхозников или, что примерно одно и то же, древних мудрых славян. Разве что характерной для этих картин слащавой красотой их лица отмечены не были – обычные лица, открытые, крупные, может, слегка грубовато исполненные. Отец семейства по молодости даже угодил в какую-то неоязыческую секту, которая, вполне возможно, взяла его в оборот именно из-за неоспоримо славянской внешности. Из секты он быстро и успешно сбежал, но сохранил с тех времен широкую, пшеничную, с проседью уже бороду, которую жаль было сбривать. Пышная, миловидная жена его Ирина походила на благодушную купчиху. А белобрысая Ленка не обещала, конечно, вырасти русской красавицей, но никто от нее этого и не требовал.

Дача у Степановых тоже была крупная, светлая, правильная. Два этажа, окна с мелкими переплетами, бросавшими в солнечные дни ажурные тени на некрашенный пол. Ирина сама мастерила из тряпочек пестрые лохматые коврики, похожие на ценимые ею цветы бархатцы, и раскладывала их по дому. Она вообще любила все уютное, мягонькое, чтобы посидеть, подремать после обеда. Поэтому повсюду у нее были диванчики, креслица, а на них – россыпи подушек, тоже лично вышитых: сирень, ангелочки, котятки. А половину дачной мебели и

удобные лавочки во дворе сделал сам Степанов: руки у него были не только золотые, но и жадные до работы.

В общем, было на даче у Степановых так хорошо и уютно, что даже загадочная изоляция Вьюрков и необъяснимые происшествия, случавшиеся все чаще и чаще, не нарушили их спокойствия. По крайней мере, внешне так казалось. Даже когда обожженную крапивой Ленку пришлось поливать из шланга, весь участок буквально на глазах зарос дурманом и борщевиком, а потом эти ядовитые джунгли в одну ночь увяли, Степанов только плечами пожал:

– Природа.

И, надев брезентовые рукавицы, пошел расчищать свои владения.

Началось все солнечно-рыжим вечером, когда Ленка уже лежала в постели и читала книжку из дачной библиотеки. Такие библиотеки есть на любой даче, состоят они из еще в школе обглоданной классики и объемистых томов с никому и ничего не говорящими фамилиями на обложках. Предназначение у них двойное: почитать, если скучно, и на растопку.

Ленка вторую неделю читала роман про целую династию помещиков-самодуров и их тонко чувствующих крепостных. Обложка и первые двадцать страниц уже пошли на растопку, что добавляло интриги. Ленка, конечно, все равно позевывала, но что делать, если гулять уже надоело, Интернета больше нет, а игры на планшете, который она иногда заряжала втайне от экономящего зачем-то электричество папы, тоже надоели хуже горькой редьки.

Местами читать было все-таки интересно. Распутная хозяйка усадьбы в очередной раз приказала выпороть на конюшне верного своей Марфуше красавца-кузнеца, когда внезапно раздался громкий стук. Такой громкий, что Ленка аж подпрыгнула. Мама вышивала на террасе, и Ленка, разумно предположив, что та откроет дверь, хотела было вновь погрузиться в пучину крепостнических страстей, но тут стук повторился еще громче прежнего. Ленка крикнула маме, которая, наверное, уснула там за пяльцами, что надо открыть дверь, но спустя пару секунд Ирина сама заглянула к ней в комнату и спросила, чем это она тут занимается – гвозди, что ли, забивает?

– Это не... – отложив книгу, начала Ленка, а дальнейшие ее слова утонули в очередной порции стука.

Ленка с мамой вдвоем обошли весь дом и установили, что никого постороннего в нем нет и стучат вообще не в дверь – ни во входную, ни в какую-либо еще. И не в окно.

Стучало в маленькой боковой комнатке, где раньше иногда ночевали гости. Причем стучало... снизу, в пол. Ленка убедилась в этом, осторожно приложив к гладким половицам ладонь и незамедлительно ощутив, как они дрожат от настойчивого, даже какого-то ожесточенного стука изнутри.

Позвали Степанова, который уже который день был занят сооружением во дворе беседки. Выслушав обеспокоенных жену и дочь, он покачал головой: подумаешь, кошка в подпол забралась или норка, их на реке Сушке много водится. Ирина с Ленкой сначала устыдились своей бабьей мнительности, но потом принялись доказывать, что звери – они скребутся, возятся, но никак не стучат, словно кулаком.

Степанов, стряхнув с одежды древесную стружку, пошел в боковую комнатку, постоял там, уперев руки в бока. Было тихо, из-под пола больше не слышалось не то что стука, но даже привычного мышиного шебуршания. Подождав и бросив на семейство несколько выразительных взглядов, Степанов сам постучал пяткой по половицам. Но никто ему снизу не ответил.

– Все, выбралась ваша кошка, – хмыкнул Степанов и ушел обратно во двор.

Ночью, когда все давно уже спали, в пол застучало с такой силой, что Ленка с перепугу подняла визг. Разбуженный и страшно недовольный Степанов снова пошел в боковую комнатку, на этот раз со шваброй, и принялся колотить черенком по половицам. Обычно он так поступал в городе, когда соседи снизу засиживались шумной компанией допоздна. Там это помогало – и музыку выключали, и смех становился приглушенным.

Но сейчас реакция оказалась совершенно иной – в ответ раздался такой оглушительный стук, что пол задрожал, задребезжало оконное стекло, а с гостевого диванчика упала подушка. Наблюдавшие за процессом Ирина и Ленка испуганно отскочили от двери.

А вот отец семейства, похоже, не испугался. Грозно ворча, как потревоженный медведь, он принес ящик с инструментами, топор и наголовник с фонарем, вроде шахтерского. И на глазах изумленных домочадцев разобрал часть пола посреди комнаты.

Внизу было темно и неглубоко, пахло грибной прелью. Степанов нахлобучил на лоб фонарь, лег на пол и свесился в дыру, пытаясь разглядеть, что же происходит в подполе.

– Саш, не надо... – заволновалась жена.

И в то же мгновение Степанова будто сдернуло, затянуло вниз. Задрыгались принявшие ненадолго вертикальное положение ноги в пижамных штанах, отлетел в сторону шлепанец, и внизу глухо бубухнуло. Ирина с Ленкой замерли, вцепившись друг в друга.

Из подпола слышались грохот и яростный мат, потом Степанов, видимо, опомнился.

– Спокойно, нет тут никого, – глухо сказал он. – Я сам сверзился. Нос расквасил, ч-черт... Ир, не суйся, тоже свалишься.

Выбравшись из дыры, грязный и облепленный густой паутиной Степанов еще раз заверил жену и дочь, что в подполе никого, даже мышей нет – разбежались, наверное, после такого-то низвержения. Из распухшего носа у него сочилась кровь. Ирина убежала за ватой и перекисью.

– Точно никого? – шепотом спросила Ленка, поглядывая на отца с недоверием.

– Ну хочешь – сама глянь, – Степанов за руку потянул ее к краю ямы, но Ленка отчаянно упиралась, даже схватилась за дверь. – Не веришь? Пусто там, правда пусто, не трясись.

Они еще постояли, послушали. Больше под полом и впрямь не стучало. Отец, шмыгавший разбитым носом, выглядел жалким и родным. И Ленкину руку он давно отпустил. Ленка вздохнула с облегчением и наконец поверила, что никто его в подпол не утаскивал и ничего с ним там не делал. А тут и мама примчалась с аптечкой.

Утром Степанов вернул все половицы, кроме одной, на место. Вышел из комнаты, нарочно громко топая, а потом вернулся на цыпочках, подкрался к щели и стал слушать. Если бы крепко спавшие после ночного переполоха жена и дочь увидели его сейчас, то их, наверное, здорово озадачили бы подобные маневры. Степанов постоял и послушал еще немного, но зловредная стучолка, кем или чем бы она

там ни была, никакой активности не проявляла. Степанов хмыкнул и ушел достраивать свою беседку.

День прошел как обычно, только один раз забежавшую в дом попить Ленку напугала мама, рубившая на террасе капусту. Ирина действительно стучала ножом громко, со злостью. Ленка сразу догадалась, что это опять Зинаида Ивановна приходила жаловаться. Жаловалась она мягко, интеллигентно, но очень уж часто, а поводов каких только не придумывала. То их сирень затеняет ей грядки, то они развели кротов – звероферма у них тут, не иначе шубу выращивают, – и эти кроты изрыли Зинаиде Ивановне цветник. А теперь капризная старушка почему-то решила, что Степановы выливают под забор между участками воду «с какими-то химикатами», и у нее от этого гибнут растущие по другую сторону забора лилии. Даже водила недавно Ирину к себе, показывала эти лилии, действительно увядшие и облысевшие. Тогда Ирина, тоже женщина мягкая и культурная, все-таки потеряла терпение и высказала Зинаиде Ивановне, что помои все и всегда выливают под забор, не у дома же их выплескивать, но никаких химикатов у них нет, и ничем они ее цветы не травят, а за лилиями просто нужно лучше ухаживать. Потом Ирина, конечно, извинялась, и Зинаида Ивановна извинялась, и они сошлись на том, что ведро Степановы будут выносить под другой забор, у леса. Так нет ведь, опять эта ветхая цветочница пришла и опять про свои лилии...

Степанов доделал беседку, позвал семейство любоваться, все остались довольны. Беседка действительно получилась очень красивая, ажурная, с флюгером-петушком наверху – Степанов был мастер на неожиданные украшения. Прямо в беседке и поужинали тушеной капустой, а потом начали, не торопясь, готовиться ко сну. С тех пор как не стало ни радио, ни телевизора, ни Интернета, выяснилось, что по вечерам заниматься особо и нечем – лучше в постель пораньше отправиться. На речку больше не сходишь – только Катя с Вишневой улицы, бесстрашно рыбачившая там, утверждала, что на берег выходить можно, только с какими-то странными предосторожностями. Лес тоже стал жуткой и запретной территорией, особенно после пропажи, возвращения и повторной окончательной пропажи Витька. В поле пропали Аксеновы и Валерыч, одежду которого недавно нашли у оставшихся ворот. Да и в самом поселке

люди исчезали бесследно, уже председательша ходила по участкам и выясняла, все ли на месте. Говорили, что уходят дорогу наружу искать – а как проверишь? Вот и получалось, что даже гулять по улице теперь небезопасно, перед сном можно разве что до калитки пройтись, и то с оглядкой. Такая уж теперь жизнь, вздыхали вьюрковцы, почему – никто пока не разгадал, но жить-то все равно как-то надо.

Спали Степановы на широченной кровати, под большим общим одеялом, легким и пышным, как взбитые сливки. Лежа лицом к стене и размышляя, сажать вокруг беседки девий виноград или пусть стоит так, без зеленого навеса, Степанов почувствовал под этим одеялом игривое копошение. Ирина ласкаться всегда начинала молча, украдкой, точно стеснялась до сих пор родного мужа. Его погладили между лопаток, пощекотали шею, а потом с неожиданной страстью укусили в плечо.

– Ты чего кусаешься? – шепотом спросил разнежившийся Степанов.

– М-м? – сонно промычала Ирина, причем не у него над ухом, как он ожидал, потому что до сих пор чувствовал на шее прохладные пальцы, а с другого края кровати.

И тут его цапнули в живот, совсем уже не игриво. Степанов вскрикнул от боли и, рывком приподнявшись, включил прикроватную лампу.

Ирина лежала на своем обычном месте – у противоположной стены. Но и глубокие следы от укусов были на месте, наливались красным и синим. Два неполных овала, вспухших и присборенных там, где между зубами были щели... Как будто человек кусал, только уж очень клыкастый – клыки эти пробили кожу не хуже собачьих.

Ирина, повернувшись и заметив наконец эти кровоподтеки, охнула и зажала в испуге рот рукой. Степанов перевел на нее тяжелый взгляд – взгляд спокойного и здравомыслящего человека, которого все-таки довели:

– Покажи.

Ирина непонимающе мотнула головой.

– Зубы. Зубы покажи.

Ирина вытаращила глаза, а ладонь прижала только крепче. Тогда Степанов, кривясь от тупой горячей боли в укушенном животе, сам

потянулся к ней. Ирина глухо что-то вякнула и забилась под одеяло. Просыпалось в ней иногда странное, ей же во вред идущее упрямство. Степанов впервые с ним столкнулся лет одиннадцать назад, когда она Ленку грудью кормила и у нее мастит начался. Наотрез почему-то отказывалась к врачу пойти. А когда Степанов сам решил сводить ее, неразумную, в поликлинику – закатила жуткую, с судорогами истерику. Гормоны в голову ударили, это понятно... Но Степанов вдруг вспомнил, как она тогда скалила, визжа, на него зубы – клыки здоровенные, он еще удивился, как же он раньше не замечал, что клыки у нее длинные, хищные...

Степанов изловил наконец жену под одеялом, начал вытаскивать на свет.

А в темном углу застучало явственно и дробно, и как будто даже захихикало. Лампа для ночных чтений света давала мало, и большая часть комнаты тонула в темноте. Степанов отпустил вяло сопротивляющуюся Ирину и слез с кровати, чтобы выяснить все-таки, кто это шутки шутит – не Ленка же, в конце-то концов. И тут из угла ему прямо в покусанный живот прилетел веник. Степанов закричал от боли, согнулся вдвое – и очень вовремя. Чашка с недопитым травяным чаем пролетела у него над головой, разбилась о стену и залепила все вокруг мокрыми ошметками заварки.

Степанов выругался так, как не ругался, даже провалившись в подпол, дернул за веревочку старинного выключателя, свет ослепил беззвучно плачущую среди подушек Ирину... В углу никого не было. Да и вообще во всей спальне не было никого, кроме них двоих.

И тут же застучало за стеной, потом грохнуло чем-то, дом огласился испуганным ревом разбуженной Ленки.

– Твою мать! – рявкнул Степанов и помчался на поиски неуловимого врага, схватив первое, что попало под руку – табуретку. Из соседней комнаты послышался явственно различимый мелкий топот, и тут же повторился настойчивый стук – уже за другой стеной. Пять ударов, шесть, семь... тринадцать.

У Ирины ноги стали ватными, словно слились с толстым матрасом в единое целое. Не было ни силы, ни воли встать, хотелось остаться здесь, зарыться в мягкое, переждать...

И она увидела, как вертикально и величественно, будто ракета с Байконура, поднимается в воздух лампа с прикроватной тумбочки.

Лампа повисела немного на месте, метрах в полутора от пола, сделала оборот вокруг своей оси, точно хотела со всех сторон себя Ирине продемонстрировать, а потом с шумом и искрами бахнула об стену. Ирина завопила и в темноте, ранив ноги об осколки, кинулась прочь из спальни.

Всю ночь дом Степановых ходил ходуном. Причем буквально. Неуловимая стуколка перемещалась из одной комнаты в другую, била посуду, кидалась стульями и взрывала лампочки. Степанов гонялся за ней сначала с табуретом, потом с топором – неутомимо, но безуспешно.

И, что самое странное, к утру все это не прекратилось. Уже рассвело, но укрывшиеся в беседке Ирина с Ленкой продолжали с ужасом прислушиваться к доносившемуся из дома грохоту. А Степанов все не показывался, увлекшись, как видно, своей маленькой безнадежной войной.

Наконец Ирина не выдержала – притащила из сарая толстую стеганую куртку и высоченные сапоги, в которых обычно ходили в лес осенью. Надела все это на себя с таким видом, будто это не доживающее свой век старье, а защитная спецодежда. Сообразив, куда собралась мама, Ленка снова ударилась в рев, но Ирина дала ей подзатыльник, велела спрятаться под одеялами, которые они еще ночью перетащили в беседку, и не высовываться до ее возвращения.

Ирине даже немного странным показалось, что дом все тот же – светлый, с пестрыми ковриками и диванами, их дом. Беспорядок, конечно, присутствовал, но не такой жуткий, как она думала. Двери распахнуты, коврики сбиты, на полу всякое валяется. И откуда-то из недр дома доносились возня и глухой монотонный стук.

Заглянув в очередную комнату, Ирина вздрогнула и попятилась. Перекошенная, замотанная в какие-то обноски фигура шевельнулась там, в глубине. Через несколько невыносимых секунд Ирина заметила торчащую из-под обносок длинную ночную рубашку и поняла, что это она сама, точнее – просто ее отражение в треснувшем зеркале. Смотреться в разбитое зеркало – примета нехорошая, и Ирина мелко перекрестилась.

А сторбленная фигура вдруг спрыгнула со стены и бросилась на нее. Ирина даже понять ничего не успела, только увидела совсем близко, глаза в глаза, свое искаженное дикой гримасой лицо со стеклянной трещиной поперек, и тут же ее ударило, сбilo с ног, наспиговало жгучей болью...

Ирина с трудом выбралась из-под навалившегося на нее зеркала – тяжелого, в деревянной массивной раме, еще бабушкиного. Даже думать не хотелось, какой же силой обладает то, что сорвало это зеркало со стены и бросило в нее. Повсюду брызгами сверкали осколки, один застрял у Ирины в ладони, другой торчал в мягком мясе между большим и указательным пальцами, в коже лба и щек тоже чувствовались мелкие холодные занозы. Хорошо еще, что она догадалась надеть куртку и сапоги, а то посекло бы всю, задело какой-нибудь важный сосуд – и поминай как звали. Ирина испуганно тронула шею – слава богу, высокий ворот застегнут наглухо. Раньше от комаров и клещей спасал, а теперь вот, получается, от смерти. Вынуть бы еще эти занозы стеклянные, но на них даже смотреть страшно. Крови Ирина не боялась – какая женщина ее вообще боится, это что же, в обморок каждый месяц хлопаться? – но вот раны, кожа разодранная, вывороченная мякоть – все, чего не должно быть у здорового, целого человека... Это ее всегда пугало, даже порезы от кухонного ножа ей обычно муж обрабатывал, а она смотрела в сторону, пока он это страшное пластырем не залепит.

– Саша... – тихонько позвала Ирина. – Са-аш!

Муж не отвечал, только слышался по-прежнему этот монотонный стук. Прикрывая голову руками, шарахаясь от каждого шороха, Ирина пошла на звук.

Несколько раз что-то падало прямо рядом с ней, один раз ударило по затылку, но Ирина все равно шла вперед. Она хваталась за одну-единственную, спасавшую своей бабьей глупостью мысль: надо найти Сашу, пусть он вынет осколки и йодом помажет, а то самой страшно...

И наконец она его нашла.

Степанов висел в Ленкиной спальне, раскинув руки и не касаясь ногами пола, ничем видимым в воздухе не удерживаемый. Висел у стены, слева окно, справа – чудом уцелевший позапрошлогодний календарь с умной лошадиной мордой. И об эту стену Степанов монотонно, страшно бился лбом. На половицах под беспомощно

вытянутыми в пустоте ногами густела алая лужица. А лицо у Степанова заплыло синим, и по зверски оскаленным зубам и надутым жилам на шее видно было, что он вовсе не хочет биться головой об стену, что-то невидимое его заставляет, толкает, а он изо всех сил противится.

– Спа... сите... Зови... людей... – скосив по-лошадиному глаз на Ирину, прохрипел Степанов.

Вьюрковцы явились быстро, толпой – они вообще уже начинали привыкать к тому, что, если где-то что-то случилось, туда надо срочно бежать. Вроде как на внеочередное общее собрание. Клавдия Ильинична с супругом пришли одними из первых, и все тут же сгрудились вокруг председательши. Тамара Яковлевна озабоченно поинтересовалась, не будут ли перекрывать воду. На нее замахали руками: вода ладно, колодец же есть, главное – электричество...

Вызволять Степанова отправились Пашка, Никита и собаковод с Лесной улицы – тот, что сутки проблуждал за забором. Зайдя в комнату, они с минуту стояли на месте, растерянно переглядываясь. Каждый пытался понять, видят ли другие то же, что и он.

Несчастный Степанов по-прежнему бился головой об стену, подвешенный в воздухе неведомой силой. Видно было, как отчаянно он напрягает шею, чтобы хоть немного смягчить удары. На обоях расплывалось кровавое пятно.

Никита первым решился подойти. Он ухватил Степанова за пояс, но в то же мгновение как будто сам воздух, уплотнившись, толкнул его в грудь, да так сильно, что Никита чуть не упал. А вот Пашка, тоже попытавшийся приблизиться к Степанову, все-таки свалился, получив удар в челюсть непонятно чем и от кого.

– Я предлагаю всем вместе, так сказать, навалиться. С троими сразу сложнее справиться будет...

Хотя удивляться дальше было, пожалуй, некуда, Никита все-таки удивился. Потому что сказал это собаковод с Лесной улицы, задумчиво поглаживая бородку. Кажется, и голоса-то его Никита никогда не слышал. Но важнее всего было то, что собаковод говорил дело.

На счет «три» они навалились, как и было предложено, на Степанова с разных сторон и принялись тянуть его вниз. Что-то шустрое и невидимое раздавало им щипки и тумачи, дралось яростно

и с какой-то мелкой, почти смешной злобой – дергало за уши и за волосы, цапнуло Никиту за руку. Острые зубы прокомпостировали предплечье, оставив кровавый овал, он прекрасно их почувствовал, но так ничего и не увидел.

Собаковод сгорбился, застонал, и его курчавые темные волосы вдруг встали дыбом. Точнее, двумя пучками-рожками, как будто в этом унылом с виду дяде проснулся внезапно не то бес, не то сатир.

– На спине оно, на спине! – крутя головой, крикнул он. – Шею грызет!

И Никита сообразил, что за волосы собаковод тянут – точнее, тянет та самая штука, которая до этого кусала и колотила их, а теперь запрыгнула бедняге на спину. Собаковод кряхтел и корчился, но из последних сил держал Степанова за ногу.

– Не отпускай! Тянем! – завопил Пашка. – И раз, и два!..

Обмякшее тело Степанова рухнуло на пол. Наверное, злобная штука ослабила хватку, переключившись на собаковод. Тот юлой вертелся по комнате, повторяя, чтобы это с него сняли, сняли, сняли... Никита, придерживая одной рукой стонущего Степанова, другой нашарил у стены какую-то палку и ударил собаковод по спине, между лопаток. Палка оказалась кочергой, Никита понял это за секунду до удара и успел с ужасом подумать, что сейчас он сломает ни в чем не повинному, вообще ему не знакомому человеку позвоночник. Но кочерга шмякнулась обо что-то плотное сантиметрах в десяти от потертой джинсовой куртки, раздался истошный визг, и собаковод, держась за загривок, метнулся к двери. И не удрал со всех ног, как можно было ожидать, а придержал ее, чтобы Никита с Пашкой смогли беспрепятственно выволочь Степанова.

– Очень признателен, – прохрипел собаковод уже в коридоре. – Мы, к сожалению...

– Никита, – торопливо представился Павлов, опасаясь, как бы эта внезапная учтивость не замедлила их бегство.

– Яков Семенович.

Они вылетели на террасу, дверь была распахнута, и за ней уже толпились взволнованные дачники. Ближе всех отважились подойти плачущая Ирина и Катя. «Ну конечно, Катя, – в последнем рывке к крыльцу подумал Никита, – куда же без Кати».

Все смотрели на них, а Катя – нет. Она смотрела куда-то им за спины, в глубину дачи, причем глаза у нее были совершенно круглые.

Они скатились с крыльца и рухнули, задыхаясь, в траву. Вьюрковцы тут же обступили их плотной стеной, и никто не заметил, как Катя кинулась к входной двери и захлопнула ее. Она подергала за ручку, убедилась, что замок защелкнулся, а потом заглянула через окно террасы внутрь. Отпрянула, снова заглянула и, помедлив, вернулась к остальным дачникам.

Гена с Цветочной улицы, работавший, пока не ушел в бизнес, фельдшером на скорой, обработал раны на шее у Якова Семеновича, перевязал и сказал, что ничего страшного, если только у зверя, который его искусал, нет бешенства. Яков уныло взглянул на него и промолчал. А вот у лежавшего без сознания Степанова Гена диагностировал «как минимум сотрясение». Да еще и у Ирины пришлось доставать пинцетом из ранок осколки зеркала.

– Я б зашил, но вы как хотите, – флегматично сказал Гена, налепив последний кусочек пластыря ей на щеку.

Тем временем группа особо отчаянных дачников во главе с Никитой обследовала дом – снаружи, внутрь никто больше идти не хотел. Постепенно было установлено, что за пределами дачи не происходит ничего интересного – то есть вообще ничего не происходит. Однако внутри продолжало стучать и грохотать. Одному смельчаку, решившемуся заглянуть в разбитое окно, прямо в лоб прилетела сковородка – хорошо хоть, что новая, с антипригарным покрытием, а не чугунная. Никита подобрал с земли яблоко и бросил внутрь. Глухого спелого стука, с которым обычно падают яблоки, никто не услышал, а сам фрукт тут же был выкинут обратно на улицу. И с такой силой, что Никита заработал бы отменную шишку, если бы не отскочил в сторону.

Что бы ни бесчинствовало в доме Степановых, наружу выйти оно либо не могло, либо не хотело.

Внеочередное собрание дачники все-таки устроили, прямо на участке. По большей части просто ради самоуспокоения: ведь, пожалуй, впервые нечто сверхъестественное происходило во Вьюрках

среди бела дня, у всех на глазах, представляло явную опасность для человека и логическому объяснению не поддавалось совершенно.

– Это полтергейст, – объявила Клавдия Ильинична. – «Шумный дух» в переводе.

– Да, да, бывали же такие случаи...

– Барабашка!

– Призрак! Может, похоронен кто-то под домом... – вмешалась Юки и тут же перехватила быстрый и неодобрительный Катин взгляд.

– Черти бесятся, – смиренно пробормотала Лида с Вишневой улицы.

– Инопланетяне, – внезапно сказал Пашка. – Висят там наверху и эксперименты над нами проводят. Это самое... дистанционно.

Все запрокинули головы к яркому летнему небу. Над Вьюрками висели только редкие белые облачка да ласточки носились – высоко, к ясной погоде.

– Сам ты инопланетяне, – буркнул Никита.

– А может, домовый? – предположила стоявшая с краешка, у забора, соседка Зинаида Ивановна. – Ну, домового обидели, он и проказит. Вот у отца в деревне...

– Никого мы не обижали, – громко, дрожащим голосом сказала Ирина, как раз вернувшаяся из беседки, где бывший фельдшер возился со Степановым.

– Конечно, не обижали, – кивнула Зинаида Ивановна и поджала губы.

– И цветы ваши никто не травил! – взвизгнула вдруг Ирина. – Когда ж вы успокоитесь-то уже!

– Кикимора это.

По толпе пробежал смешок, даже Ирина не удержалась и нервно хихикнула.

– Ки-ки-мо-ра, – еще раз отчеканила Тамара Яковлевна.

– Болотная? – приподнял бровь Петухов и почему-то посмотрел на жену.

– Почему же сразу болотная? Сухопутная. Я по телевизору смотрела...

Все давно уже знали, что обычно смотрела по телевизору Тамара Яковлевна, поэтому дослушивать не стали.

– Хватит уже, – повысила голос Клавдия Ильинична. – Вопрос стоит так: либо оставить дом и желательно заколотить окна и двери, либо... как-то решить проблему с полтергейстом.

Прозвучало это так, будто речь шла о проблеме с вывозом мусора или с перебоями в подаче воды. И начальственный тон председательши сотворил привычное чудо, напомнив о рутинном, чуть скандальном духе прежних общих собраний и настроив дачников на решительный лад.

Тамара Яковлевна, поняв, что никто не интересуется ее мнением, пожала плечами и пошла к калитке. Но на полпути, быстро оглядевшись по сторонам, свернула за сарай. И оттуда, вдоль забора, по кустам, направилась обратно к дому Степановых.

Ни озадаченные тем, как же решить «проблему с полтергейстом» дачники, ни сидевшие в беседке со Степановым фельдшер и Ленка не заметили этого маневра. Зато его заметила не принимавшая участия в общей дискуссии Катя. С минуту понаблюдав за тем, как Тамара Яковлевна, пригнувшись, тихонько крадется за кустами смородины вдоль стены дома, Катя тоже огляделась и быстро шмыгнула за ней.

Повелительница кошачьего царства долго ползала на карачках вокруг степановского дома. Катя внимательно следила за ней, прячась то в смородине, то в малине. Наконец Тамара Яковлевна остановилась под одним из окон. Это было окно той самой гостевой комнатки, в которой Ленка Степанова впервые услышала стук.

Тамара Яковлевна, кряхтя, опустилась на колени и стала ковырять землю палочкой. Пальцы плохо слушались, да и спина болела. Катя смотрела-смотрела, как она трудится, то и дело утирая пот со лба, а потом вылезла из своего укрытия.

– Давайте я помогу.

– Давай, Катенька, давай, – закивала, не оборачиваясь, Тамара Яковлевна. – Не век же в смородине сидеть...

Земля была рыхлая, как будто недавно вскопанная. Вдвоем они быстро докопали до трещины в фундаменте, из которой торчала какая-то маленькая тряпочка, вроде носового платка. Катя хотела вытащить, но Тамара Яковлевна шлепнула ее по руке, плюнула через левое плечо, двумя пальцами, за самый краешек, вытянула непонятный предмет из щели и бросила, не глядя, себе за спину.

Это и впрямь был испачканный в земле носовой платок – маленький, с синими цветочками. Он был перехвачен несколькими узелками так, что получилось некое подобие тряпичного человечка.

– Вот тебе и куколка-стуколка, – Тамара Яковлевна с трудом поднялась, держась за стену. – Ой, грехи наши тяжкие... Кикимору подбросили, вон оно как нынче бывает, ни стыда, ни совести.

– А вы откуда зна... – Катя осеклась, заметив в глазах Тамары Яковлевны знакомый лукавый огонек.

– Так я уж в этих порядках новых разбираться начала. Уж это я умею. При коммунистах пожила, при капиталистах, и теперь еще поживу, Катенька, при этих. А ты кого видела?

Катя растерянно моргнула.

– Другим глазки строй, а я не поверю. В доме, когда мальчишки-то наши убежали. Кого ты там увидела?

– Свинью. На двух ногах. За ними бежала...

Тамара Яковлевна почему-то не стала смеяться. Только прищурилась, и они обе какое-то время молча друг на друга смотрели – с подозрением и любопытством.

– Кикимора и была. Она по дому свиньей, зайцем либо собакой катается, – сказала наконец Тамара Яковлевна. – И отчего же ты их видишь, Катенька? Да рядом вечно ошиваешься...

Катя молчала.

– Ладно, не говори, тебя мне еще не хватало. Подай-ка куколку, нагибаться тяжело.

Катя послушно наклонилась – и замерла с вытянутой рукой, так и не дотронувшись до тряпичного человечка. Тамара Яковлевна затряслась в беззвучном смехе:

– Думаешь, на тебя переведу? Можно уже брать, можно, не бойся.

Помедлив, Катя все-таки взяла куколку и передала ей. Тамара Яковлевна расправила тряпочку у себя на ладони, покачала головой:

– А платок-то хороший какой, батистовый. Вот дура, прости господи...

И, не обращая больше на Катю никакого внимания, пошла обратно к остальным дачникам.

Было решено, что Степановы пока поселятся в гостевом домике у Наймы Хасановны, а их дом периодически будут проверять Никита с

другими ребятами. Оптимисты надеялись, что полтергейст – явление временное и скоро прекратится.

– Да о чем вы говорите! – неистовствовал старичок по фамилии Волопас, преподаватель истории на пенсии. – Геомагнитная аномалия – это навсегда, разлом возник – и все! Это на-всег-да, понимаете?

Для Степанова мастерили носилки, Ирина стояла поодаль, смотрела на свою уютную дачу, полную подушечек и ковриков, и всхлипывала.

Тамара Яковлевна и Зинаида Ивановна напряженным шепотом говорили о чем-то у забора. Катя вслушивалась изо всех сил, но улавливала только обрывки.

– Я же только...

– А вот я ее сейчас вам, хотите?

– Я вас умоляю, Тамара...

– Убить могло!..

– ...так все неожиданно, я и понятия...

– ...уговор!

– Они мои лилии...

– А вы людей за лилии...

Старушки перешли на совсем уже неразборчивое змеиное шипение, но вид Зинаида Ивановна имела виноватый и расстроенный, а Тамара Яковлевна так и наседала на нее, потрясая кулаком, из которого торчал кусочек белой ткани. Потом Зинаида Ивановна, опустив глаза, побрела к себе, а Тамара Яковлевна подошла к Ирине.

– Вы, Ирочка, не переживайте так. Недельку потерпите – и можно обратно въезжать.

Ирина посмотрела на нее со скорбным недоверием.

– Вы, главное, мужа лечите. И не переживайте, скоро дом опять ваш будет.

Поздно вечером в дверь забарабанили так, что Никита чуть коньяком не подавился. Спрятал бутылку за кресло, открыл дверь – и увидел Катю. В руках она держала какие-то рыжие цветы, завернутые в мокрую тряпку. Никита, хоть и был уже слегка пьян и потому благодушен, насторожился – в последний раз соседка сама заходила к нему в гости, когда Витек нагонял на Вьюрки тоскливый ужас своим

воем. Входить Катя не стала, стояла в дверях, теребя цветы и поглядывая на Никиту – тоже настороженно, исподлобья.

«До чего ж она все-таки странная», – подумал Никита и наконец решил разрядить атмосферу:

– Это что, мне?

– А... – кажется, Катя только сейчас вспомнила о цветах. – Нет. У Зинаиды Ивановны взяла... Это бархатцы. Цветы мертвых.

Никита, к стыду своему, немного испугался, и Катя это заметила:

– В фольклоре. В мексиканском фольклоре бархатцы – цветы мертвых. И я не за этим вообще... Павлов, я знаю, что происходит. Давно уже знаю.

И тут то ли сыплющее мелким дождем небо разразилось наконец одинокой молчаливой молнией, то ли в Катиных глазах действительно вспыхнули на мгновение яркие, белые огоньки. Приятное опьянение будто сдуло, и Никита испугался уже по-настоящему. А Катя как назло еще и ухватила его за руку, царапнув ногтями по запястью:

– Пойдем, я покажу. Мне нужен свидетель...

– Иеговы? – внезапно выдал он.

– Что? – Катя разжала пальцы и отступила на крыльцо. – Тебе смешно? Смешно, да?!

– И у тебя теперь теория? – хмыкнул Никита, почуяв, что в этом его спасение. – В очередь вставай. Геомагнитная аномалия? Психотронное оружие? Конец света? Инопланетяне?..

– Пьянь, – с ненавистью прошептала Катя и, развернувшись, исчезла в мокрой темноте.

– Чокнутая, – не остался в долгу Никита, захлопнул дверь и облегченно вздохнул. Ведь Пашка и впрямь рассказывал ему, что у Кати, по слухам, какой-то внушительный психиатрический диагноз, потому и замуж ее никто не берет.

Ему уже было стыдно – и за свою внезапную бабскую панику, и за то, что так обошелся с Катей. Никита достал коньяк и с отвращением сделал большой глоток.

Но он был уверен, что ему не показалось – он действительно видел бледное пламя, сверкнувшее на секунду в ее зрачках.

Охота

У бухгалтерши Лиды дачка была маленькая, неприметная, скромная – вся в хозяйку. Лида в свои сорок с небольшим имела уже полное право считаться старой девой, а на вид была даже не старой, а какой-то допотопной: носила длинные юбки и платочки, под которыми прятала тонкую седоватую косицу. На дачу Лида приезжала в самом начале сезона и сразу принималась трудиться. Каждые выходные она в одиночку старательно копала, сажала, удобряла, подрезала. Сметала в кучу сухие прошлогодние листья и веточки, вычищала до блеска свою одноместную дачку, помогала выбраться из-под земли первоцветам, оградки им из щепок сооружала, чтобы не наступить случайно. А потом, в благословенные дни летнего отпуска, окончательно переезжала в свое маленькое ухоженное царство. Но не грелась праздно на солнышке, а продолжала неутомимо работать. Чтобы и сад, и огород были образцово-показательными, чтобы, глядя вокруг, чувствовать тихую радость и понимать – все не зря живешь – дело делаешь. «Лида – труженица», – уважительно говорили соседи, и от этого она тоже ощущала тихую радость. Но не гордость, нет, грешно гордиться.

Тем утром Лида пропалывала клубнику. Удобно устроившись на низкой скамеечке, она выдергивала крохотные розетки одуванчиков и бодяка – от этих врагов навсегда не избавишься, сколько ни старайся, ни выкапывай их длинные мясистые корни. Кустики клубники никли под тяжестью ягод – третий урожай уже. Лида и варенья наварила со стевией, сахарной травой, и деткам соседским раздала, и сама наелась как никогда в жизни. Клубника была сладкая, вкусная, но Лида беспокоилась, не истощит ли это бесконечное плодоношение сами растения. А если подкармливать постоянно – тоже навредить можно. Лида сорвала глянцевою ягоду, отправила в рот – сладость невозможная. Как же на даче хорошо, и что уехать отсюда теперь нельзя – тоже, в общем-то, хорошо. Кто ее там, в городе, ждет, разве что начальство. А лето, которое уже пятый месяц тянется, – так это вообще прекрасно, чудны дела твои...

Закачались ветки крыжовника у забора, и сильно так закачались, хотя ветра не было. Лида подняла голову. Ветки все еще подрагивали, но уже другие, правее, как будто кто-то медленно пробирался вдоль забора по кустам. Кошка, подумала Лида, от той старушки забежала, как ее там, то ли Тамара, то ли Варвара.

– Кис-кис, – позвала Лида.

Никто из крыжовника не вышел, а ветки продолжали качаться. Лида заправила под платок выскользнувшую челку, присмотрелась. Ничего постороннего она в кустах не заметила, а крыжовник у нее был аккуратно подстрижен, прятаться вроде бы негде. Ну, на то она и кошка, захотела – пришла, захотела – ушла...

Неизвестный гость тем временем перебрался из крыжовника в заросли топинамбура. Эту земляную грушу, на вкус ничего общего с грушей как таковой не имевшую, Лида растила скорее для красоты. Из высоких стеблей получалась неплохая живая изгородь. И вот сейчас эти стебли беспокойно качались из стороны в сторону, а еще Лида услышала треск и шуршание. Ежик, с облегчением догадалась она, ну конечно же, ежик, самого не видно, а топает как слон. Сфотографировать бы его – Лида тщательно документировала каждый визит дикой живности на свой участок. Просто так, для себя. Зверюшек она любила, мечтала в детстве стать зоологом – а стала бухгалтером, сама не поняв, как так вышло.

Маленький красный фотоаппарат она хранила на полочке в прихожей именно для таких случаев. Лида бесшумно метнулась к дачке, открыла дверь, схватила не глядя свою мыльницу и на цыпочках подошла к зарослям топинамбура. В них по-прежнему что-то шевелилось. Не спугнуть бы, ежики быстро бегают. Одно резкое движение – и все, укатилась колючая капля.

Не отводя взгляда от дисплея мыльницы, Лида раздвинула подрагивающие стебли и от неожиданности тут же нажала на кнопку.

Что-то темное и крупное, совсем не похожее ни на кошку, ни на ежа, притаилось в зарослях. Ошарашенная Лида тщетно пыталась понять, где у этого существа голова, где ноги, где вообще что. А в следующую секунду посреди этой бесформенной шевелящейся массы распахнулась огромная пасть. В ней не было ни языка, ни нёба – только неисчислимое множество зубов, острыми рядами уходящих в багровую глотку. Лида взвизгнула и отшатнулась, улетел куда-то

фотоаппарат, а темная тварь прыгнула на нее. В последний миг Лида успела почуять теплую волну гнилого мясного запаха из пасти, внезапно и полностью заслонившей весь мир вокруг.

Ближе к вечеру заглянула соседка – взять у Лиды клубники на варенье, как договаривались. Постояла у калитки, позвала, потом зашла на участок. Все было как обычно – чистенько, ухожено, только самой хозяйки не видать. Соседка позвала еще, а потом ушла, решив, что Лида куда-то отлучилась или вздремнуть прилегла после трудов праведных.

Лида жила так одиноко и незаметно, что об ее исчезновении вьюрковцы узнали только через пару дней, после нового случая. А произошел этот случай на противоположном конце поселка, в даче номер шесть по Лесной улице.

Там обитало семейство Усовых: Максим, Анна и сын их Леша, более известный как Леша-нельзя – именно так родители к нему обычно и обращались. Это он месяц назад сильно отравился ядовитым пасленом, которым ни с того ни с сего заросли во Вьюрках все канавы и обочины.

Усовых во Вьюрках вежливо и молчаливо недолюбливали – примерно так же, как Бероевых. Они тоже не вписывались в благостную старосветскую дачную атмосферу. Не жили тут поколениями, участок не получили как положено, а сами купили, отгрохали здоровенный дом безо всяких резных переплетов и тюлевой веранды, к дому пристроили гараж, тоже огромный, для своего гробоподобного внедорожника, который еле втискивался во вьюрковские улочки. Все у Усовых было крупногабаритное, тяжелое, да и сами они тоже. И Леша-нельзя наелся паслена потому, что привык совать в рот вообще все, чтобы прокормить свой неудержимо растущий организм. Впрочем, пышнотелость и старшим поколением дачников одобрялась как признак здоровья и сытости, и младшим воспринималась снисходительно – любители спортзальной усушки на дачи почти не ездят. Но Усовы, в довершение всего, жили с невероятным напором и шумом. Максим с Анной общались на таких повышенных тонах, что обсуждение обеденного меню или похода на речку соседи принимали поначалу за бурную ссору. Впрочем, и ссор хватало, и Леша-нельзя регулярно получал от родителей по различным

частям тела и уносился с ревом. Иногда к Усовым приезжали гости, такие же огромные, на огромных машинах – родня, видимо, – и оглушительно хохотали, поглощая шашлыки под водочку.

Тихой и хрупкой была только Лешина бабушка Лизавета Григорьевна, о почти призрачном существовании которой регулярно забывали даже сами Усовы. Ветхая, белоглазая, она выходила иногда за ворота, дожидалась первого случайного прохожего и путано, долго рассказывала ему всю свою длинную неяркую жизнь.

Все произошло среди бела дня, когда выяснилось, что засорилась труба под туалетом, по которой нечистоты стекали за забор, в лесную канавку. Анна крикнула Максиму, чтобы он немедленно эту трубу прочистил. Максим крикнул из дома, что уже пытался и ничего не вышло, а в лес он идти не намерен, так что придется ставить в сортир ведро, как у всех. Анна ответила, что не хочет, как у всех, а хочет удобно, и пусть Максим попробует еще раз. Максим отказался и оглушительно пожелал ей успеха в трудном ассенизационном деле, раз для нее это так важно. Тут подключился Леша, который крикнул, что не будет собирать малину, потому что в малиннике кто-то ходит и он боится. Разъяренная Анна, возившаяся с трубой и ведрами, отвесила ему незапачканной частью руки подзатыльник и велела делать что сказано. Максим собрался выйти во двор, чтобы сделать сыну внушение. Ревущий Леша тем временем удрал за ворота – он вообще не хотел собирать засиженную клопами малину, а хотел кататься на велосипеде.

Переобуваясь в прихожей – за чистотой в доме жена следила строго, для улицы одна обувь, для дома другая, – Максим услышал снаружи дикий, слишком громкий даже для его привычных ушей визг. Он вылетел за дверь и столкнулся с перепуганной Лизаветой Григорьевной, которая дрожащей рукой указывала на дальний забор и лепетала:

– Мешок... Мешок, черный...

Вежливо отодвинув слабоумную тещу в сторону, Максим направился к дачному туалету. Но Анны там не было. Он растерянно оглядел участок и заметил что-то ярко-желтое в траве рядом с малинником. Это оказалась огромная резиновая перчатка, которую

жена, очевидно, надела, чтобы прочистить трубу. Максим брезгливо поднял ее, неожиданно тяжелую и булькающую внутри...

Из перчатки вывалилась окровавленная рука с любимым жениным перстнем на пухлом указательном пальце. Судя по лохмотьям плоти, рука была отгрызена кем-то чуть выше запястья.

Соседи быстро забыли о своей неприязни к семейству Усовых, увидев огромного Максима побелевшим от ужаса и со слезами на выпуклых бычьих глазах. Обыскали весь участок, и соседние дворы, и улицу, но никаких следов Анны не обнаружили. Лизавета Григорьевна, твердившая поначалу про черный мешок, теперь умолкла и только дрожала всем своим невесомым телом.

Люди постепенно прибывали, явились председательша с мужем и активная молодежь в лице Пашки, Никиты и Юки. Посовещавшись, вьюрковцы пришли к выводу, что нечто, напавшее на Анну и, очевидно, сожравшее ее, явилось из леса. И теперь надо готовиться к тому, чтобы держать оборону от неизвестного врага. Только никто не знал, как ее держать.

– Баррикадироваться надо! Забор укреплять! – уверенно заявил старичок Волопас.

– Чем? – развел руками Петухов.

– Доски нужны, мешки с песком, с цементом...

– Мешок, мешок... – встрепенулась Лизавета Григорьевна.

– Цемент я вам не отдам, мне фундамент укреплять, – отрезал Степанов.

– Тут такое творится, а вы – фундамент!

– И что теперь, пусть дом заваливается? А на новый забор в том году по пятерке сдавали, и где он?

– Не на забор, а на водопровод, трубы проржавели.

– Что, воду все-таки отключат? – забеспокоились дачники.

– Охренели совсем?! Тут человека сожрали! – взревел наконец Усов.

Сквозь толпу тем временем деликатно пробирался собаковод Яков Семенович. Он вел на поводке свою овчарку, широкую, как меховая скамейка. Протиснувшись на свободный пяточок в центре круга, он откашлялся, чтобы привлечь внимание.

– Найда, я извиняюсь, умеет брать след, – сообщил Яков Семенович. – Я ее отдавал на дрессуру. Я, если можно, предлагаю для начала установить, откуда пришло это, грубо говоря, существо. Овчарки – очень умные собаки, и если дать ей, я извиняюсь, понюхать... Нет-нет, она не кусается.

Найда чихнула с подвыванием.

– Так давайте, давайте! – засуетился Петухов.

Собаку подвели к откушенной руке с золотым перстнем, от которой она сначала, как и сами дачники, испуганно шарахнулась. Яков Семенович стоял поодаль, размотав до максимума Найдин поводок, и бормотал, что это ужас, какой же ужас, до чего дожили. Его и так скорбное от природы лицо приобрело совсем уж беспросветное выражение.

Потом Найда обнюхала забрызганную кровью траву вокруг. Нюхала с явным отвращением, фыркая и всхрапывая, как лошадь. Покружилась на месте и уверенно направилась в заросли малины. Петухов с горечью и удовлетворением подумал, что теория нападения извне, которую он предложил первым, подтверждается: за малинником забор, за забором лес, а там... Найда все не выходила из кустов, и в конце концов Якову Семеновичу пришлось подойти и раздвинуть ветки, с которых посыпались перезревшие ягоды.

На самом деле за малинником был угол забора. Здесь сходились та часть ограды, за которой находился лес, и та, которая отделяла участок Усовых от соседского. И именно во второй, разделительной части забора зияла дыра. Нижний край железного листа был отогнут, и из этого треугольного лаза выглядывала Найда. Увидев хозяина, она нетерпеливо гавкнула.

Соседи пришли в ужас, когда поняли, что неведомый зверь проник к Усовым через их территорию. Но Клавдия Ильинична пресекла все истерики на корню, сурово объявив, что сейчас главное – во всем разобраться, а паниковать будем потом.

Найда носилась по кустам, только хвост мелькал над зеленью. Затем, к окончательному недоумению дачников, она толкнула носом калитку и деловито потрусилась по улице, причем не к лесу, а в противоположном направлении. Если она взяла верный след, то вел он в самое сердце Вьюрков.

Петля по поселку и надолго останавливаясь в задумчивости, Найда привела вьюрковцев к Лидиной калитке. Привычно открыла ее носом, подбежала к зарослям топинамбура и заскулила.

Те из дачников, кто в поисковом азарте успел зайти на чужую территорию вслед за собакой, смутились: нехорошо как-то, без спросу. Кто-то вспомнил, что здесь живет та женщина в платочке, на богомолку похожая – не то Люда, не то Лида... Начали звать, но из дома никто не вышел. Пашка и Юки, заметив, что дверь маленькой дачки открыта, заглянули внутрь. Кастрюльки, клееночки, образки повсюду, сладко пахнет клубничным вареньем...

– Простите пожалуйста, вы дома? – крикнула Юки.

Было тихо, только жужжали привлеченные ягодным запахом осы.

А Яков Семенович тем временем сидел на корточках рядом с топинамбуром и разглядывал мелкие бурые пятна, вроде брызг от краски, которые были повсюду – на листьях, на заборе, на траве. Подошедшая Юки сначала и решила, что это краска: может, забор подкрашивали или столбики, и не сразу поняла, почему кудрявая тетенька рядом так горестно причитает:

– А я-то удивлялась, что ж ее не видно! Клубники для Анютки взять хотела, а ее все нет и нет. Думала, приболела или гуляет...

Никита еще на усовском участке задавался вопросом: какой же это зверь может утащить или сожрать человека целиком, а одну руку оставить? Будто из-за той перчатки, в дерьме испачканной, побрезговал. А здесь ничего не осталось – одни капли на траве. Что, если это и вправду краска либо любимцы Тамары Яковлевны подрались до крови, а сама Лида, Люда – кто она там – действительно ушла прогуляться... Вдруг Найда взяла не тот след, а на участке Усовых произошло нечто совсем другое, ни к каким зверям отношения не имеющее.

Никита с подозрением огляделся, ища самого Усова, и вдруг увидел в траве поодаль что-то яркое. Прямо в одуванчиковой розетке лежал маленький красный фотоаппарат. Никита подобрал его, прокрутил снимки: цветочки, птички, ягодки, бабочки... а последний кадр темный и размытый. Никита показал его Якову Семеновичу, потом Пашке. Оба только руками развели. Он увеличил снимок до максимума, уменьшил обратно, попробовал рассмотреть под разными

углами, издалека, прищурившись. Не помогло. На снимке было что-то расплывчато-зеленое, в центре – что-то расплывчато-черное, а весь кадр пересекала чуть более отчетливая зеленая палка. «Абстракционизм, да и только», – с досадой подумал Никита.

Женщина, сокрушавшаяся по поводу Лиды и ее клубники, посмотрела на снимок и ткнула в дисплей почерневшим от копания в грядках пальцем:

– Топинамбур.

– Что?

– Ну вот, видите – стебель. Поперек идет. И листик видно. Топинамбур это, – она указала на заросли, к которым их привела собака.

– А фотоаппарат чей?

– Лидин, точно Лидин, красненький...

Никита еще раз всмотрелся в то черное, расплывчатое, что маячило в центре снимка, выключил фотоаппарат и положил в карман – вроде как улика.

Изучив весь участок и отдохнув в тенишке, Найда опять куда-то рванулась. Яков Семенович поспешил следом, деловито посвистывая и покрикивая.

Дачники потихоньку начинали роптать – что, в конце концов, происходит и когда это, наконец, выяснится? Надо о безопасности думать, экстренное собрание созывать, заборы укреплять, в конце концов, у кого-то ограда чисто символическая. Если тут и вправду что-то людей жрет, надо дома сидеть и своих сторожить, деток и стариков в первую очередь. А они бегают за этим сыщиком доморощенным, как цыплята за курицей. А курица – она, между прочим, и без головы тоже бегают... Может, и собака его просто так туда-сюда носится, по своим делам. Может, у нее и нюх давно отшибло – старая ведь эта Найда, сколько лет возвращавшихся во Вьюрки грибников исправно облаивала у забора. А может, след-то она взяла, да не тот, а, скажем, кого-нибудь из Усовых. Лешка по всему поселку с утра до ночи разгуливает, вот и наследил. А Максим свою Аньку сам и тюкнул, они же вечно друг на друга орали, а в прошлом году он ее пьяный граблями по участку гонял. Момент-то подходящий, теперь кто угодно что угодно натворить может и свалить хоть на полтергейст, хоть на

зверя неведомого. И шито-крыто, все поверят. Ну точно ведь не по следу собака идет, гуляет просто и нос свой сует куда ни попадя. Вон опять в калитку чью-то полезла.

Юки, монотонно и вежливо кивавшая под ворчанье старушки с Рябиновой улицы, вдруг остановилась.

Это была Катина калитка.

Никита с трудом протолкался через вливавшуюся на участок толпу, позвал Катю – раз, другой. Ткнулся в облупленную белую дверь дачи – заперта. На подоконнике стояли в банке рыжие бархатцы – цветы мертвых, будь они неладны. На рыбалку ушла, решил Никита и не сразу заметил, что дачники организованно идут вглубь участка.

Там, у соседского забора – высокого, отделявшего бероевский особняк от Катиных скромных владений, – стоял сарай. Древний, перекосившийся, покрытый разноцветной мозаикой из мха и лишайников. В таких сараях хранят обычно огородный инвентарь, велосипеды и то, что не пригодилось даже в дачном хозяйстве, то есть хлам низшей, безнадёжной категории.

Найда поскребла лапой дверь, бросила умный взгляд на хозяина и завыла, по-волчьи запрокинув тяжелую морду.

На двери висел проржавевший замок. Подошел Пашка, достал из кармана отвертку – в его любимых штанах, укомплектованных невообразимым количеством карманов, отвертки и плоскогубцы имелись всегда – и, просунув ее в петли, на которых висел замок, одним движением выломал их из прогнивших досок. Дернул дверь на себя, потом сообразил, что она открывается вовнутрь – сарай, наверное, стоял тут с тех времен, когда во Вьюрках еще не боялись зимних взломщиков, пинком вышибающих калитки и двери. Пашка навалился плечом, но что-то мешало с той стороны, дверь открывалась тяжело. Из темной щели вместе с волной удушливого, гадкого запаха вырвалась шумная туча мух.

– Ой, погодите, – слабым голосом сказала Тамара Яковлевна и стала оседать на землю. Женщины подхватили ее, принялись растирать руки, похлопывать по щекам. Зинаида Ивановна заботливо обмахивала приятельницу батистовым платочком.

А мужчины вдруг засуетились, загалдели, оттесняя от сарая слабых и впечатлительных. Те упорно рвались вперед, потому что

жуть ведь как интересно было и хоть одним глазком хотелось глянуть на ужасное. Прямо как раньше, подумала Юки, как в Интернете, когда находишь ролик, в котором убивают взаправду, и цепенеешь, но все равно жмешь на кнопку...

В сарае все и нашли. Красно-бурые потеки на стенах и на полу, тонкие лохмотья плоти, кости, сухую скорлупку, которую бывший фельдшер Гена определил как фрагмент черепа, выжеванные жилы и хрящи. Тут же валялись какие-то тряпки – когда Усов схватил одну, громогласно опознав в ней кусок сарафана Анны, из складок вывалился подпорченный уже палец. Тонкий пальчик, маленький. Никита рванулся посмотреть – нет, не Катин. У Кати ногти были овальные и узкие, а на этом – квадратный. Грязноватый палец, натруженный – мозоль желтым шариком проступила сквозь вздутую кожу под средним сгибом.

Никита никогда не понимал, почему в фильмах людей, увидевших подобное, обязательно начинает тошнить. А сейчас вдруг почувствовал, что ему действительно хочется все это поскорее выплевать. Только не из желудка, а из другой какой-то глубины – вытряхнуть, вычистить из себя, чтобы этого просто не было, чтобы он этого никогда не видел...

– А я говорил, что она... ну это самое, – сказал со значением Петухов. – Сразу ведь видно, если человек психический.

Никита ошарашенно на него посмотрел. До него постепенно, какими-то обрывками доходило, что речь о Кате. И что, по мнению Петухова, ее обглоданных костей в этом сарае нет, что... что Катя и превратилась каким-то образом в неведомого зверя-людоеда.

– А что вы на нее валите?! – запальчиво крикнула из задних рядов Юки. – Ее, может, первой и... и слопали! – Юки всхлипнула. – Я еще утром заходила, а ее нет!

– Сарай был заперт, – возразил Петухов. – Заперт, прошу заметить, снаружи, на хозяйский замок хозяйским же ключом.

– И что? – не сдавалась Юки. – А кто запер? Кто угодно мог!

– Угу, зверюга и заперла, – нервно хихикнули рядом. – Лапами.

Собаковод Яков, надев свисавшие с одной из полок садовые перчатки, молча возился с разбросанными по полу обрывками ткани. Осторожно подцеплял, расправлял и складывал на край деревянного

ящика у двери. Вид он имел строгий, значительный, будто и впрямь настоящий следователь.

– А Лиду когда в последний раз видели? – спросил Петухов.

– Так насчет ягоды договаривались, – кудрявая Лидина соседка истерически обмахивалась лопухом. – Дня три назад. А потом как ни зайду – никого...

– Ага, – важно кивнул Петухов.

И тут Никиту прорвало. Он, сам удивляясь своей ярости и громкости, начал орать, что все с ума посходили, и он их, конечно, понимает, от такого кто угодно тронется, но Катю он знает, и она не могла, даже чисто физически не могла она одолеть огромную Анну. И вообще, как можно подозревать кого-то из своих, знакомых, никто из людей такое сотворить не способен, это неведомый зверь, очередное вьюрковское проклятие, чудовище из леса, сожравшее и труженицу Лиду, и Усову, и... и Катю, если она только не рыбачит сейчас на реке, а он очень, очень надеется, что она просто ушла на рыбалку...

– Молодой человек, – печально сказал Яков Семенович. – Я, конечно, извиняюсь, но у нас тут давно происходят совершенно невозможные вещи, и с этим ничего нельзя поделать. Они все равно происходят.

– Я вам не «молодой человек»!

– Извиняюсь, Никита. Вы вот лучше посмотрите, – собаковод кивнул на ящик, на котором висели перепачканные в крови тряпочки. – Что-нибудь из одежды вашей, так сказать, знакомой тут присутствует?

– Почему я знаю?!

В сарай, толкаясь локтями и переругиваясь с пытавшимися ее удержать взрослыми, пробилась Юки. Вдохнув запах гниющего мяса, она шумно сглотнула, зажала нос пальцами и опустилась на корточки рядом с ящиком.

– Это тетя-Лидин платок. Рисунок такой, как на бандане, я помню... И юбка у нее серая тоже была. Это не знаю чье. А это вообще от мешка вроде, – Юки подняла голову и с отчаянной честностью посмотрела на Никиту. – Катькиного тут нет.

– И что? – Никита широко развел руками, задел прислоненную к стене лопату, лопата опрокинула ведро, со стены ржавым дождем посыпались тяпки и садовые ножницы.

– Ну вы же понимаете, – вздохнул Яков.

Никита оттолкнул его и вышел из сарая. Очень хотелось на воздух. Подальше от этого дачного следователя, который вдобавок совершенно омерзительно картавил. И теперь Никиту действительно тошнило.

– Подождите, – на его локоть легли прохладные пальцы Клавдии Ильиничны. – Вы же с этой Катей общались. Кто она, откуда?

Никита непонимающе покосился на председательшу.

– Семья у нее есть? А лет ей сколько? Кем работает, раз все лето тут сидит?

– Не знаю.

– Как же вы не знаете, если общались? – удивилась Клавдия Ильинична. – Вы хоть можете сказать, кто она вообще такая?

У Никиты в груди что-то мелко задрожало и ухнуло вниз, как яблоко с ветки. Вот, значит, что имеют в виду, когда говорят «внутри что-то оборвалось». Он неожиданно понял, что действительно ничего не знает о Кате, даже фамилию ее никогда не слышал. Симпатичная соседка обернулась вдруг человеком без свойств, сквозь тонкую оболочку ее привычного облика проступила пугающая неизвестность. Он помнил только, что она любит рыбалку, левый уголок рта у нее съезжает вниз, когда она улыбается, и еще она как-то говорила, что не может иметь детей. И все. Зато сколько же у него возникало вопросов из-за мелких странностей в ее поведении, в словах – как будто она... нет, не проговаривалась, а готова была проговориться, но в последнюю секунду спохватывалась. Ни один из этих вопросов он так Кате и не задал.

А когда она сама собралась что-то ему рассказать – он спьяну испугался бог знает чего – не дурацкой же молнии, отразившейся в ее глазах, и не рыжих этих цветов, которые она зачем-то притащила, – и заставил ее уйти. Можно сказать, прогнал. И было это три дня назад...

– Да что вы людей пугаете, не с Луны же девка свалилась, – укоризненно сказала у него за спиной Тамара Яковлевна. – Меня бы лучше спросили.

Внимание председательши тут же переключилось на нее, и Никита, воспользовавшись моментом, поспешно ушел. А Тамара Яковлевна довольно долго – даже кружок любопытствующих собрался, – рассказывала, что знает она, конечно, эту Катю: маленькая еще тут бегала, родители ее каждое лето привозили, приличные люди,

мать, кажется, Ниной звали. Бабушку тоже иногда привозили, совсем старенькую, бабушка у них в маразме была, сбегала иногда – ну ни дать ни взять второй ребенок – и бродила по улицам, бормотала что-то себе под нос.

Те из дачников, кто постарше, тоже начали постепенно вспоминать, оживились. Старичок Волопас рассказал, как эта бабушка к нему забрела и в сарай залезла, гремела там, а он не знал, как ее выпроводить. А кто-то вспомнил, что Катя и в детстве вечно на речке сидела – мать то ее искать бегала, то бабушку. Вьюрковцы даже робко заулыбались, погрузившись в общие дачные воспоминания, где не было ни зверя, ни обглоданных костей.

Все это успокаивало – значит, не неведомое существо жило тут столько лет под видом рыбачки Кати, а обычный человек, с семьей и детством, – все ясно как божий день, и никаких зловещих тайн тут до всем известных событий не было...

– А сейчас семья вся эта – она где? – поинтересовалась Клавдия Ильинична.

– Вам видней, вы ж у нас председатель.

– Тут знаете сколько участков? Мне бы платежи собрать, да перечислить, да акты все эти...

– Ну, значит, платила она исправно, – пожала плечами Тамара Яковлевна под нервное, но одобрительное хихиканье.

– До недавнего времени тут все исправно было, – ледяным тоном ответила Клавдия Ильинична. – Так с семьей она когда в последний раз приезжала?

– Ну, лет... семь назад, может, больше.

– А потом одна?

– Я ей тоже, знаете ли, нянькой не нанималась, – начала раздражаться Тамара Яковлевна. – Ну, не ездили они потом несколько лет. А потом да, одна приезжать стала.

Тут из-за дома послышался крик Петухова: он звал всех срочно на что-то посмотреть.

Петухов стоял возле калитки, ведущей в лес. Он осторожно открыл и снова захлопнул ее, чтобы продемонстрировать – несмотря на строгий приказ Клавдии Ильиничны, калитка не была заперта. Замок висел отдельно, на столбике. И трава оказалась примята –

калиткой явно пользовались. Петухов еще раз толкнул ее, и все усталились на узкую тропинку среди иван-да-марьи и таволги. Конечно, такие тропинки вели ко всем участкам, граничившим с лесом: их вытаптывали годами, и у многих заборов они не заросли до сих пор, но все в сочетании...

Юки заметила что-то у края тропинки, под ближней березой. Что-то небольшое, синее и явно пластмассовое. Прежде чем взрослые успели сообразить, что происходит, Юки на цыпочках, высоко вскидывая колени, выбежала в лес.

– Стоять! – рявкнул Пашка, и ему тревожным лаем ответила Найда.

Юки схватила непонятный предмет и пулей влетела обратно на участок. Петухов захлопнул калитку у нее за спиной и напустился было на глупую девчонку, но тут же растерянно замолчал, разглядев то, что она держала в руках.

Это было обыкновенное пластмассовое ведерко, почти до краев наполненное черникой, ежевикой, черноплодной рябиной и еще какими-то ягодами – свежими, разве что чуть-чуть подмякшими. И все они были примерно одного цвета, только оттенки различались – от сине-черного до смоляного.

– Это ж вороний глаз, – Юки выцепила из ведра крупную гляцевую ягоду с уцелевшим околоцветником. – Он ядовитый...

Дачники испуганно зашептались: ходила в лес, ягоду собирала, еще и ядовитую, оставила у калитки – приманивает, что ли, кого... И где все-таки ее семья, и что она тут делала каждое лето вместо того, чтобы на море загорать или работать, как все? Зачем она сидела целыми днями на реке с удочками – взрослая молодая женщина, не мужичок-рыболов, который водку за пазуху и «на леща», ей-то это зачем? И как всегда в подобные моменты, когда страх и замешательство одолевали вьюрковцев, всплыл из глубин забвения покойный Кожебаткин. Вот тоже был просто странноватый сосед, а потом...

– А тело-то, – вспомнил вдруг Петухов. – Тело его как, нашли?

Дачники задумались, кто-то покачал головой.

– Мы когда потом приходили, его не было уже, – лягнула Юки.

– Вы? С кем это? – переспросили сразу несколько голосов.

– С Катей... – Юки чувствовала себя так, будто ее вызвали к доске в самый неподходящий момент. Она бросила отчаянный взгляд на Пашку, ожидая хоть какой-то подсказки, но у того вид был не менее беспомощный. – Нет, мы... мы не вместе, я потом прибежала, когда все разошлись уже, а Катя... она оттуда вышла как раз. А потом мы обратно, посмотреть... И Никита, он с нами был!

– То есть она там последняя оставалась? – нахмурился Петухов.

– Так и Павлов тоже! Он с ней...

– Ты вот прямо видела, что они вышли вместе?

– Я не знаю... Вы у Никиты спросите, он расскажет!

– Он-то расскажет... – недоверчиво покачала головой председательша.

У Юки похолодел кончик носа – по нему она всегда определяла, что бледнеет. На самом деле она видела через забор, как Никита стоит под фонарем один. А Катя вышла к нему потом... и еще пускать Юки на кожебаткинский участок не хотела – типа она маленькая, типа ей нельзя на такое смотреть.

Юки поставила ведро на землю и поспешно спряталась за чужими спинами. Увлеченные обсуждением нового подозрительного факта дачники не обратили на это внимания – иногда все-таки полезно быть маленькой и незаметной. Юки пробралась к Пашке и торопливо зашептала:

– Пойдем ее поищем, а? Паш, ну пожалуйста. Она же на речке, а? Ну пойдем, ну Паш.

Слезы проступили у нее на глазах прозрачными выпуклыми линзами. Пашка забормотал свое обычное – куда, зачем, без тебя разберутся. Юки замотала головой, рванулась в сторону, Пашка ухватил ее за локоть, чтобы не убежала опять черт знает куда, показал пару красноречивых жестов, а потом они вдвоем потихоньку вышли на улицу.

За первым же поворотом они наткнулись на Лешу-нельзя. Про него в суматохе, по-видимому, забыли, другие дети сидели по домам, и Леша развлекал себя сам как мог. Он запустил в Юки какой-то извивающейся штуковиной, оказавшейся отброшенным хвостом ящерицы, и звонко крикнул:

– А у меня мамку съели!

Пашка вдруг схватил с земли березовую ветку и погнался за ним, но Леша ловко ускакал по канавам, хохоча и ругая Пашку недетскими словами.

– И вас съедят! – крикнул он напоследок. – Всех съедят!

Речная вода, как всегда, в жару пахла арбузом. Над ней оранжевыми и синими трескучими полосками носились стрекозы. Иногда по поверхности шлепала мощным телом одинокая рыбина. Юки вспомнила, как Катя рассказывала ей о видах рыб, которые тут водятся: с удовольствием и знанием дела разделявая на кухонной доске заляпанное кровью и слизью чешуйчатое тельце. Показывала – вот жабры, вот молоки, вот плавательный пузырь, отделяя их легко и умело. Иногда уже выпотрошенная рыба вдруг принималась биться, и Юки морщилась от болезненной жалости к бессмысленному холодному существу.

С дорожной насыпи тянулись вниз тропинки к удобным рыболовным местам. Возможно, они еще не заросли по той же причине, что и дорожка в лесу за Катиным участком: везде она ходила, сновала по своим тайным делам. Катя что-то знала. Юки поняла это еще тогда, когда они избавлялись вдвоем от безногой девочки с жабым ртом. Юки и слово то странное вдруг вспомнила, которым Катя эту девочку назвала: «игоша». Тогда Юки решила, что Катя ведьма. Теперь по всему выходило, что кто-то похуже. Если только ее обглоданные кости не лежали вместе с другими там, в сарае...

– Катя! – позвала Юки.

– Да тихо ты! Перебудишь еще... этих.

– Тех, кто зовет?

– Ну.

– А ты их видел?

– Еще чего.

Точно невидимый ледяной палец снова тронул Юки за нос. Про тех, кто зовет с реки, никто из вьюрковцев особо не распространялся. Вроде здесь какие-то голоса слышали. И фигуры какие-то, тени чудились осмелившимся выйти на берег – «блзнились», как говорила Тамара Яковлевна. Голоса звали, окликали по имени. И вроде бы говорили о каких-то очень личных вещах, известных только тому, кого они окликали. Это если Юки все поняла правильно – о зовущих с реки

почти ничего не рассказывали, не поминали чертей, по выражению той же Тамары Яковлевны.

А Катя сидела тут целыми днями. С удочками, спиннингом, расставляла по кустам донки-закидушки. Говорила, что либо плеер слушает, либо в берушах сидит. А потом раз обмолвилась в разговоре с Юки, что эти, которые теперь в Сушке живут, не такие уж и страшные. Обмолвилась и тут же сама себя перебила, сменила тему, на вопросы не отвечала. Она же взрослая, ей можно.

Катя, много лет жившая во Вьюрках неприметной отшельницей, наверняка знала всех по именам. И тайные вещи о каждом могла разведать, если бы захотела. На нее же никто не обращал внимания. И ходила она почти бесшумно, говорила – рыбацкая привычка, чтобы добычу не спугнуть.

Далась ей эта рыба, и мужики на Сушке столько не сидели, сколько она...

– Ка-атя!

Они почти дошли до забора, за которым начиналось поле с недостижимым ныне коттеджным поселком на горизонте. Уже видно было ворота – где-то здесь нашли пару недель назад сложенную аккуратной стопкой одежду бесследно исчезнувшего Валерыча. Тропка раздваивалась, и вторая ее половина уходила вниз, к темным сырým мосткам, с которых когда-то сигала в воду вьюрковская молодежь. Раньше здесь повсюду валялся мусор – бутылки, пакеты, пачки сигаретные – и стоял прогоревший мангал. Пашка вспомнил, как давным-давно, месяцев семь назад, они с приятелями жарили на этом мангале шашлыки. И запивали кисловатым пивом, и прыгали с мостков «бомбочкой» в теплую мутную воду.

Теперь ни мангала, ни мусора, ни других следов человеческого отдыха нигде не было, будто кто-то провел субботник. Чистенько, зелено, осока шуршит.

Юки рванулась вниз, но Пашка схватил ее за руку. И отсюда было видно, что на мостках пусто.

– Кать! Кать-ка!

И что-то шумно плеснулось в нескольких метрах от берега: выметнулись из зелено-коричневой глади не то щупальца, не то ветки – гибкие отростки, которые мелькнули на фоне солнечных бликов и

тут же втянулись в воду. Пашка ухватил Юки покрепче, и они побежали обратно, стараясь держаться ближе к кустам и заборам.

– Ты видел?

– Щука бесится.

– Какая еще... – Юки даже притормозила от изумления. – Ты видел?!

– Я тебя сейчас тут оставлю, и хоть топись!

Юки знала, что не оставит, поэтому обернулась и в последний раз, отчаянно выкрикнула:

– Ка-а-а-тя!

Через несколько секунд Пашка уже втаскивал Юки на дорожную насыпь. Река тихонько плескалась внизу, пахло арбузом, зудели комары.

Катя ушла не на рыбалку.

Этой ночью Вьюрки не спали. В темноте мелькали фонарики, плясали отблески настоящего, живого огня, лаяли перевозбужденные и растерянные собаки – Найда и пара цепных дворняг. Дачники устроили охоту на зверя. Поселок по совету Петухова разделили на квадраты, и каждая группа обыскивала свою территорию.

Юки бегала по гудящим Вьюркам, стараясь держаться подальше от безлюдных закоулков, путалась у охотников под ногами, потом приносила новости: пенсионер Волопас предлагает отпугивать зверя ультразвуком, обещал сделать из подручных материалов специальное устройство, но только через пару дней. Тамара Яковлевна не пускает охотников на свой участок, говорит, вы мне кошек передавите, с собаками вашими, а кошки вопят и кидаются на людей – назревает скандал. Максим Усов бродит один, с обрезом – очень страшный, а главное, откуда у него обрез? Андрей из седьмой дачи, приятель Пашки и Никиты, идти с Юки отказался и велел передать, чтобы все они тоже выходили на охоту, потому что это сейчас нужно для общего выживания.

– Для выживания дачников как вида, – задумчиво сказал Пашка.

Они с Никитой с вечера сидели в даче и пили. Точнее, когда Пашка и Юки, возвращаясь с реки, заглянули к Никите – тот уже пил. Пашке ничего не оставалось, как присоединиться.

Никита, поставивший, очевидно, перед собой цель прикончить за ночь все оставшиеся бутылки, говорил и говорил. Сначала – что не может это быть Катя. Да, всякое уже тут случилось, и ни логики никакой, ни справедливости, но не могла Катя вот так озвереть в одночасье. Она же три дня назад, как раз накануне того, как эту Лиду сожрали, к нему заходила, и если бы в ней что-то изменилось, он бы заметил, точно заметил. Может, она и странноватая, может, и впрямь, как Пашка говорит, у нее не все дома, но...

– А я не говорил, я только говорил, что говорят... – запротестовал Пашка и умолк, запутавшись.

Вообще то, что Никита к Кате неровно дышит, было всем уже известно. Как в кино, думала Юки, робко, но горячо Никите сочувствуя: она полюбила его – он оказался вампиром. Он полюбил ее – она оказалась оборотнем-людоедом. Только совсем не романтично получается, и не красиво ни капельки.

А в пропитанной густым спиртным духом темноте у Никиты уже рождалась новая версия: может, Катя только держала этого зверя у себя, приютила, пожалела. Черт его знает, какой зверь на самом деле, вдруг он на вид милый и безобидный как котенок. А он свою благодетельницу и сожрал, вырвавшись на свободу.

– Может, она и ягоды для него собирала, – подал голос Пашка. – Пыталась... ну... вегетарианцем сделать.

– Какие ягоды? – не понял Никита.

Юки рассказала про открытую калитку и ведро со странной смесью черных ягод – съедобных и ядовитых.

– Зачем она вообще в лес ходила... – снова затосковал Никита.

– Знала что-то, – убежденно закивала Юки.

– Про что?

– Про все!

Только об одном Никита даже сейчас, даже в дружеской компании ни словом не обмолвился – что Катя пришла к нему три дня назад не просто так, а с какой-то ахинеей: я, мол, знаю, что происходит, мне нужен свидетель... И все эти три дня он высматривал ее из-за забора, прикидывал, как бы подойти ненавязчиво, извиниться, отшутиться. Но так и не подошел. И не потому, что считал это ниже своего достоинства или стеснялся – он боялся, что она действительно знает. Какой-то еле уловимой иномирной жутью повеяло на него тогда, когда

она стояла на пороге с этими рыжими цветами мертвых в руках. А может, это был просто сырой от дождя сквозняк. Сквозняк и бесшумная зарница, пробежавшая по пасмурному небу и отразившаяся в ее глазах.

– Ведьма, – сказал вдруг Пашка. Юки даже вздрогнула – она как раз думала о том же самом.

– Сам ты ведьм... ведьмедь, – Никита, пошатываясь, встал. – А я, если меня извинят дамы...

– Она нас всех и заколдовала, – яростно жестикулируя, доказывал его удаляющейся спине Пашка. – Нет, а правда. Вот кто она вообще? Это все она! Ты хоть фамилию ее знаешь?

Одно из главных правил для пьяного человека летней ночью – не смотреть на звезды, чтобы не рухнуть от головокружения на поверхность родной планеты. Но больше смотреть было некуда. Никита нашел с детства знакомый ковш Большой Медведицы, лихо отплясывавший сейчас свою звездную джигу. Сам он тоже опасно качнулся, но в последний момент поймал равновесие и стал, не выпуская из рук включенного фонарика, застегивать джинсы. Луч света метался в воздухе, выхватывая край крыши, ветку, куст шиповника...

И бесформенную темную массу, заворочавшуюся в этом кусте.

Фонарик светил прямо на зверя, но все равно совершенно невозможно было понять, где у него лапы, где голова. Крупное тело, действительно напоминавшее черный мешок, о котором твердила бабушка Усовых, было покрыто то ли чешуей, то ли грубой кожей. Никита оцепенел от страха, но остался на месте – он упорно всматривался, пытаясь разобрать в бесформенных очертаниях хоть что-нибудь. Что-нибудь знакомое.

В темной пульсирующей массе, похожей на колоссальных размеров пиявку, – точно, пиявка, вот на что это существо походило хотя бы отдаленно – вспыхнули двумя красными точками глаза. А потом распахнулась круглая пасть с многорядьем зубов, и зверь выпрыгнул из засады.

Никита упал в траву и тут же, не дожидаясь, пока его начнут пожирать заживо, заорал. Вспыхнул свет на крыльце, оглушительно хлопнула дверь, раздался новый вопль, топот, треск, полетели во все

стороны комья грязи и ветки, и над Никитой склонилось непонятное расплывчатое лицо.

– Павлов? Живой? – спросило лицо голосом ушедшего на охоту Андрея.

Рядом сидел на земле и тяжело дышал Пашка. Он жмурился от боли и держался за ногу, измочаленная штанина набухла темным. Пашка выскочил из дачи на крик Никиты и прыгнул на зверя с вечной своей отверткой. И, хоть тварь и успела прихватить его за ногу, да так, будто стая собак разом вцепилась, Пашка тоже успел пару раз ткнуть отверткой в кожистый черный бок. Все это Никита узнал буквально за пару секунд, потому что Пашка говорил безостановочно. И показывал ему то пострадавшую ногу, то руку, заляпанную чем-то вроде болотной жижи – брызнувшей, по его утверждению, из ран на теле зверя. Вокруг бегала и встревала с дополнениями Юки, и Андрей о чем-то настойчиво спрашивал, и другие голоса слышались из темноты. Вообще на участке образовалось неизвестно откуда довольно много людей. Заметив мелькнувший в лучах фонарей гороподобный силуэт Усова, Никита наконец сообразил, что это доблестные охотники явились на шум.

Никита встал и побрел прочь от них, от азартных выкриков, от вони, которую распространяла оставшаяся на траве и на Пашке жижа. Его звали, кричали что-то вслед. Невесть как затесавшаяся в эту взбудораженную толпу старушка в платке с яркими цыганскими розами повисла у него на руке:

– Подождите, куда же вы, нельзя же так...

– Да идите вы к лешему!

Никита аккуратно стряхнул с себя бабулю, с трудом вписался в калитку и захлопнул ее за собой.

Огни, крики и лай остались позади. Поскальзываясь и падая в жгучие объятия крапивы, Никита спустился к реке. Выбрался в конце концов на утоптанную площадку у самой воды – чье-то рыболовное место. Да что там – известно чье. Никита сел на сухую утрамбованную глину и уставился на черную гладь. Уже светало, и у реки, где деревья не заслоняли небо, все было видно довольно отчетливо. Бессильно клонились к воде ивы, неприступными зубчатыми стенами чернели

вокруг высокие заросли крапивы, над траурной лентой реки смутно белел густой туман.

Потом Никита заснул, свесив голову на грудь. Ему снились полузабытая снежная зима и покойный дедушка, тоже полузабытый. Сам Никита был маленький, упакованный в жаркую кроличью шубу, а дедушка уговаривал его съехать вниз с железной детской горки. Невысокая такая горка, покрытая соблазнительной наледью, лететь с которой – одно удовольствие. И дедушка, улыбаясь, протягивал снизу руки, уговаривал: это же весело, обязательно нужно съехать, а то вырастешь трусишкой, и кому ты такой нужен будешь... Но Никита почему-то боялся, задыхался от страха в своей мучительно жаркой шубке.

Проснулся он очень вовремя – ноги уже сползли в воду. Никита поспешно взобрался обратно на вытопанную площадку. Совсем рассвело, стали различимы и деревья на том берегу, и круги от движения рыбьих тел под гладкой поверхностью.

У самого берега, там, где оцетинился зелеными остриями стрелолист, вода вдруг забурлила. И Никита увидел, как из ее мутной толщи медленно поднимается темный округлый предмет. Голова. Потом возникли плечи, а потом поднялось все тело, выросла из воды женская фигура, обтянутая мокрой белой тканью, напоминавшей о чем-то не то подвенечном, не то погребальном. И остолбеневший Никита заметил несколько маленьких круглых ранок у нее на боку, отороченных расплывающейся алой каймой.

Это Пашка тогда, отверткой...

Фигура шагнула на берег, склонилась к нему, отвела в сторону волосы, в которых запуталась ряска. Вода лилась с нее ручьем. Лицо было ровного белого цвета, и только глаза, неподвижно уставившиеся на Никиту, темнели двумя провалами.

– Катя... – почти беззвучно просипел он, вжимаясь спиной в берег.

Кто вышел из леса

Вьюрки располагались на ближних подступах к городу, и земля здесь была дорогая. Из года в год дачники держали оборону от пришлых захватчиков с деньгами, которые застроят все коттеджами, понаставят высоченных заборов, вырубят лес, не оставят и следа от настоящих Вьюрков – деревянных, яблонево-тюлевых, с окнами в мелкий переплет. Прорвались кое-где Бероевы, Усовы, но основной дачный контингент ревностно оберегал свои родовые имения. Соседей, подумывавших о продаже пустующего дома, отговаривали всей улицей.

Может, поэтому, а может, и просто выступая в роли законсервированного недвижимого капитала, стояли на дорогой вьюрковской земле давно заброшенные дачи. Заборы медленно заваливались вместе с запертыми на ржавые замки калитками, а за ними потихоньку, без южного буйства, зато по всем фронтам, побеждала природа. Бузина и сирень сплетались в густую сеть, в которую беззвучно падали зреющие теперь не для варенья и компотов, а для самих себя яблоки. По обомшелым крышам сновали белки, а на чердаках гнездились вяхири, пугливые и жирные дикие голуби.

Взрослые сюда не заглядывали, то ли уважая чужую собственность, то ли опасаясь разросшейся крапивы. Зато дети непременно находили лазейки в заборах и устремлялись на поиски ягод и приключений. Здесь всегда была самая крупная малина, самые сладкие сливы, а в покосившихся домах, если туда удавалось проникнуть, устраивались «штаб-квартиры».

Много лет назад в заброшенной даче № 13 на берегу реки Сушки несовершеннолетний Никита Павлов играл с приятелями во «вкладыши», учился курить и с интересом слушал байки о неуловимых зимних взломщиках, которые обворовывают промерзшие поселки. Тогда тринадцатая дача была куда целее. Пол еще не провалился, на стенах не росли гроздьями бледные древесные грибы, не пахло отовсюду сырой гнилью. И мыши еще помнили людей и не возились так нагло перед самым носом. И, что самое главное, Никита не лежал тогда этим самым носом в грязи, на земляном полу, со

связанными руками. Ноги, как он выяснил несколько секунд спустя, тоже были довольно неумело, но туго обмотаны каким-то проводом.

То, что он тогда, на реке, просто вырубился, как нервическая барышня, было позорно и достойно всяческого порицания. Но, пристыдив себя за неуместный обморок, Никита чуть не грохнулся в него вторично. По крайней мере, прочувствовал весь механизм потери сознания заново – когда, приняв кое-как сидячее положение, увидел в дверном проеме знакомую фигуру.

Катя была все в том же странном, еще не высохшем платье – не то погребальном, не то подвенечном, – и кровь расплывалась по белой ткани вокруг маленьких круглых ранок. Надежд на то, что Никите все привиделось в алкогольном бреду, не осталось.

Он помолчал, а потом в беспомощной попытке перевести все обратно в понятную, будничную, нормальную плоскость спросил:

– Как же ты меня дотащила?

– А мне не впервой, – пожала плечами Катя. – Я как-то папу до дачи дотащила, от самых ворот. Маленькая была. А он пьяный и с рюкзаком. То рюкзак тащила, то папу.

Она даже не улыбнулась. И Никите показалось, что глаза ее ничего не выражают – как тогда на реке, два темных провала. Он хотел уже спросить, где сейчас этот папа, почему не ездит больше во Вьюрки, но тут Катя перехватила инициативу. Она потребовала рассказать, что творится в поселке.

Никита, тщательно подбирая слова, рассказал про зверя, про съеденных им, про объявленную охоту. О том, что личность людоеда дачники уже установили, он сначала говорить не хотел, но Катя напирала, не давала увести разговор в сторону, и пришлось выложить все: про сарай у нее на участке, про обглоданные кости. Катя хмурилась, не сводя с Никиты непроницаемого взгляда. Потом молча кивнула и ушла.

Пока ее не было, Никита отчаянно пытался освободиться, но только падал на раскисший земляной пол снова и снова, как сломанная неваляшка. Ушиб нос, ободрал кожу на связанных руках. Мутная похмельная голова от всех этих телодвижений заболела еще сильнее, и в конце концов Никита обреченно затих. Больше всего на свете ему

сейчас хотелось – нет, не спастись от кошмарной соседки, а таблетку анальгина и спать.

Потом Катя вернулась. И Никита, к ужасу своему, заметил на ее белом платье новые пятна крови. И на руках тоже густели темно-алые потеки. Катя перехватила его взгляд, небрежно вытерла руки о подол и подошла к разбитому окну. Выглянула на улицу и тут же отпрянула, вжалась в стену сбоку. Потом снова осторожно высунулась и оглядела заросший участок. Она сейчас и впрямь напоминала зверя, высовывающего свой чуткий нос из норы.

«Нора, – подумал Никита, – точно – это же нора. Может, у Кати тоже есть система ходов под поселком, как у мертвого Кожебаткина. Логова для сна, укрытия, подкопы к охотничьим угодьям, кладовые, которые она набивает мясом про запас. Возможно, даже живым еще мясом, чтобы подольше не портилось. Та одинокая богомолка Лида – она же тихо пропала, бесследно. Может, Катя ее живую утащила – как папеньку своего с рюкзаком, ей же не впервой, – и заперла в своей кладовке. Лида сидела связанная в темноте, на земляном полу, и ждала, пока зверь проголодается. Когда заключенные в тайгу из лагеря бегут – они берут с собой кого-нибудь бесполезного, но гладенького. «Консервы» это называется, живые консервы. Вот и у нее небось по таким кладовым пара-тройка консервов раскидана. С Усовой она не рассчитала – шумная баба, семейная. Да еще и перчаткой, в дерьме испачканной, Катя побрезговала, отложила грязный кусочек в сторону. Выдала себя, не по-звериному это.

А с одинокими дачниками – пока заметят, что соседа не видать давно, пока забеспокоятся, времени много пройдет. А консервы хранятся тем временем спокойненько в темноте и прохладе. На земляном полу, в тринадцатой даче, надежно обездвиженные...»

В желудке громко забурлило, рванулась вверх по пищеводу застоявшаяся отрыжка, и Никиту вырвало. Сразу стало легче, только кислый перегар ударил в нос. Зато вся эта лихорадочная, бредовая чехарда в голове поутихла.

Катя покосилась на него со сдержанным недовольством, как на нагадившего кота, и в ее взгляде он прочел извечное «опять нажрался, Павлов». Вот незадача, и этот кусок мяса испачкался, подумал Никита и неожиданно отрывисто, совершенно по-гопнически заржал.

– Никуда ты не денешься, – сказал он, когда наконец отсмеялся. – Тебя весь поселок с собаками ищет.

Катя перегнулась через подоконник, с трудом оторвала несколько листьев лопуха, росшего прямо из фундамента, подошла к Никите и бросила листья поверх мерзкой лужицы. Опустилась на колени рядом, заглянула ему в глаза – да, снова, как тогда, на реке, – и тихо спросила:

– Ты тоже думаешь, что это я?

Накануне ночью в ее сон снова вторглось острое, почти болезненное ощущение чужого присутствия. В саду за окном тихо, но отчетливо шуршало, будто кто-то там ходил. Эти шорохи Катя слышала уже не в первый раз, но они были не такими громкими, чтобы окончательно ее разбудить. Она лишь поднималась к границе сна и яви и скользила по ней, а под сомкнутыми веками плыли темные пятна кустов, очертания спящего дома, приглушенные отсветы уличного фонаря. Запахи земли и влажной зелени щекотали ноздри. Так, должно быть, воспринимал окружающее пространство тот, кто бродил сейчас в саду. И Катя в полусне изо всех сил старалась внушить ему, что он не найдет ничего интересного в этом доме, который отделяла от шуршащей ночи одна только деревянная дверь. Тонкая, застекленная, по-дачному легкомысленная. Кто бы ты ни был, не смотри сюда, уговаривала неведомого гостя Катя, не иди ко мне. На что я тебе?

И дом действительно пропал из поля зрения того, кто шуршал и трещал ветками там, снаружи – только непонятно было, происходит это на самом деле или в Катином растревоженном воображении...

Внезапно что-то небольшое, но увесистое прыгнуло на Катю неведомо откуда, стиснуло грудную клетку, разом выдавив из легких весь воздух. Мгновенно проснувшись, Катя попыталась открыть глаза, но не смогла. Руки и ноги тоже не слушались, хотя она прекрасно их чувствовала. Это было дико и жутко – трепыхаться в панике внутри своего собственного, теплого и расслабленного сном тела, видя лишь багровые вспышки под веками. А то, что сидело плотным комом на груди, продолжало давить на ребра, не давало вздохнуть...

И в памяти смутно мелькнуло, что было, было уже такое. Давно. Незадолго до смерти бабушки Серафимы. Тогда она тоже растерялась и не сразу вспомнила, что полагается делать.

Катя шевельнула губами и беззвучно прошептала:

– К добру или к худу?..

Тяжесть исчезла. Катя рывком приподнялась в постели, жадно глотая воздух. Какие-то голубоватые отсветы плясали перед глазами, в ушах звенело. Катя зажмурилась, пытаясь восстановить дыхание и унять саднящую боль в груди.

Через несколько секунд она поняла, что звенит не в ушах. Это пел свою песенку давным-давно забытый на зарядке мобильный телефон. И отсветы были настоящие – от его дисплея.

Выйдя из оцепенения, Катя неуверенно положила на ладонь жужжащий гаджет. Номер, с которого звонили, не высвечивался, только два кружка – красный и зеленый. «Принять» – «отклонить». Это казалось невозможным, внушало благоговейный ужас, точно не телефонный дисплей зажегся, а вспыхнул непостижимым образом огонь на жертвеннике древнего капища...

Катя наконец дотронулась до зеленого кружка и поднесла телефон к уху. Из трубки раздалось шипение, как из радиоприемника, который упорно слушал оставивший в лесу свой человеческий облик Витек. Только на этот раз шипение не было ровным, оно скорее походило на шум моря, то усиливалось, то стихало, и из него выныривали какие-то новые звуки.

Звуки складывались в слова. Шелестящий бесполой голос повторял, резко меняя тембр и громкость:

– К ху-уду... И-дут... Бе-ги... Пря-ячься...

Шипение оборвалось, телефон погас и умер прямо у нее в руках. Катя отшвырнула его, точно огромного дохлого жука. А потом выбралась из-под одеяла, нашарила под кроватью тапки и, повинувшись приказу, побежала неизвестно куда и неизвестно от кого. В одной ночной рубашке – белой, старенькой, кружевной, в которую еще в детстве наряжалась, играя в принцессу.

Скатившись с крыльца, она налетела на что-то большое, резиново-упругое. Точно старую, размягченную уже ударами боксерскую грушу задела, только груша эта еще и шевелилась, пахла болотом и мясной гнилью. Катя отскочила в сторону, тяжелые бутоны пионов хлестнули ее по голым ногам. Бесформенная масса, очертания которой привыкшие к темноте глаза уже различали, глухо заворчала и с

неожиданной стремительной легкостью втянулась в кусты. А Катя, выскочив обратно на дорожку, побежала к калитке.

Она знала, где можно спрятаться. Там, где все изучено и исхожено за долгие годы, все коряги посчитаны, а глубина замерена. Там, где у нее есть хотя бы один друг. На реке.

– На реке тебя не было. Юлька с Пашкой искали.

– Меня спрятали.

Катя стояла у окна, спиной к Никите, и иногда осторожно выглядывала на улицу.

– Кто спрятал?

– Ромочка.

Имя показалось Никите знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто это. Катя не оставила ему времени на размышления, передернула плечами.

– Значит, они все на меня думают, да? Что я – зверь?

– Все. А кто тебе... звонил?

Катя обернулась и устало посмотрела на Никиту.

– Не знаю. И кто тогда у крыльца ползал – тоже не знаю.

– А вот я думаю, что у крыльца-то как раз никого и не было. Не отпустил бы он тебя так просто... А это откуда? – Никита кивнул на алые прорехи у нее на рубашке.

Катя осторожно дотронулась до вспухшей круглой ранки и снова отвернулась.

– Ромочкин гонорар. Они кровь живую любят, вот и он теперь тоже.

Ледяная струйка пота скользнула у Никиты вдоль позвоночника, оставив длинную нить липкого холода.

– Кто – они?..

– Те, кто зовет с реки.

«Я знаю, что происходит», – выплыло снова из памяти. И отблеск бледного пламени в глазах, цвета которых он так до сих пор и не запомнил. Соседка напротив, чудаковатая рыбачка, хорошая девочка Катя...

Ему почему-то опять стало смешно. Век он пока не прожил и ничему особо не учился, но дураком помрет точно.

– Они меня до сих пор ищут?

– Почему я знаю. Я ушел.

– Говорил кому-ни...

– Нет, – раздраженно перебил Никита. – Никому я ничего не говорил. Ешь спокойно, не обляпайся.

Катя замерла на секунду у окна, а потом внезапно опустилась на четвереньки и поползла к Никите. И это не показалось ему ни забавным, ни сексуально интригующим, хотя какие еще чувства может вызвать стремительно ползущая к тебе женщина в одной ночной рубашке. На самом деле это было страшно – она почти бежала на четвереньках, ловко и без видимых усилий. Как настоящий зверь.

Никита отпрянул и не сразу почувствовал, что она разматывает шнур, которым были скручены его ноги. Бельевую веревку с запястий она тоже попыталась снять, но узел оказался слишком тугим.

– Зубами попробуй, – не удержался Никита, а Катя зажала ему рот холодной ладонью и еле слышно обругала. Потом разрешила веревку осколком стекла – их тут, на земле, много валялось – и указала на окно. Никита послушно направился к нему, но Катя с негодующим шипением дернула его вниз и заставила ползти на четвереньках, чтобы с улицы не было видно. В затекших ногах разливалась свирепая щекотка, и Никита еле дотащился до подоконника.

Вокруг тринадцатой дачи раскинулась небольшая полянка, на краю которой, у зарослей малины и крыжовника, темнел большой старый пень. Никита даже знал, откуда этот пень взялся – несколько лет назад здесь всем миром спиливали дерево экзотической породы «бразильский орех», которое разрослось так, что эти самые орехи громко падали при каждом порыве ветра на соседские крыши. А отсутствующему хозяину участка на собрании постановили дружно врать, что дерево упало само, а соседи еще и услугу ему оказали, убрав рухнувшего великана.

Сейчас на этом пне лежала плоская рыбина со вспоротым брюхом, внутренности были художественно разложены вокруг и щедро политы темной кровью. А справа к этой не самой аппетитной на вид приманке приближался зверь.

Никита впервые видел его отчетливо, при ярком солнечном свете. Среди высокой травы и копошащихся на клевере пчел крупная, обтянутая голой кожей туша смотрелась нелепо и жутко. Зверь действительно напоминал пиявку. Его черное сегментированное тело

передвигалось с помощью многочисленных не то щупалец, не то лап, которые вытягивались, принимали на себя вес и тут же втягивались обратно. Оно подступало к распластанной на пне рыбине неторопливо и осторожно, словно знало или, по крайней мере, подозревало, что все это подстроено специально.

Оторвавшись наконец от завораживающего своей будничной неправдоподобностью зрелища, Никита утянул Катю вниз, под подоконник, и выдохнул ей в ухо:

– Вас что, двое?!

Катя сделала страшные глаза и покрутила пальцем у виска. Со двора послышался хруст. Катя приподняла голову и увидела, как зверь пожирает рыбу, буквально всасывает ее своей круглой многозубой пастью. Уничтожив приманку, он вытянулся в широкую черную ленту и одним движением ввинтился в садовые заросли. Катя перемахнула через подоконник и бросилась за ним, а за ней, в свою очередь, погнался Никита, сам еще не понимавший, что собирается делать – ловить ее или спасти от зверя.

Зверь исчез бесследно. Сколько Катя ни шарила в зарослях, ни приглядывалась к земле и траве, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы, – было решительно непонятно, куда подевалась эта тварь. Катя даже попрыгала на слежавшейся, закисшей почве в надежде обнаружить нору, но только напугала до истошного писка буроватую полевку, прокатившуюся у нее под ногами и тоже скрывающуюся в траве.

Когда Никита разыскал Катю наконец в плодово-ягодных джунглях, вид у нее был такой расстроенный, будто она только что упустила самую крупную в своей жизни рыбу. И именно горестное, полное детской обиды разочарование в Катиных глазах заставило его безоговорочно ей поверить: никакой она не зверь, она совершенно ни при чем – по крайней мере, на этот раз. Он с облегчением улыбнулся и уже готов был обнять ее на радостях, но тут Катя налетела на него разъяренным вихрем. Забыв об охоте, объявленной на нее, и обо всех правилах конспирации, Катя кричала, что это он ее отвлек, и шумел, и спугнул зверя, а она так старалась, устраивая ловушку, единственной рыбой пожертвовала, потому что ей нужно, ей необходимо знать, кто этот зверь, откуда он приходит и почему так подло и разумно, по-человечески ее подставил. Никита мгновенно сменил милость на гнев и заорал, что она не соображает, с чем связалась, и занимается

опасными глупостями, и гнаться за зверем среди бела дня бессмысленно, потому что, во-первых, зверь сожрет ее раньше, чем она выберется с участка, а во-вторых, если она все-таки выберется, то ее поймают дачники или пристрелит шатающийся по поселку Усов. А он, Никита, ко всему этому вообще никаким боком и подышать чисто за компанию не намерен. Тут уже Катя взвилась: пусть валит на все четыре стороны и пусть обязательно расскажет и председателю, и Усову... нет, пусть устроит общее собрание и всем объявит, где искать вьюрковского людоеда – в благодарность за то, что этот людоед его, барышню обморочную, уволок с реки, спасая и от тех, кто в ней обитает, и от настоящего зверя, и...

Они умолкли, сообразив наконец, что их сейчас только глухой не услышит. Вдобавок Катя, похоже, не на шутку обиделась. Вот удивительная женщина, нашла же время и место, чтобы дуться, восхитился Никита и сказал:

– Прости. Я все равно рад, что людей ешь не ты.

– Тут и без меня желающих хватает, – буркнула она.

– Ты про...

– Я про всех. Павлов, тут везде кто-нибудь да живет, – Катя широко развела руками. – В реке, в лесу, в домах. Мы тут с самого начала не одни. Вот о чем я тебе тогда сказать пыталась...

– Ты сказала: я знаю, что происходит, – напомнил Никита.

– Знаю, – кивнула Катя. И, помолчав, предложила: – Показать?

В детстве Никита обожал ходить в лес. Заправлял штанины в резиновые сапоги, надвигал на лоб кепку – это вроде как спасало от клещей – и отправлялся за грибами. Лес вокруг Вьюрков был, конечно, несерьезный, мелкий и замусоренный – совсем как речка Сушка. Но грибам было все равно. В урожайные годы они росли ведьмиными полукружьями даже на стихийных помойках, приподнимая шляпками скомканные пакеты и пивные банки. Больше всего Никита любил ходить в лес ближе к осени, когда пни и целые деревья облепляли рябой шубой опенки. Мясистые, упругие: захватываешь в кулак целый пучок, режешь, а нож поскрипывает в плотной грибной мякоти.

Сколько лет он уже за ними не ходил, но помнилось так ярко – и сладковатый запах только что срезанного гриба, и мгновенный радостный трепет, когда замечаешь в спутанной траве благородно-

коричневую шляпку боровика, и аппликацию из случайно прихваченных листьев на дне грибной корзины. В детстве Никита бродил по лесу часами, и было ему легко и спокойно, лес был другом и щедрым дарителем.

Сейчас он и десяти минут тут не провел, а в горле уже ком стоял от страха. От самой мучительной его разновидности – когда боишься до дрожи, до потных ладоней, но еще не знаешь, чего именно.

Все-таки не зря он тогда, во время охоты на зверя – да что там, даже раньше, – заподозрил, что познакомился с симпатичной соседкой Катей себе на погибель. Может, она и не оказалась людоедом – хотя, если смотреть объективно, это все еще спорный вопрос, – зато завела его в лес, из которого почти никто в нормальном виде не возвращался. Никита даже не понял, как ей удалось так быстро его уговорить, и сам себе удивлялся, перелезая через забор. Спрыгнул на мягкий зеленый мох и замер: вот она, гиблая неисследованная территория, куда ходить было запрещено строго-настрога и куда никто в здравом уме и сам бы не сунулся. А Катя юркнула в орешник и деловито там зашуршала, продираясь вдоль забора к своей калитке.

Когда они добрались до нужного места, Никита поразился тому, насколько кропотливо и изобретательно тут все было обустроено. Если бы обнаружившие эту калитку незапертой дачники пригляделись повнимательней, то заметили бы целую систему знаков вдоль уходившей в лес тропинки: ленточки на ветках, отметины на коре мелом и краской, стрелки, выложенные из камешков, связанные заметным издали пучком стебли таволги и иван-чая... Метки попадались буквально на каждом шагу, и Никита, не выдержав, поинтересовался, как же давно Катя бродит здесь втайне от всех, выстраивая свою систему опознавательных знаков. Катя ответила, что не так уж и давно, и вообще она только приступила к исследованию леса, продвинулась вглубь метров на триста, а дальше метки заканчиваются, и можно забрести черт знает куда.

Это, конечно, внушало оптимизм. Если бы не досадная необходимость изображать перед Катей решительного самца, Никита, пожалуй, сбежал бы от греха подальше. Он и без того, как любой глубоко пьющий человек, страдал от чрезмерной тревожности, а сейчас инстинкт самосохранения буквально выл сиреной.

Во рту совсем пересохло, а вдоль тропинки так обильно и заманчиво краснела никем не собираемая земляника. Никита сорвал одну ягоду, поднес ко рту и уже почти ощутил на языке освежающую кислинку, но подскочившая Катя ударила его по руке:

– Красные нельзя!

– Красные нельзя? – растерянно повторил Никита, с тоской проводив взглядом укатившуюся в траву ягоду.

– Красные ягоды рвать нельзя, только черные. Ветки нельзя ломать, зарубки делать, – Катя говорила быстро и безо всякого выражения, будто повторяла давно затверженный урок. – И огонь нельзя. Я проверяла.

Вот и тому ведерку, наполненному странной смесью черных ягод, съедобных и ядовитых, нашлось объяснение. Она проверяла, значит. Никита молча кивал, надеясь, что вид у него сейчас если и не очень понимающий, то по крайней мере по-хорошему заинтересованный. Ну конечно, это же стандартные правила поведения в лесу, их каждый ребенок знает: не разводить костры, не мусорить, не рубить деревья... не рвать красные ягоды.

– Вот! – Катя неожиданно наставила на него указательный палец. – Тебе опять смешно.

– Да не смешно, ни капельки...

– Ты тогда сказал, что я чокнутая. Я слышала! А я не чокнутая. Понял?

– Понял, – с готовностью подтвердил Никита.

Но у Кати, молчаливой и скрытной Кати, видимо, накопело:

– Я тебе поверила! Другим я как расскажу? Посмеются только или ночью придут, как к Кожебаткину, и все.

– Кать...

– А тебе я поверила! Я так не могу больше, одна. Мне свидетель нужен, чтоб сказал, что тоже их видит, понял?

– Понял.

– Понял, понял... Ни хрена ты не понял.

– Так ты объясни! – теперь уже и Никита рассердился.

Да, он мог бы тогда вести себя повежливее – но и она могла бы выражаться понятнее, в конце-то концов. И ему не пришлось бы сейчас брести по зловещему лесу в компании жаждущего выяснить отношения проводника...

И тут Катя как будто моментально утратила интерес и к нему, и ко всему этому разговору. Она огляделась по сторонам и прищелкнула языком:

– Отлично. Приехали.

Никита тоже посмотрел вокруг. Все выглядело вполне безобидно – тропинка, елки, сосны и березы, заросшая иван-чаем поляна справа, очередная ленточка на ветке прямо над головой. Никита хотел уже спросить у Кати, что не так, но тут неожиданно понял сам.

Они здесь уже проходили. И свернули налево за большой сосной, помеченной меловым крестиком. Но теперь эта сосна опять маячила впереди. А вот здесь Никита сорвал землянику.

Ягода, которую Катя выбила у него из рук, краснела в траве. Никита машинально потянулся за ней, чтобы убедиться, что это та же ягода, но вовремя опомнился. А земляника действительно была та же самая, с объединенным какой-то лесной мелочью бочком.

– Все из-за тебя, ягоду сорвал – вот нас и кружит, – окончательно добила его Катя.

Они опять дошли до большой сосны и опять свернули налево. Здесь когда-то давно проехал не то трактор, не то грузовик, и осталась глубокая колея, затянувшаяся мелкой мокрой травкой. Ступив на нее, Никита вздохнул с облегчением: отличный ориентир, точно не собьешься. Сделал несколько осторожных шагов вперед, опасаясь, как бы земля не ушла вдруг из-под ног...

И тут справа открылась поляна. Шмели, жужжащие над иван-чаем. Молодые елочки. Сосна впереди. Утоптанная тропинка вместо заболоченной колеи под ногами. Никита замер на месте. Творилось что-то совершенно невозможное.

– С тропинки не сходи, – велела Катя. – Покружит и отпустит.

А что, если она и не собиралась ему ничего объяснять, не собиралась ничего показывать, – встревожился Никита. Что, если вовсе не свидетель ей был нужен, а жертва, подарок для кого-то, о ком она так тщательно умалчивала.

Семь раз они сворачивали за одной и той же сосной, помеченной крестиком. И семь раз все вокруг в какой-то момент будто подменяли, мгновенно и неуловимо, так что этот момент никак нельзя было отследить. Ни единого зазора, ни малейшей ряби – ничего, что бросалось бы в глаза, – и Никите уже начало казаться, что дело не в

необъяснимой подмене реальности, а это он сам сходит с ума и подозревает и Катю, и сосну, и елки с иван-чаем в тайном сговоре.

На восьмой раз путь по колее удалось продолжить. Никита все озирался в поисках поляны и ленточки на ветке, но загадочное кружение наконец прекратилось. Ленточки и цветные полосы на коре, впрочем, остались. Катя тщательно с ними сверялась, замирала на месте, присматриваясь и прислушиваясь, показывала какими-то спецназовскими жестами идти дальше и подождать. Если бы не грязная и рваная ночная рубашка, она вполне сошла бы за бывалую таежницу.

Слева от дороги, за густым орешником, хрустнула ветка. Катя предостерегающе подняла руку, и Никита остановился. В кустах снова зашуршало, а затем послышался тяжелый, с голосом, вздох. Катя перескочила через колею, по плотной моховой подушке подошла к кустам, приподняла ветку... Никита забеспокоился – ведь она сама говорила, что с дороги сходить нельзя, – но тут Катя обернулась и поманила его к себе.

За зарослями орешника тянулись ровные ряды елей. Давным-давно их здесь специально высаживали на местах гарей и вырубок, и деревья разрослись, сцепились колючими ветками, перекрыв доступ солнечному свету. Травы и подлеска в этих вечнозеленых сумерках почти не было, поэтому обширный ельник хорошо просматривался во все стороны.

Среди обомшелых стволов бродила, шурша болоньевым плащом, маленькая старушка. Платок с цыганскими розами на голове, в руках – плетеная корзинка. То и дело старушка медленно и неуклюже нагибалась, срывала гриб и бросала в корзину, не глядя. Вот только корзина уже была полна доверху, даже с горкой, и гриб скатывался по этой горке обратно на землю. А старушка, не обращая внимания на потерю добычи, брела к следующему грибу. Их здесь росло великое множество, самых разных. И она собирала все без разбору: белые и мухоморы, сыроежки и бледные поганки.

Никита узнал ее по одежде – это была древняя баба Надя с Вишневой улицы, в плаще и платке с цыганскими розами она ходила и зимой и летом. Смутно вспомнилась прошлая ночь: баба Надя, которую он тогда не признал, повисшая у него на руке и мешавшая уйти с участка. Острая жалость полоснула Никиту по сердцу – ведь он

ее, кажется, толкнул, ругнулся даже... Вся родня бабы Нади осталась в городе, и на собраниях она бубнила всегда плачущим голосом одно и то же: когда уже выезд откроют, когда можно будет уехать, тяжело тут одной, помощи не допросишься... Что старый, что малый – так Никите мать когда-то говорила, – сам не заметишь, как обидишь. Вдруг несчастная баба Надя от той незаметной обиды, от огорчения, что даже непутевый Павлов ее ни в грош не ставит, и ушла в гиблый лес на поиски дороги. И теперь вот блуждает в каких-то ста метрах от родного забора.

Никита шагнул вперед – и присыпанная хвоей пластиковая бутылка громко затрещала под его ногой.

Баба Надя мгновенно развернулась, быстро и странно завертела головой, как будто пытаясь унюхать источник шума. Наконец она уставилась прямо на спрятавшихся в орешнике Катю с Никитой – ее цепкий взгляд буквально кожей чувствовался – и двинулась к ним.

– Стой, – выдохнула Катя Никите в ухо. – Стой, не шевелись.

Баба Надя подошла совсем близко. Теперь Никита видел ее лицо – закаменевшее, чумазое, с опущенными уголками тонких губ. На сизовой щеке сидел раздувшийся комар, но она не сгоняла его, точно и не чувствовала ничего. Никита помнил бабу Надю замшево-дряблой на вид, уютной старушкой, а теперь она казалась неживой, окоченевшей, и тело свое тащила неуклюже, хоть и быстро, ставила ноги как попало, выворачивая ступни. И глаза ее бегали туда-сюда, пустые и круглые, как у птицы.

Она остановилась, уставилась на них в упор и вдруг улыбнулась – точнее, оскалила зубы, широко и хищно. Потом открыла рот и издала неуверенный, тихий звук, что-то среднее между «у» и «а». У Никиты волосы на затылке зашевелились, буквально, и мурашки промчались по всему телу ледяной стайкой. И тут баба Надя внезапно заплакала – вот это у нее получилось очень естественно. Мокрые подслеповатые глаза жалобно заморгали, седые брови поднялись горестным домиком. Никита дернулся, готовый уже броситься к несчастной, обиженной им старушке, помочь, утешить. Но тут баба Надя высунула длинный розовый язык и принялась слизывать бегущие по щекам слезы. И жалеть ее как-то сразу расхотелось.

Продемонстрировав еще пару очень, очень странных гримас, старушка резко развернулась и побрела прочь, все так же неуклюже

переставляя ноги. Когда она отошла достаточно далеко, Катя опустила голову и шумно, с дрожью выдохнула.

– Что с ней? – спросил шепотом Никита, которого тоже трясло.

Катя молча полезла обратно в заросли, и он поспешил за ней.

– Если это обратно придет, скажи там всем, чтоб не пускали, – сказала наконец Катя, когда они забрались в самую гущу орешника.

– Это?.. Она с ума сошла, да? Как Витек?

Катя не ответила.

– Ну помнишь Витька? Тот мужик, который из леса вернулся...

Катя остановилась и покосилась на Никиту через плечо:

– Витек не возвращался. И это тоже не баба Надя.

– К-как это?..

– Это подменыш. Копия, подделка... Видел, как оно рожи корчило? Оно учится. Чтобы на человека было похоже. Тех, кто попадает в лес, забирают. И пытаются копию снять... Прекрати на меня так смотреть, я спиной чувствую.

– Кто забирает?

– Веришь мне теперь?

– Да верю, верю! – почти закричал Никита. – Кто забирает? Нас тоже заберут?!

У него еще в институте было прозвище «Тридцать три несчастья». И, конечно, только его могло так угораздить: полез черт-те куда вместе с не то ведьмой, не то сумасшедшей, а она еще и права в своем безумии оказалась.

– Тихо, – шикнула на него Катя. – Я же сказала – я покажу.

– Не надо показывать! – взмолился Никита. – Расскажи лучше.

– Ты не поверишь.

– Поверю! Катя, вот честное слово, во все поверю – и в инопланетян, и в конец света, и в параллельный мир...

– Это само собой, – кивнула Катя. – А в то, что я расскажу, – не поверишь.

Кусты наконец расступились, и они вышли... в тот же самый ельник. Никита посмотрел назад в надежде, что в закрутившем их на месте орешнике найдется какая-нибудь тропинка.

За его спиной ровными рядами уходили в глубь леса сумрачные елки. Никакого орешника и в помине не было. И никаких меток – тоже.

Они шли уже, наверное, целый час или больше – только вперед, никуда не сворачивая и следя за положением изредка мелькавшего между ветвями солнца. Оба молчали и только отмахивались от настырных комаров.

Ельник не заканчивался – он был везде, насколько хватало глаз. С нижних ветвей, сухих и мертвых, свисали разноцветными лохмотьями лишайники. Толстый слой хвои пружинил под ногами, поглощая все звуки. Жидкий пригородный лесок теперь стал совсем другим – дремучим, зловещим, наполненным странными звуками. Вокруг что-то протяжно скрипело, стонало, насмешливо ухало по-совиному. Если бы среди бесконечных рядов елей возникла вдруг избушка на курьих ножках, Никита бы не сильно удивился.

Но возникло нечто другое.

Сначала какая-то тень мелькнула у покрытой мхом коряги впереди. Никита присмотрелся, но ничего особенного там не заметил. Наверное, птица или белка, подумал он и тут же уловил краем глаза новое движение, правее и ближе. И снова там не обнаружилось ничего, кроме елок и чахлых кустиков малины. У Никиты иногда случалось подобное с сильного переполя: он замечал в поле периферического зрения чьи-то еле заметные шевеления, смутные силуэты, поспешно прячущиеся тени. Первый шаг к настоящим чертям.

Но Катя тоже, кажется, что-то увидела. Она остановилась, пригнулась, точно заприметивший дичь охотник, жестом показала Никите – молчи. Секунду спустя впереди опять мелькнула и тут же спряталась смутная тень. И опять. С каждым разом тень оказывалась все ближе, но при этом ее никак не получалось толком разглядеть. Покажись, со злостью подумал Никита, так-то все пугать умеют, а ты покажись, вот тогда и узнаем, стоит ли тебя бояться.

Высокий и узкий бугор вырос из-под земли ровно там, куда он в этот момент смотрел. Будто гриб в ускоренной съемке. Вытянулся молниеносно и высоко, в человеческий рост – и тут же провалился обратно, взметнув сухие иголки.

От неожиданности Никита остолбенел и не сразу заметил, что делает Катя. А она торопливо стаскивала через голову ночную рубашку. Никита успел заметить треугольное родимое пятно на ее левой ягодице.

Бугор возник метрах в двадцати от них, теперь он стал выше и продержался подольше. Достаточно долго для того, чтобы разглядеть, из чего он состоит: из оплетенной корнями толщи земли, с застрявшими в ней ветками и сухими листьями, и по этой земляной массе волнами пробегает что-то до жути похожее на мышечные сокращения. Бугор мерно покачивал верхней частью, как поднявшая голову змея.

И тут кто-то ударил Никиту по лицу.

– Наизнанку! – Катя трясла его и больно шлепала по щекам. – Павлов! Одежду наизнанку!

Ночная рубашка снова была на ней, только теперь – швами наружу. В критических ситуациях Никита от полного ошаления начинал иногда думать о каких-то совершенно посторонних вещах. Вот и сейчас он успел отрешенно пожалеть о том, что не видел всего процесса переодевания.

– Наизнанку надень! – кричала Катя, но Никита все стоял столбом, и ей самой пришлось содрать с него футболку и вывернуть. Зато в штаны Никита вдруг вцепился, как восточная дева в свою паранджу.

Земляная масса вспучилась прямо перед ними и выросла до верхушек елей. Хвоя и ветки сыпались с нее колючим дождем. Никита отчаянно пытался отыскать в этом колоссе какие-то человекоподобные или хотя бы звериные очертания – но их не было. Просто огромный шевелящийся столб из земли, корней и листьев, воплощение немой безликой жути. Достигнув совершенно невообразимых размеров, столб вдруг начал как будто складываться, как будто... да, он наклонялся к ним.

– Лес честной, царь лесной, – звонко, как пионерскую клятву, затараторила Катя. – От нас, грешных, отворотись...

А Никита неотрывно смотрел на земляного исполина, который, склонившись, словно изучал их сверху, и силился увидеть в переплетенной корнями темной массе лицо. Хотя бы намек на него – пусть даже это окажется самая чудовищная морда из всех возможных. Потому что ощущение пристального взгляда отсутствующих глаз было совершенно невыносимым. И из слежавшейся земли, кажется, уже начало вылепливаться что-то похожее на кривую щель рта и пустые глазницы...

И тут оно перешагнуло через них, засыпав сверху мусором. Перенесло себя, точно гигантская гусеница-землемер, на то основание, в котором Никита уже почти высмотрел голову. Перенесло – и рухнуло вниз, втянулось обратно в сухую лесную почву, подняв тучу пыли.

– Беги! Не оборачивайся! – Катя толкнула Никиту в спину.

И они кинулись прочь, не разбирая дороги, кашляя и спотыкаясь. Пыль набилась в ноздри, в глаза, и уже ничего не было видно – одно буро-зеленое марево...

Каким-то чудом перескочив через множество коряг и кочек, Катя все-таки зацепилась за что-то ногой и упала. Боль полыхнула в ободранных ладонях и коленках. Отплевавшись и проморгавшись, Катя увидела у себя над головой победно, будто флаг, развевающуюся на ветке полоску из полиэтилена. Отмечать изученную часть леса не ленточками, а обрывками магазинных пакетов она начала не так давно – в доме просто закончились бесполезные тряпки.

Они снова были на тропинке, ведущей к забору.

Катя перевернулась на спину и закрыла глаза. Никита плюхнулся рядом, в груди у него свистело и хрипело.

– Видел? – отдышавшись, спросила Катя.

– Видел... Что это было?

– Леший.

Она сказала это так спокойно, уверенно, что Никита сразу понял – не шутит.

Мелькнули в памяти обитатели детских книжек и фильмов: лукавые, но в целом благодушные деды с бородами из мха и грибными шляпками на головах. Старичок-лесовичок, дядюшка Ау, да хоть шагающее дерево с глазами, эдакий необработанный рубанком Буратино – что угодно, только не обвитый корнями земляной столб до самого неба.

И вдруг поверх всего этого расцвели нелепые цыганские розы, похоронной гирляндой сползающие на старенький болоньевый плащ. Баба Надя. Он ведь не просто ругнулся на нее тогда, у калитки, он ее к лешему послал...

Это было так дико – еще не верить, но уже чувствовать себя виноватым. Никита заметался, приподнялся – и у него на локте тут же сомкнулись Катины пальцы:

– Куда?

– Баба Надя... Я же... это я ее к лешему...

– Молодец, – криво усмехнулась Катя. – Только это не баба Надя уже.

– Так помочь же надо! Вдруг она где-то там, настоящая...

– Не поможешь. Не найдешь.

Никита рывком высвободил локоть:

– А ты откуда знаешь?

– Знаю.

Она потянулась напоследок, хрустнула шеей и хотела сесть, но Никита навис сверху и не дал ей подняться:

– Рассказывай.

– Потом. Когда из леса выберемся.

Опять она пыталась увильнуть, ускользнуть, ничего толком не объяснив. Скользкая, как рыба, – небось потому она так их и любит. Не сводя с Никиты внимательного, чуть настороженного взгляда, она снова попыталась встать, но он прижал ее за плечи к земле.

– Нашел время и место, уходить надо!

Тогда Никита осторожно, но решительно положил ладонь ей на горло. Даже сжал немного, почувствовав под рукой хрящи гортани и испуганное биение артерии. Заметил, что кожа у нее сухая и необычно горячая. И глухо повторил:

– Рассказывай.

– Все равно не поверишь.

Никита чуть сильнее надавил на горячее, хрупкое горло.

И Катя наконец сдалась, рассказала быстро и путано эту свою теорию, спрессованную в несколько минут торопливого хриплого бреда. Что с тех пор, как Вьюрки замкнулись сами в себе, здесь появились новые жители – она называла их «соседями». Везде теперь кто-то живет, и, скорее всего, именно эти тайные обитатели превратили садовое товарищество в заколдованное место по проверенной формуле. Ее все по сказкам знают – «ни доехать ни пройти». И, соответственно, не выйти. Сами дачники тоже иногда в кого-то превращаются – не все, только некоторые. Может, они изначально с «соседями» в родне состояли, а может, опыты на них ставят, вот как с подменышами. Зинаида Ивановна с Тамарой Яковлевной, к примеру, ведьмы – травяная и звериная. И не надо так

смотреть, просто это так называется. А Кожебаткин, наверное, оборотнем был, только совсем неопытным, телами поменялся вместо того, чтобы превратиться. Те, кто теперь во Вьюрках и вокруг обитает, тоже сначала все косо-криво делали. Но они учатся. Для того и забирают людей – изучить. И подменышей для того же присылают, чтобы подглядывали да подслушивали. И сейчас наверняка паратройка таких во Вьюрках ошивается – самых удачных, на людей похожих. «Соседи» так всегда делали, они любопытные, а люди для них такие же малопонятные потусторонние твари, как они – для людей. Стороны просто разные.

Вот Витек – он когда из лесу вернулся, был уже не Витьком, а копией. Потому и вел себя странно, и ел все время – так подменыша и распознают: он всегда есть хочет. Витьку-подменышу у людей не понравилось – еще бы, связанным сидеть под присмотром заботливой жены, – и он хотел уйти обратно в лес, а она не пускала. Вот он и выль – то ли томился как пес на цепи, то ли сигналил своим. А что на вьюрковцев от его сигналов тоска смертная напала – это, видимо, побочный эффект. А радио он слушал, потому что «соседи» иногда выходят на связь через бесполезную теперь технику – радио, телевизоры. Тоже учатся. Напрямую-то они с людьми говорить, похоже, не умеют. Кате вон по телефону позвонили. Катю они, получается, выручили, и вообще с ними можно рядом жить, не такие уж они опасные, главное – правила соблюдать. Их в старых поверьях много собрано, только нужно выяснить, какие действенные, какие нет, а это уже только опытным путем. Вот этим Катя втайне ото всех и занималась – изучала новых соседей, как они людей изучают...

– Подожди, – не выдержал Никита. – Ты хоть можешь сказать, кто они? Соседи эти... название у них есть?

– Есть. Лешие, русалки, домовые, кикиморы, игоши, шуликуны...

– Баба-яга, Кощей Бессмертный?

– Нет, эти совсем из другой оперы. Так и знала, что ты не поверишь.

Никита посмотрел на нее с искренним сочувствием:

– Как тебе все это вообще в голову пришло?

– Фольклористику в институте учила, – быстро ответила Катя. – Ты пойми, у меня тоже сначала ничего такого и в мыслях не было. А потом одно совпадение, другое... На то, что в сказках и в быличках

описывают, они совсем не похожи. Но повадки у них те же. И вся система с заговорами, зароками – она же работает, сам видел! Одежду наизнанку вывернули – леший не тронул. И это он нас кружил, сбивал с дороги. Точно как про него рассказывают. Ты сам все видел!

– А по-моему, ты в эту свою систему что-то другое пытаешься втиснуть, что-то совсем... странное. Ну непохожа та штука на лешего!

– И много ты леших раньше видел? И кстати, если мы сейчас отсюда не уйдем, эта штука за нами вернется.

Пока они пробирались по тропинке обратно к забору, солнце спряталось, сгустился ползучий туман, совсем для этих мест нехарактерный. Никита тихо бурчал, что все-таки нашествие мутировавших леших и русалок – это последний по правдоподобности вариант объяснения вьюрковских событий. Катя, высматривая в тумане свои ленточки и стрелочки, возражала, что никакие они не мутировавшие, они такими всегда и были, просто когда люди поколениями передают из уст в уста рассказы о чем-то необычном, они вырождаются в классическое «а к сестре матери бабкиного кума огненный змей в печную трубу летал». Полностью отрицать Катину теорию Никита не мог – он все-таки видел то, что видел, – но был уверен, что выводы она сделала неправильные. Домовые, которые в деревенских байках душат людей по ночам, не звонят потом по мобильному, и, вообще, это удушье – давно изученное явление, известное как сонный паралич. Водяные и русалки не прячут людей у себя под водой в обмен на порцию крови. Это и фольклорным представлениям противоречит, и здравому смыслу, и вообще лучше вернуться к привычным инопланетянам, злодеям-ученым из секретных НИИ или просто неведомым монстрам из тьмы...

Тут тьма и наступила. Точнее, они сами в нее вышли: только что стоял пасмурный, туманный, но все-таки день, а в следующее мгновение туман исчез и свет как будто выключили. Вокруг установилась ясная, безветренная летняя ночь, впереди виднелись очертания забора на фоне отсветов уличных фонарей. Воздух остыл, причем мгновенно – как будто окатили с неба волной холода.

Никита обернулся – лес у них за спиной тоже был теперь темным, ночным.

– Заплутал мужик в лесу, бродил-бродил, вышел наконец – а ему и говорят: «Тебя ж три года не было, мать померла, жена за другого вышла», – от вкрадчивого Катиного голоса загревков опять стянули мурашки. – Ты совсем, что ли, сказок никогда не читал?

– И сколько мы плутали? – испугался Никита, отчетливо представив себе обросшего седой бородой Пашку.

– Сейчас узнаем.

Как оказалось, они вышли туда же, откуда пришли – к Катиной калитке. Теперь она была заперта, но Катя быстро нашла и отодвинула пару державшихся на одном гвозде досок. Она пролезла внутрь, склонилась над чем-то у самого забора и подозвала Никиту:

– Посвети.

В луче фонарика он увидел мясистый стебель и шершавые листья.

– Контрольный подсолнух, – объяснила Катя. – Как возвращаюсь – смотрю, насколько он вырос. Все нормально, на пару суток максимум закружило.

– А если на пару лет закружит? Как это по подсолнуху-то определить?

– Так подсолнуха уже не будет. Или будет, наоборот, целая поляна. А еще у меня зарубки на яблонях есть.

Несмотря на все уговоры, Катя во что бы то ни стало решила, во-первых, переодеться, а во-вторых – посмотреть, что там в сарае, в который она, по ее же словам, уже пару недель не заглядывала. Никита настаивал, что надо срочно вернуться в заброшенную дачу и пугал Катю обезумевшим Усовым, но Катя, кажется, опять утратила всякий интерес и к его доводам, и к нему самому. Она на цыпочках пробралась в дачу и вернулась уже прилично одетая, пахнувшая йодом – успела обработать и залепить пластырем свои ранки. Никита боялся, что она будет громко звенеть ключами или зажжет по привычке свет в доме, но обошлось.

В сарае по-прежнему стоял тяжелый мясной дух, как на бойне. Человеческие останки убрали, но кровавые разводы и какие-то мелкие ошметки на полу и на стенах остались. Катя поводила фонариком туда-сюда и вдруг остановила кружок света на старых досках, грудой сваленных в углу сарая.

– А вот этого тут не было, – шепнула она.

Вместе они перетащили доски в другой угол, где те, по Катиному утверждению, раньше и лежали, приподняли обнаруженный под досками брезент... и увидели здоровенную дыру в земляном полу. Судя по тому, как из нее тянуло холодом, это была не просто яма, а настоящий подкоп.

– Вот он как забрался! – возликовала Катя и немедленно нырнула в яму. Ей удалось залезть туда почти целиком, только пятки болтались в воздухе, но потом глухой голос из недр земли сообщил:

– Я застряла.

Никита выволок ее за ноги обратно. Выплюнув землю и отряхнувшись, Катя сказала, что знает, куда ведет ход. Никита хмыкнул – ему для того, чтобы понять это, не потребовалось лезть в нору. Местоположение подкопа – у дальней стены, поближе к забору, – не оставляло сомнений, что ведет он на участок Бероевых.

– Потому и замок остался. Изнутри влезли и кости притащили. Уроды! – Катя еще раз сплюнула на пол. – Говорю же: слишком это по-человечески – другого подставлять.

– Так зверь... это что, кто-то из них?

Катя пожала плечами:

– А ты их самих-то когда в последний раз видел?

Никита задумался. Бероевых и впрямь давно уже не было видно, даже Светка перестала выгуливать детей по своему раз и навсегда установленному маршруту. Но они всегда жили замкнуто, мало с кем общались, и никто на это особого внимания не обратил.

– Вот, а я к ним пару раз пробраться пыталась. Мало ли. Может, они заметили, всполошились, ну и... сам понимаешь.

– Ничего я не понимаю, – отрезал Никита. – То у тебя лешие с кикиморами, то соседский заговор.

– А кто говорил, что легко будет? Ну что, пойдём?

– Куда?

– К соседям в гости.

Старое высокое грушевое дерево росло на самом краю Катиного участка. Оно уже давно вышло из плодородного возраста и только изредка давало твердые зеленые плоды, мало чем похожие на груши. Не срубали его по соображениям сентиментальным – сколько лет уже тут, тень дает, живое. Но сейчас обнаружилась и дополнительная

польза: ветки старой груши нависали над высоким забором и над бероевскими владениями. Именно здесь Катя пыталась пробраться к соседям или хотя бы понаблюдать за происходящим у них на участке. Но каждый раз откуда-то вдруг появлялась Светка Бероева, и приходилось спешно скатываться на землю во избежание вопросов и скандалов.

Обдирая руки, ломая хрупкие старые ветки, Катя с Никитой перелезли через забор и, взмокшие и исцарапанные, приземлились на заросший газон. Вдоль ровных, мощенных белой плиткой дорожек у Бероевых были расставлены фонари на солнечных батарейках, и цепочки светящихся матовых шаров опутывали участок, словно елочные гирлянды. А среди этой умиротворяющей иллюминации слепо чернели окна огромного особняка. «Настоящая дачная цитадель, – подумал Никита, глядя на дом, – лучшей берлоги зверю не найти. Наверное, он попросту сожрал все семейство, чтобы обосноваться тут. А Светка... скорее всего, Светка и была этим самым зверем. Подходящее амплуа для образцовой жены и матери, зарубившей тяткой спятившего старика».

Потихоньку, избегая освещенных участков, они обошли дом, но ничего интересного не обнаружили. Решетки на окнах, дверь заперта – Катя рискнула на цыпочках взобраться на крыльцо и подергать за ручку. А Никиту постепенно охватывал азарт – это же был настоящий квест, «попади в таинственную дачу», и его, невзирая на все реальные и воображаемые опасности, хотелось пройти до конца. В квесты Никита, будучи почти тридцатилетним лоботрясом, играл довольно часто и знал, что на каждом уровне бывает какая-нибудь неочевидная лазейка...

И тут он увидел наружную дверь в подпол – Бероевы, как видно, оборудовали там погреб, а размеры дома позволяли не ограничиваться обычным люком в полу, в который не очень-то удобно спускаться и загружать припасы. Двойная дверь распахивалась в обе стороны, а ручки были спутаны вместе толстой проволокой.

Проволока оказалась закрученной на совесть, но в четыре руки они ее одолели и аккуратно, чтобы ничем случайно не грохнуть, открыли погреб. Оттуда пахло уже знакомым густым духом бойни. Катя отпрянула, зажав нос, а Никита первым полез в темноту, движимый все тем же квестовым азартом.

Луч фонарика скользил по полкам со всякой хозяйственной мелочью, банкам с соленьями, мешкам с картошкой – сколько Светка ни кичилась своим английским газоном и европейским особняком, а погреб у нее был самый обыкновенный, дачный.

Уже мелькнула впереди лестница, ведущая наверх, к люку в полу. И тут в темноте что-то заворчалось и издало мучительный булькающий хрип. Дрожащий луч фонарика метнулся на звук, и Катя, вскрикнув, спряталась за спину Никиты.

Живой полуобглоданный скелет полз к ним по бетонному полу, мерно постукивая костями. На костях краснели неровные полосы мяса. Кое-где уцелели лоскуты плоти покрупнее, с кожей, и они подрагивали при каждом движении. И это почти съеденное существо, почему-то все еще способное шевелиться, мычало и булькало, тараща на них единственный, лишенный века круглый глаз.

С большей части лица кожа и мышцы были сорваны, но по жестким черным волосам на макушке и квадратной челюсти Никита узнал этого получеловека. Это был Бероев. Бывший солидный бизнесмен и, по слухам, криминальный авторитет подползал все ближе, роняя с полок банки и щелкая навечно оскаленными зубами.

– Это ведь заложный? – выдохнула Катя, глядя на Никиту с надеждой, как будто подсказки ждала. – Заложный мертвец, правильно?

– Понятия не имею! – Никита схватил стоявшую у стены лопату. – А ну отойди!

– Стой, вдруг хуже сделаешь!.. Как же с заложными-то надо? Я про них не помню ничего.

– Отойди, я сказал!

Катя присела на корточки, загребла с пола горсть мусора – камешки, песок, сухие листья – и, размахнувшись, швырнула все это подальше:

– Тогда в дом войдешь, когда весь мак соберешь!

После этого нелепого маневра Бероев, замычав, развернулся и... пополз в противоположном направлении. Никита, не веря своим глазам, смотрел, как он елозит костями по полу, послушно собирая песчинки и камешки.

Катя взлетела вверх по лестнице, налегла на крышку погреба – раз, другой, потом сверху что-то шумно упало, и крышка поддалась. Они выбрались в какое-то обширное темное помещение, поспешно захлопнули крышку и на всякий случай встали прямо на нее. Кружок света выхватил из темноты гнутые ножки деревянной тумбочки, коврик, легендарные бероевские часы с маятником, бой которых было слышно всем соседям. Только теперь они стояли, и циферблат подернулся пыльным узором.

– Дверь ищи, дверь, – нетерпеливо зашептала Катя.

– А как же чай? – спросил приятный женский голос, и Катя с Никитой тут же зажмурились от внезапно вспыхнувшего света.

В дверях стояла Светка Бероева в велюровом домашнем костюме и тапках с заячьими мордочками. Ее очки в тонкой оправе поблескивали все так же интеллигентно и строго. А у Светкиных ног свернулись кожистыми кольцами огромные черные звери. Два зверя.

– Уж извините, что я в домашнем, но вы тоже без приглашения, – кивнула Светка гостям.

– Вы что... это же... – давился словами Никита, тыча в зверей пальцем.

– Какие ни есть, а для матери всегда малыши, – и Светка улыбнулась сладко-сладко, совсем как полная молока и счастья красавица-мать в рекламе детского питания. – Вы уж извините еще раз, но детки очень кушать хотят.

Растягиваясь и сокращаясь по-пиявочьи, звери бросились на них. Увидев перед самым своим носом круглую распахнутую пасть с бесконечными рядами зубов, Катя закричала так, что зазвенели оконные стекла.

А дальше произошло нечто совсем уже непонятное. Белая, ослепительно яркая вспышка озарила комнату, и сразу же стало нестерпимо жарко, горячо до боли, запахло паленым волосом. Звери забились на полу в корчах, жалобно рыча, точно раненые медвежата. Их толстые шкуры пузырились и покрывались язвами. Пронзительно закричала Светка. Мгновенно раскалившийся воздух жег глаза и горло, было нечем дышать. А Никита, ничего уже не соображавший, вдруг почувствовал, как кто-то схватил его за футболку и поволок...

Он окончательно пришел в себя уже на улице, в канаве под фонарем, куда они с Катей свалились, пробежав целую улицу и совсем выбившись из сил. Шел сильный дождь, настоящий ливень. Никита подставил обожженное лицо под струи воды и с трудом шевельнул запекшимися губами:

– Что это было?

– Это не ее дети, это подменыши, – ответила, стуча зубами, Катя. – Помнишь, Наргиз детей на реку повела и пропала? Вот тамошние и детей тогда тоже забрали. А этих подкинули. С Наргиз не вышло у них, наверное, или почуяли, что чужая... да кто их разберет. А подменыши теперь... ну, прежними становятся. И жрать хотят. Вернуть их надо, в реку, только Светка же не отдаст. Да они, может, и сами не пойдут, прижились, человечину распробовали...

– Хватит, – простонал Никита. – Я не про то, я про огонь...

– Подменыши всегда огня боятся... А он сказал, что я горю... – Катя обхватила голову руками. – Я не понимаю. Не знаю, не знаю...

– Кать... – Никита разлепил опухшие веки. – Да расскажи ты, наконец! Хватит уже... Ты все знаешь. Где кто живет, правила все эти. Откуда? Откуда ты знаешь?! Только не заливай опять про фольклористику в институте... Я поверю, Кать. Я теперь всему поверю.

Катя молчала, наблюдая, как в ручейке прямо под фонарем барахтается из последних сил крупная муха. А потом вдруг улыбнулась еле заметно:

– Слышал стишок детский, про кирпич? А мне бабушка по-своему читала:

По реке плывет кирпич
Из села Стоянова.
Ну и пусть себе плывет
Может, кто-то в нем живет...

Баба огненная

К тому времени, как Катя доросла до более-менее сознательного возраста, мало что уже осталось от папиной мамы, бабушки Серафимы. И это оставшееся сидело целыми днями в своей комнате перед телевизором либо возилось тихонько на кухне, перетирая баночки. Бабушка любила маленькую Катю, и Катя любила – если не саму бабушку, то уж точно ее сказки, истории из тех времен, когда Кати еще не было, а мир уже зачем-то существовал. Но она так и не смогла привыкнуть к странному, сладковато-затхлому бабушкиному запаху. Катя давно поняла, что так пахнет смерть. Мама говорила, это просто старость, у старых людей особый запах, но Катя не понимала по детской бескомпромиссности: какая разница, ведь старость и есть смерть.

А на фотографиях из монохромного прошлого солнце было белым-белым, а бабушка Серафима была феей. Нежной девой такой красоты, какой Катя и в кино не видела. И устоять, конечно, не смогла: ту Серафиму Катя полюбила всей своей дошкольной, не оформившейся еще душой, безоговорочно, как и волшебное село Стояново, из которого были родом и бабушка, и ее сказки.

В общем, по фотографиям было понятно, что же такого дед Юрий, многообещающий молодой специалист, нашел в деревенской бесприданнице, вдобавок тронутой слегка умом. Бабушкины проблемы с головой секретом в семье не были, проявлялись редко, а относились к ним даже почтительно. Маленькой Кате это и вовсе казалось совершенно нормальным: феи и должны быть немного не от мира сего.

А вот дедовы городские родители были сначала очень недовольны, и не только малахольностью невестки. Дурная слава села Стоянова и до города докатывалась: ходили слухи, что и люди там пропадают, как местные, так и приезжие, и помирают непонятно от чего, и видят всякое и всяких – причем не только пьяницы сельские, вокруг которых черти и так хороводы водят, но и агрономы, и заслуженные учительницы. И в те годы кристальной ясности и понятности всего на свете, когда человека только что в космос

запустили, шепотки вокруг Стоянова особенно тревожили. И ведь не стихали они, сколько мер ни предпринимали – не прекращались пересуды, причем обсуждали в том числе и совершенно возмутительные вещи. Будто местный скульптор, изготовивший памятник Ленину для установки перед стояновским сельсоветом к годовщине Октября, рассказывал, напившись, что сам Ленин трижды являлся ему во сне. И просил в Стояново его не везти, не отдавать тамошним на растерзание. Все это звучало бы как неуместный анекдот, но сам скульптор, рассказывая, трясся и чуть не плакал. Вскоре после этого Ленин отправился в Стояново, а скульптор – в психиатрическую лечебницу. Так что, глядя на странноватую невестку, дедовы родители вполне могли решить, что в Стоянове находится какой-то очаг безумия, передающегося от человека к человеку неизвестным медицине способом.

Конечно, были они людьми образованными, культурными, во всякое мракобесие не верили. И булавку над дверным косяком Серафимина свекровь в первый же день вколола не для защиты от ведьминых козней, а просто так.

А еще в те годы, когда дед Юрий привез из Стоянова в город свою ненаглядную Серафиму, многие помнили историю о том, как немцы шли в Стояново, да не дошли.

Это было зимой. Небольшой немецкий отряд – то ли разведывательный, то ли просто от своих отбившийся – шел за непонятной иностранной надобностью в спрятавшееся за лесами, никому в общем-то не нужное село. Началась вьюга, и немцы, обнаружив вдруг в заснеженной чащобе охотничий домик, спрятались в нем. В домике и припасы кое-какие нашлись, и одеяла теплые – будто ко встрече дорогих гостей подготовились.

А нашел немцев через пару дней старый стояновский охотник – собака его все сворачивала к домику, возилась вокруг и дверь скребла. Старик, как и все в Стоянове, знал, что в дом этот соваться нельзя ни в коем случае, там не то кикимора логово себе обустроила, не то шуликуны, не то медвежий царь. Поэтому сначала он сбегал в село, собрал самых смелых и любознательных баб да ребяташек, а потом они вместе открыли дверь со всеми предосторожностями.

Немцы валялись внутри кто на полу, кто на лавке, с синими лицами, выпученными глазами и разинутыми ртами – так широко разинутыми, что губы в уголках надорвались. Стояновские храбрецы оторопели – они и подумать не могли, что при первой встрече с врагом им этого врага так жалко станет по причине мученической его смерти. Выжил один немчик – молоденький, беленький, нос картошкой. Выполз из-под мертвых тел и ревет. Бабы стояновские смотрели-смотрели и тоже реветь начали. У кого сын на фронте, у кого муж, и этот вроде как убивать их пришел, нелюдь фашистская, а жалко мальчишку – сил нет. Так и не выдали они его, спрятали у кого-то, травами отпаивали, но выходить не сумели – умер немчик через пару дней. Спать он не мог совсем – всю ночь сидел, пальцем в углы темные тыкал и орал как резаный по-своему.

Представили все потом так, что это героические партизаны уничтожили роту немцев на подходе к Стояново. Вот только партизан в здешних лесах не водилось.

А будущая фея Серафима родилась на самом излете войны. Отца своего она не помнила, хоть и вернулся он с фронта благополучно. Только без ноги, и щека одна точно сжеванная, в черной, навсегда въевшейся копоти. Но соседки зря Серафиминой матери завидовали – сломался он где-то внутри. Пил, ревел, на дочку Таньку и на жену, забрюхатевшую на радостях, кидался. И шептал, косясь куда-то вниз, что в полевом госпитале к нему, когда ногу оперировали, фрица мертвого случайно пришили. И куда он ни пойдет, фриц за ним тащится, зубы скалит – губы-то ему пожгло, все лицо пожгло, только зубы остались и глаза – светлые-светлые, наглые.

Ночами безногий мутузил кулаками воздух, кидался всем, что подвернется, в натопленную жилую тьму:

– Провались, белоглазый!

И только дед Митрий умел сына озверевшего кое-как успокоить. Говорил, что фриц-то нестрашный, безобидный – в общем, фриц, сопляк совсем, и не будет же он вечно за солдатом Красной армии таскаться – не выдержит да и отвалится.

Не выдержал сам Серафимин отец. Приковылял однажды в дровяной сарай да и отрубил себе культю, к которой, как ему чудилось, мертвый немец пришит был. Повредил в ноге какой-то важный сосуд и

истек кровью. Но умер радостно, улыбался с таким облегчением, точно наконец победил и муки его кончились, и твердил:

– Ушел, ушел белоглазый.

А на следующий день после смерти отца Серафима на свет пожаловала, раньше срока. Мать ее в бане родила – как прихватило, так и ушла туда тихонько, подальше от покойника и хлопот вокруг него. И не позвала с собой никого посидеть, как положено, чтобы банница ребенка не подменила.

Нехорошо все это было. Приходили стояновские бабки-шептуны посмотреть на девочку, беспокоились – мало ли кто мог через отцовскую кровь да без пригляда явиться. И так обезлюдело Стояново, плохо жило, голодно и совсем беззащитным стало перед теми, кто вокруг обитал. Бабки говорили, что и в лесу, и в реке, и в поле, и в домах даже – везде кто-то живет, и никому с этими жителями не сладить, только соседствовать можно, да и то по правилам определенным, и правила эти не человек назначает. Особых стояновских обитателей так и звали – «соседи». Не были они ни добрыми, ни злыми, потому что сердца не имели, души человеческой. От таких всего можно ждать.

И в глаза ребенку заглядывали – искали, есть ли «мясо» в уголках, и пальчик кололи, а дед Митрий лично топором замахивался, будто ударит вот-вот – этого подменьши больше всего боялись, превращались сразу обратно кто в полено, кто в веник. Девочка исправно, звонко вопила, мать рыдала и просилась покормить ребеночка, даже молчаливая обычно Танька присоединилась к общему реву. Никаких плохих знаков не обнаружили. Окрестили девочку Серафимой, чтобы чистая сила вместе с ней на имя отзывалась, и успокоились.

Между селом и рекой было в те годы большое поле. Засевали его рожью, и поле спасало Стояново в голодные времена. И в засуху, и в войну, когда пахали кое-как оставшиеся в селе бабы с детьми, и в злые високосные годы, когда то заморозками било, то градом, поле все равно приносило урожай. Поговаривали, конечно, что есть на то своя причина, и лучше простому человеку ее не знать. У поля даже свой зарок был – не показываться там в полдень. Успели, не успели до

полудня работу закончить – уходите, не оглядывайтесь, потом вернетесь, когда солнце чуть спадет. А детям на поле соваться и вовсе было запрещено. Их пугали старинной, но безотказной историей про Назарку с Макашкой, которые в полдень пошли в рожь играть и сгнули: ни косточки от них не нашли, а только праха горстку, дунули – рассыпалась.

Вот только Серафима, которой к тому времени десять лет исполнилось, была боевая и в сказки не верила. И завела себе во ржи тайное гнездо, куда при первой возможности сбегала – от матери с Танькой, от бесчисленных дел, которые для Серафимы в любое время находились, от деда, который уже два года как помирал в углу за занавеской, ругался и пах плохо. Тут у Серафимы хранились под камушком сокровища: ленточки, обертки, куриный бог и самое ценное – Танькино битое зеркальце в красивой оправе. Танька его случайно грохнула, а мать велела унести подальше и закопать. Серафима унести-то унесла, но закапывать не стала: как же такую прекрасную вещь – и в землю. Ведь и посмотреться можно в зеркальце, хоть и треснутое, и «зайчики» попускать, и погадать на Крещение, как взрослые.

Гнездо у Серафимы было на дальнем краю поля, поближе к речной прохладе. На реку Серафима и уходила в полдень, когда солнце начинало особенно сильно печь голову. Совсем уж нарушать зарок, про который все Стояново знало, было боязно. И все-таки пекло Серафиму вместе с солнцем любопытство – что же такое творится на полуденном поле, почему даже суровая Танька, которая ни в бога, ни в черта не верит, да что там Танька – даже председатель там показываться не смеет?

И вот однажды осталась Серафима на поле в полдень – то ли из-за этих мыслей, то ли просто заигралась. А вернее всего – за солнцем не уследила, облака мешали. Что пора убежать, она поняла поздно – когда порыв странного горячего ветра, неизвестно откуда взявшегося, пронесся по полю, пригибая колосья к земле. А вокруг ветра не было, на чутких ивах у реки не дрогнула ни единая веточка.

Серафима вскочила, чтобы юркнуть поскорее в ивняк, и тут же спряталась в свое гнездо обратно, пригнулась вместе с рожью. Потому что успела увидеть парящую над полем высоченную фигуру в чем-то нестерпимо белом, ярком, раздувающимся книзу колоколом. И из

белого в тех местах, где у человека руки-ноги находятся, вырывались лучи слепящего света. А самый яркий луч бледного огня бил оттуда, где должно было быть лицо. Фигура плыла над волнующейся рожью и вертела по сторонам головой, точно прожектором. Как-то Серафима фильм в клубе про войну видела – вот точно такими прожекторами там шарили по небу, выискивая фашистские самолеты.

От фигуры шел сухой жар, его опаляющие волны чувствовались издалека. Страшно было, конечно, очень – но и любопытно до ужаса. Ведь все-таки белый день стоял вокруг. Ночью от такого огненного чучела Серафима сломя голову бы бежала, а сейчас любопытство так и грызло ее изнутри, подзуживало хоть разглядеть сначала получше, что же это летает над полем, а потом уже убежать. И Серафима, прижавшись к земле и мелко дрожа, нацелила на непонятное чучело свое битое зеркальце.

В зеркальце она увидела, как плывет по воздуху горящая ровным белым огнем фигура высотой с целое дерево, вертя головой, поводя руками – и от каждого ее движения прокатывается по ржи волна горячего ветра. Даже отраженный свет из зеркальца был таким ярким и жгучим, что Серафима жмурилась, слезы щекотали в носу. А потом...

Луч, бивший, как из прожектора, из-под белого куколя у фигуры на голове, попал в не вовремя поднятое Серафимой зеркальце и вернулся прямо огненному чучелу в лицо. И Серафима это лицо в отражении явственно увидела: безносое, белоглазое, с трещиной рта от уха до уха – это если представить, что уши под куколем все-таки есть. Лицо было бабье, точно у оставленной надолго под палящим солнцем иссохшей покойницы. И, видно, ослепил огненную бабу собственный отраженный свет, обжег: она издала пронзительный крик и закрылась рукой. Удушающий жар разлился над полем, Серафима упала ниц, вжалась лицом в землю. Воздух стал нестерпимо горячим, слышно было, как что-то уже начинает потрескивать. И все звенел в ушах долгий обиженный крик, нелюдской совсем, птичий. Серафима чуюла запах паленого волоса и в ужасе думала, что это она, сама она горит... Потом как будто полегче стало, прохладнее. Серафима подняла наконец голову, жадно глотая воздух, – никого ни в поле, ни в небе над ним не было, только рожь все еще волновалась.

Домой Серафима прибежала вся в волдырях от ожогов, с закрутившимися в мелкие колечки опаленными волосами. Дед, как увидел, чуть с кровати не свалился. А Серафима, рыдая и воя от того, что соленые слезы еще больнее делают, рассказала, что над полем баба огненная летает и ее чуть живьем не спалила. А дед вместо того, чтобы пожалеть, – разорался, запустил в Серафиму стаканом и начал крыть такими словами, что внучка забилась в дальний угол и голосила там от боли и обиды.

Потом вернулась наконец мать, но прежде, чем Серафима успела кинуться к ней за спасением, дед прорычал:

– Дура твоя Полудницу обидела! Беги задабривай!

Мать растерянно застыла на пороге. Она, как и все в Стоянове, всю жизнь прожила, и веря в потусторонних соседей, и не веря, и больше всего на свете боялась, что когда-нибудь придется эту грань пересечь – хоть в какую сторону. Но дед буйствовал, Серафима – настоящими, неоспоримыми ожогами покрытая, – с плачем все подтверждала, и мать засуетилась, собирая в узелок то, что перечислял дед: кусок хлеба, яйца, соль четверговую...

Мать убежала с дарами в поле, пришла сестра Танька, выслушала всех и наорала уже на деда: что он суевериями своими людей изводит, а суеверия, между прочим, давно запрещены со всех сторон, хоть в партии, хоть в церкви. Серафиму Танька успокоила, ледяной водой облила, смазала яичными желтками. Ожоги у нее оказались несильные, только вот брови совсем спалило. Это ребята, хулиганы, подшутили над глупой девочкой, в простыню замотались, зеркалацами подсвечивали, а под конец еще и головешками закидали, – говорила Танька, и Серафима хоть и помнила прекрасно, как оно на самом деле было, а все-таки успокаивалась. Вон в прошлом году озорники здешние соседку чуть не извели. К пугалу у нее за домом целую систему веревок протянули и начали представления устраивать – вроде как оживает пугало по ночам. И огоньки пускали какие-то, бабку едва удар не хватил, зато потом она шутников ухватом по всему селу гоняла. А дед, слушая Таньку, бушевал за занавеской, говорил, что и правильно, нечего пугала ставить и прочих истуканов, в них залезают всякие, у кого своего тела нет. И такого натворить могут, что это бабке еще повезло – подумаешь, веревками ее напугали. Сказано же, кумира не сотвори, а кумир – он и есть истукан. Вон Ленина возле сельсовета

поставили, хоть и говорили им сколько раз, что нельзя так, что поселится кто-нибудь в этом Ильиче, белом, с раздутой башкой – чистом утопленнике. И нет с тех пор жизни человеческой в Стоянове, потому что это разве жизнь. А Ленин ходит по ночам – белый, страшный. У деда бессонница, и он его пару раз из окна видел, и слышал своими ушами, как вздрагивает земля под ногами у истукана: бум, бум.

Деду поднесли выпить для успокоения, и он затих. А Серафиму уложили на лавку, на живот – спина в волдырях была. Серафима слушала взрослую, умную Таньку и начинала верить, что не было никакой бабы огненной, а были обыкновенные стояновские дураки, вставшие один другому на плечи, накинувшие сверху простыню и швырнувшие в Серафиму пылающей головней. А все остальное она сама выдумала, с перепугу.

Утром проверили приношение, которое мать оставила во ржи, – нетронутое оказалось, только сам узелок чуть-чуть мышами погрызен. То ли и не было никакой обиженной Полудницы, хлебов хранительницы, то ли побрезговала она дарами. Дед велел Серафиме и остальным молчать, никому не рассказывать о том, что случилось – а то все сразу поймут, кто урожай загубил. В том, что поле в этом году не родит, дед не сомневался: оно раньше зерно приносило, по его мнению, только из-за облюбовавшей эти места Полудницы, особой твари, которая и за погодой, и за рожью следила. Серафиме к полю даже близко подходить запретили, да она теперь и сама бы туда ни за какие коврижки не сунулась. Была б ее воля, вообще никуда бы не выходила – безбровая, в волдырях вся, чучело. Но заживали ожоги быстро.

– Как на собаке, – говорил дед, глядя на прежнюю свою любимицу так, будто хотел ударить.

Жили вроде и жили потихоньку, как все. Только сны Серафиме снились плохие, страшные: приходила баба огненная, склонялась над ней, дыша сухим жаром. И Серафима видела, как из глаз ее – белых, будто раскаленных, – текут горячие слезы, застывают на щеках свечным нагаром. Обидела, обидела Серафима особую тварь, Полудницу, ослепила ее же светом, и обида эта была тяжела, как жар полуденный. Серафима металась во сне, кричала, просыпалась вся

мокрая. А Танька, не разлепляя век, ворковала, успокаивала, и так у нее выходило, что это Серафиму обидели, напугали девчонку, и уж задаст Танька этим шутникам, только выяснит, кто это – и задаст, и в милицию заявление напишет даже.

А потом сгорела банька. Ну то есть как сгорела – утром на том месте, где она стояла, только угли и пепел обнаружили. Ни огня никто не заметил, ни дыма, ни запаха гари. Соседи тоже утверждали, что ничего не видели. Поэтому на них и подумали – с ними давняя тяжба была, как раз из-за пустыря, на котором банька стояла. Значит, либо соседи, либо молния – ночью гроза ворчала, хоть так и не пролилась. Дед опять на Серафиму напустился, а Танька ее молча в лес увела черники набрать. Малину и прочую красную ягоду в стояновском лесу собирать нельзя было – зарок такой дали лесному хозяину, а еще малина с земляникой в здешних местах ядовитые вещества из почвы тянули – это для особо ученых.

Потом пострашнее случилось. Ранним утром прибежала зареванная мать и крикнула:

– Ночка истлела!

Сначала не поняли, о чем речь, подумали даже, что все, спятила. А мать, причитая, утянула Серафиму и Таньку за собой – показывать.

В хлеву на соломе вместо коровы Ночки лежала грудка пепла. Грудка пепла, точнехонько воспроизводящая коровьи очертания. И бочкообразное тело с выпирающим крестцом, и завернутая набок морда, и даже хвост – все это было словно изваяно из серого пепла. Изумленная Танька, которая все знала, все загадки щелкала как орешки, опустилась на колени, ткнула корову пальцем в бок – и целый кусок отвалился, рассыпался невесомым прахом. Не сгорела Ночка – да и с чего ей было сгореть, хлев стоял целый, даже солома на полу не потемнела, – а именно истлела, как сырое полено в печи, сохраняющее форму, пока жар ест его изнутри.

Мать рыдала, а Серафима думала вовсе не о том, что пропала ласковая кормилица Ночка. Это ведь Полудница раскаленным своим дыханием обратила корову в пепел – тут другого объяснения даже Танька не придумает. И баньку она тогда спалила. Ходит кругами, все ближе подбирается, отомстить хочет. И никак не закрыться, не спастись от ее бледного пламени.

– В поле иди прощения просить, – сказал Серафиме дед. – Пока все через глупость твою не сгинули.

Это поле Серафиме во всех ее кошмарах снилось. И как она его вспомнила хорошенько, вспомнила, как колышутся от горячего ветра колосья и плывет над ними белая фигура с деревом ростом, – закатилась в такой истерике, что еле водой отлили.

Еще несколько дней прошло. В доме тихо было, мрачно, будто покойник лежал. Серафима боялась всего: деда, шума за окнами, берез, в каждой из которых ей чудилась белая баба, столбов пыли, которые закручивал над дорогой ветер. А погода стояла, как назло, жаркая, свинцовая, так и клонило в сон. Но спать Серафима не могла – там, во сне, ждало нечеловечье лицо, плачущее огненными слезами. Только когда совсем невмоготу становилось, сваливалась на пару часов – так сил на то, чтобы видеть сны, не оставалось или она просто ничего не запоминала.

Несколько раз Серафима выходила за околицу, спускалась на тропинку, которая вела к ржаному полю, пыталась идти по ней, пересиливая себя, уставившись в землю. Но страх давил, подкатывал к горлу, становилось нечем дышать – и Серафима, обо всем забыв, разворачивалась и мчалась обратно к селу.

А дед правду говорил, что все от ее глупости сгинуть могут. Неделя прошла в молчаливом ужасе – и заболела Танька. Проснулась утром горячая, взмокшая, сначала жаловалась, что все тело ломит, голова трещит, а потом и отвечать почти перестала. Серафима меняла у Таньки на лбу мокрые полотенца, за пару минут набиравшие столько жара, будто их в ведро с кипятком окунали. Танька дышала часто и хрипло, глаза у нее запали под тоненькими потемневшими веками, губы обметало. И без обличающего дедова рычания из-за занавески Серафима знала, что с Танькой творится: жжет ее изнутри белый огонь за сестрину глупость. Несколько раз Серафима порывалась бежать на поле, вину свою дурацкую замаливать, но Танька, державшая ее сухими горячими пальцами за руку, точно чувала каждый раз. И цедила, дрожа ресницами:

– Не смей... Басни дедовы... А я комсомолка! Не смей...

– Думаешь, Ленин тебя спасет? – кричал из своего тряпичного гнезда дед. – А Ленин твой по улице ходит по ночам, белый, и дырки

вместо глаз!

Серафима зажимала уши, чтобы не тек в них горячий бред сразу с двух сторон. Больные, оба больные, и дух от них тяжелый идет. А куда бежать, что делать – Серафима не знала. Мать пошла за Любанькой, бабкой-шептуньей, на все Стояново известной тем, что лечила и вообще делала всякое. Так и говорили – всякое, не уточняли. Врачей никаких в Стоянове не водилось, а Танька, приходя в себя, твердила: воды вчера ледяной выпила, простыла, отлежусь, не надо ваших бабок-шарлатанок, толку не будет, а денег небось попросит.

Время ползло и ползло, мать не возвращалась, дед храпел за занавеской грозно и сердито. Серафима тоже клевала носом под жужжание одинокой мухи на окне. И вдруг сжались Танькины пальцы, державшие ее за запястье. Серафима встрепенулась, посмотрела на сестру. И Танька тоже на нее смотрела. Глаза у нее были белые, раскаленные, а под кожей, под сетью сосудов, тлел тот самый бледный огонь, переливался, как бездымный жар на углях. Только теперь Серафима почувствовала, как прожигают кожу у нее на руке Танькины пальцы, но сестра держала крепко, попробуй скинь этот раскаленный браслет.

Танька приоткрыла рот и издала такой звук, будто у нее железо в груди скрежетало.

– Деда! – вскрикнула Серафима.

А скрежет начал складываться в слова. Голос был не Танькин, да и вообще не может, не должно у человека быть такого голоса.

– Первый... перст... мой... – повторяло то, что засело у Таньки в груди. – Мне... отдашь. Первый перст мой...

Вопя так, будто это она сама белым пламенем полыхала, Серафима вырвалась, вскочила и бросилась во двор. А потом побежала, падая, обдирая локти с коленками и снова поднимаясь, на поле.

После многодневного душного зноя на Стояново наконец-то ползла гроза. Со всех сторон набухали черные тучи, посверкивали молчаливые пока молнии, точно глаза Полудницы, ветер трепал ивы у реки. Серафима, не видя ничего за рассыпавшимися волосами, пробралась в рожь, упала на разбитые колени, закрыла руками голову и принялась, глотая слезы, бормотать:

– Полудница, прости меня, если ты вправду есть, я случайно, честное пионерское, только Таньку не трожь. Полудница, особая тварь, прости меня, что угодно отдам, прости, прости...

Белая вспышка полыхнула совсем рядом, будто молния в поле ударила, и раздался такой грохот, что у Серафимы все косточки в теле задрожали, в голове поплыло, и она ухнула куда-то в грозовую тьму...

Когда Серафима очнулась, дождь уже лил вовсю, прибывая ее к земле вместе с рожью. А в гудящей голове все еще перекатывался громовой голос бабы огненной:

– Первый перст мой!

Что такое перст – Серафима знала. Первый перст – это, выходит, большой палец. Только она все думала, пока брела под дождем домой, о каком именно большом пальце Полудница речь вела, о левом или о правом. Уже во дворе решила – левый. С правым больше возни будет, да и как раз с левой стороны все темное должно быть, нехорошее. Вон и плюют через левое плечо, чтоб черту в рожу попасть, он тоже с той стороны сидит. Злой, страшной бабе огненной наверняка левый перст больше по вкусу придется.

Никто не видел, как Серафима под ливнем с поля вернулась и пошла в дровяной сарай, где папка ее десять лет назад кровью истек. Положила на колоду левую руку, оттопырила старательно большой палец, зажмурилась и рубанула по нему тем самым топором, которым папка от фрица пришитого себя избавил. Боевая была Серафима, это правда...

А в избе суетилась большая старуха с красивым цыганистым лицом – Любанька-шептунья. Она пыталась влить травяной отвар в рот сидевшей на подушках Таньке, а та плевалась – бледная, вся в багровых пятнах, словно от ожогов, с запухшим до слепой щели глазом, но живая. Живая Танька. Мать плакала, целовала Таньку, а суровая Танька еще пуце плевалась. Требовала, чтобы шли Серафиму искать, как сквозь землю девчонка провалилась, а темнеет уже.

Тут стукнула дверь. Серафима на пороге возникла – мокрая, дрожащая, безмолвная.

– Симушка, слава богу! – кинулась к Серафиме мать, не заметившая еще ни бережно прижатой к телу руки, ни крови. – Вылечила баба Люба Таню!

– Ой, не вылечила... – качнула головой Любанька, кинулась к девчонке и успела-таки поймать оседающую на пол Серафиму, легонькую и костлявую, как птичка.

С той поры Серафима и тронулась умом. То вроде нормальной казалась, разумные вещи говорила, а то сидит, никого не слышит, глядит в одну точку. Уйти из дому могла на целые сутки, никому не сказавшись, и где только односельчане ее не ловили. И чудилось ей всякое, бродила по избе ночью, разговаривала сама с собой. Матери и Таньке рассказывала, что в подполе живет маленький человечек, шерстяной и добрый, а в хлеву, где Ночка истлела, завелся зверь многоногий, на ногах когти, он ими за балки цепляется и висит на потолке, поджидает. Если к кому прицепится – сны дурные в голову вложит, а всю радость до капельки выпьет... Как-то мать проснулась ночью от громкого шепота, будто на два голоса говорят, и второй голос низкий, прокуренный. Посветила – Серафима сидит в постели и будто спорит с кем-то, ругается. На мать рукой махнула:

– Это я с дедом. Говорит – снег завтра пойдет, совсем ополоумел.

На следующий день и впрямь пошел снег, что было очень странно для середины июня. А дед Митрий к тому времени уж полгода как в могиле лежал.

Танька, помня об отчаянной и страшной Серафиминой жертве, заботилась о ней даже больше, чем мать. И доказывала дурочке, что все ее видения – болезнь и мракобесие. Это дед виноват: забил девчонке голову черт знает чем, жизнь поломал – тут Танька обычно начинала всхлипывать. Но ничего, сейчас наука так шагнула, от любой душевной болезни уже лечить умеют. Вот поступит Танька в медицинский и лучших врачей Серафиме по знакомству найдет. А что пальца теперь не хватает – это мелочь, все равно красавица Серафима необыкновенная. Танька подарила Серафиме красивое кольцо с неизвестным голубым камешком и велела носить на левой руке – пусть все красоту видят, а не изъян, и пусть знают, что нисколечко Серафима не стесняется.

Говорила Танька так, говорила, а потом влюбилась, замуж выскочила, уехала с мужем в город, родила ровно через девять месяцев после свадьбы мальчика и позабыла о Серафиме. Не совсем, конечно, позабыла – приезжала, привозила обновки, плакала, выпив по стопочке

с матерью, над Серафиминой судьбой – и уезжала. Ни в какой медицинский Танька, ясное дело, поступать не стала.

Уже все решили, что Серафима в девках останется, вечной обузой для матери, но тут в Стояново приехал молодой командировочный и в сельскую дурочку незамедлительно втрескался. Потому что хотя бы насчет одного Танька не врал – красавицей Серафима действительно выросла необыкновенной. Как увидел ее командировочный в поле, с венком на голове, так и пропал. И уехала Серафима в город следом за сестрой.

Рожать тоже с лету принялась: сначала дочку, потом сына, который в полтора года от scarлатины сгорел. Но по нему, кажется, больше супруг убивался, чем Серафима – она, как родня перешептывалась, к потере по-деревенски отнеслась: «дал – взял», и через пару месяцев после похорон уже носила под пупом третьего – будущего Катиного отца.

А вскоре после этого выпало вдруг мужу как перспективному специалисту назначение почти сказочное – чуть ли не в самую столицу. Родители переживали, отговаривали: как же он там, один, молодой совсем, детишками обремененный и этой своей, юродивой. Но беспалая фея Серафима сразу принялась вещи упаковывать. Пришлось еще до переезда пожить в пустой комнате, среди коробок и чемоданов.

На Серафиме сработала древняя женская присказка: «родишь и успокоишься». Муж, дети, удобная жизнь в свежестроенном многоэтажном доме ее утешили, прояснили рассудок. Иногда она по-прежнему бормотала что-то странное, и ритуалы свои в этом доме все-таки установила, с солью на порог и прикармливанием домового, но полоумной уже не казалась, и не кричала по ночам про бабу огненную. А к старости успокоилась окончательно, и внучке Кате стояновские истории уже как сказки рассказывала – и про лихо, которое на горе плясало, и про беленьких, которые с реки зовут, про колдунов и банницу-обдериху. Даже про Полудницу обиженную рассказала, а Катя слушала, замерев от восторженного ужаса, точно не в кухне над тарелкой общепитовской сидела, а, как положено, в избе на печи.

Неудивительно, что в институте Катя увлеклась фольклором и знала такие подробности бытования мифических тварей, что

преподаватель ее отметил и пригласил в аспирантуру. А Катя решила совсем уж отличиться и представить во вступительной работе свежий фольклор, ею лично в Стоянове собранный. На бабушкиной малой родине Катя никогда прежде не бывала, но знала о ней уже столько, что, казалось, с закрытыми глазами любой дом бы нашла – и где подмышка растили, и где последняя шептунья жила. И с людьми тамошними, думала молоденькая и глупая Катя, она сразу дружбу заведет, ведь знакома уже заочно. Договорится, улестит, и расскажут-напоют ей на диктофон столько, что знай расшифровывай.

Вот только выяснилось, что даже собственную бабушку она не знает. Как услышала ветхая Серафима, что Катя в Стояново собралась, – расколотила свежевывмытую банку, метнулась к Кате, хрустя осколками, стиснула почти бесплотными руками.

– Не смей!

Катя от неожиданности не нашла, что ответить, просто стояла и хлопала ресницами. Никогда прежде она тихую, больную бабушку такой не видела. А бабушка разглядывала ее в упор, с тревожной жадностью, как будто тоже увидела впервые. Тонкое, иконописное лицо Серафимы бледнело, каменело, а потом глаза вдруг расширились и остановились, точно она искала во внучке что-то и вот наконец нашла.

– Баба огненная! – вскрикнула она и наотмашь ударила Катю по лицу беспалой рукой, в кровь разбив ей губы тем самым кольцом, покойной Танькой подаренным. – Баба огненная!

Когда на шум прибежал отец, Серафима уже разгромила половину кухни. Била тарелки, метала в рыдающую в углу внучку горшки с любимой своей геранью и ревела чужим голосом как бесноватая:

– Первый перст мой! Обещала! Обманула! Баба огненная!

Кате пришлось идти в травмпункт, где ей очень аккуратно залатали разорванный левый уголок рта. Так аккуратно, что со временем не осталось ни рубца, ни шовчика. Но массивное бабушкино кольцо что-то там повредило, и когда Катя силилась улыбнуться – уголок сползал, мелко подрагивая, вниз.

А Серафима после кухонного дебоша уже навсегда впала в безумие, определенное участковым врачом как старческая деменция.

Снова она говорила неизвестно с кем и непонятно чего пугалась, просила зашторить окна, потому что «эта подглядывает». Катю Серафима будто возненавидела, та к ней в комнату не могла зайти, сразу поднимался страшный крик. Потом бабушка понемногу затихла, всех перестала узнавать, лежала, уставившись в потолок пустыми водянистыми глазами – наверное, совсем в свою деменцию провалилась.

Потрясенная Катя в аспирантуру поступать не стала и в Стояново не поехала. Она тоже затихла, стала нелюдистой, сидела целыми днями дома, но никто внимания на это поначалу не обратил – думали, стесняется не зажившего еще шрама. А Катя читала в Интернете статьи по психиатрии, которые все подтверждали: да, сумасшествие в любой форме можно унаследовать, и чаще всего оно как раз перепрыгивает через поколение, минуя детей и обрушиваясь на внуков. «О чем же ты думал, – злилась Катя на покойного деда, – зачем согласился на командировку в это проклятое село, зачем женился на шизофреничке...»

Потому что она видела, видела: когда бабушка высматривала что-то в ее лице и вдруг как будто нашла, глаза Серафимины вспыхнули слепящим белым огнем.

Катя и Никита сидели на полу на заброшенной тринадцатой даче, Никита задумчиво обгрызал жареный рыбий хвост, дожидаясь финала странной истории, похожей на древнюю злую сказку в современных декорациях.

– И что? – спросил он наконец.

– И все.

– Ты же сказала, что знаешь...

– Да, знаю! – стукнула кулаком по земляному полу Катя. – Теперь они сюда пришли. Те, про кого бабушка говорила. Я их вижу, всех вижу... Они это, твари стояновские.

– Зачем пришли? Почему? И с чего вдруг сейчас-то?

Катя промолчала, и Никите вдруг стало жаль ее – сколько же всего она, оказывается, скрывала, как долго пыталась удержаться на краю того самого разлома между верой и неверием, ставшего главным стояновским проклятием. Если только оно действительно

существовало, это село Стояново, а Катя не была потомственной шизофреничкой.

Теперь, когда Катя все рассказала, доверять ей стало еще труднее. Слишком уж очевидно обозначилась ее связь с тем миром, где клубятся-роются молчаливые «соседи», и больше нельзя было отмахнуться – мол, померещилось с перепугу.

Но Никита все-таки приобнял ее за плечо в неуклюжей попытке подбодрить, успокоить. Ведь история и впрямь была жуткая, даже если она и выдумана от начала и до конца. А Катя вдруг прижалась к нему, положила на грудь тяжелую горячую голову:

– Я не знаю зачем. Ничего больше не знаю и знать не хочу. Давай тут спрячемся, а? Переждем. Должно же это когда-нибудь закончиться...

Бликие контакты на тринадцатой даче

Пугало было нелепым и забавным, немного похожим на поиздержавшегося служащего былых времен, но Катя все равно вздрогнула, увидев его. Невысокое, безголовое, не пугало даже, а просто старое коричневое пальто на сухих палках. С палок свисали консервные банки, их откиннутые крышки, изорванные консервным ножом, были похожи на зубастые, жадно раскрытые рты. Пугало здорово пострадало от мышей и моли, по его тощему бурому телу извами расползались прорехи.

– Зачем оно? – растерянно спросила Катя.

– Поговорить, – ответил Никита и многозначительно потряс пугалом в воздухе.

Они уже дней десять как обосновались на заброшенной тринадцатой даче. То есть обосновалась здесь Катя, которой дорога во Вьюрки теперь была заказана, а Никита бывал набегам. В один из этих набегов он и притащил найденное на чердаке древнее, дедовское еще пугало, сторожившее некогда клубничные грядки.

Никита честно пытался объяснить дачникам, что Катя к нападениям неизвестного зверя-людоеда отношения не имеет и что кости в ее сарай специально подбросили. Да, она странная, с приветом немного, тут не поспоришь, так на то и расчет был. Нет, он не знает, где она, в лес, наверное, убежала через ту калитку и сгнула, как все. И вообще не о ней речь, а о зверях. Зверь не один – их двое, и на самом деле это бероевские мальчики. Только теперь они никакие не мальчики, а бесформенные кожистые твари, на тушах которых толком разглядеть можно только огромные многозубые рты. Он сам видел, еле ноги унес. А Светка все знает, может, она сама их, вечно голодных, и подкармливает человечинной. Это не настоящие дети Бероевых, их подменили. Да почему ему знать, кто подменил и где теперь настоящие?

С этой историей Никита бродил по поселку, как назойливый «представитель известной фирмы», которая именно сегодня устраивает распродажу своего барахла: заходил и к председателю, и к Андрею с Пашкой, и к бывшему фельдшеру Гене. Чуть не пошел к вдовцу Усову, который по-прежнему рыскал по Вьюркам с ружьем и

вполне мог добраться до тринадцатой дачи, но Гена его не пустил, потому что окончательно спятивший Усов вполне мог Никиту пристрелить. Ружье оказалось заряжено охотничьей дробью, что было проверено на не вовремя вышедшей из-за угла козе Наймы Хасановны. Дачные старушки в полном отчаянии призвали для реанимации козы Гену, но ничего из этого, конечно, не вышло, и Вьюрки остались без молока.

Бурная деятельность Никиты привела в итоге к внеочередному собранию. Пришли не все – многие по-прежнему сидели по дачам, боясь зверя, хоть он и не нападал с тех самых пор, как Никита с Катей наведались к Бероевым. Клавдия Ильинична объяснила дачникам, что товарищ... гражданин... что, в общем, Никита Павлов хочет донести до них некую информацию, которую сам он считает очень важной, – это председательша особо и как-то неодобрительно выделила голосом, будто подчеркивая, что она его мнения не разделяет.

И когда Никита, стараясь не смотреть в не то чтобы недоверчивые, а просто непонимающие лица дачников, в очередной раз излагал свою версию, путаясь и цепляясь от волнения за детали, которые никакой важности не представляли, но, как казалось Никите, приближали всю эту безумную историю к реальности, как-то ее заземляли, – когда он увлекся и почти уже поверил, что ему верят, раздался яростный крик:

– Ах ты мразь!

Сжав кулаки, подобравшись, будто перед прыжком, через ряды к нему шла белая от гнева Светка Бероева. Испуганные дачники вскакивали со своих принесенных по привычке стульев, освобождая ей дорогу, и казалось, будто Светка расшвыривает их в стороны одним мановением руки. И ничего комичного не было ни в ее свирепо блещущих очках, ни в готовом к бою шуплом тельце длинноногого кузнечика – Светка, пылающая первобытной яростью самки, которая обороняет приплод, была по-настоящему страшна.

Никита успел почуять нежный запах какого-то крема перед тем, как Светка неумело, но больно съездила ему по носу. И все сразу пришло в движение, зашумело, а Светка вцепилась Никите ногтями в лицо, клопоча:

– Гад, гад, гад!

Ее оттащили. Осторожно трогая налитой болью нос, Никита с удовлетворением заметил ожоги на белесой Светкиной коже. Заживающие уже, красно-розовые пятна, чем-то намазанные и глянцево поблескивающие. Крем от ожогов – вот чем от нее пахло. Значит, все, что произошло в бероевском особняке, в том числе и загадочная вспышка, ему не причудилось. А то Никита уже и сам начал сомневаться, не навели ли на него, как Катя говорила, морок – настолько искренна Светка была в своем праведном гневе.

Придерживаемая бывшим фельдшером Геной Светка кричала, что она все слышала, что про нее и про детей распускают чудовищные слухи, это омерзительно, просто в голове не укладывается, и она не знает и знать не хочет, почему это происходит, ведь за всю жизнь она так и не научилась понимать людскую подлость и зависть. Да, зависть, надо называть вещи своими именами, хотя завидовать нечему, все ужасно, Светкин муж уже две недели как пропал, отправился все-таки искать выход из Вьюрков и пропал...

– Какие две недели! – возмутился Никита. – Второй месяц его не видно! Потому что его самым первым и сожрали!

Светка беспомощно всплеснула руками и разрыдалась, на Никиту зашипели, а ей поднесли кружку воды. Выпив с бульканьем, Светка продолжила: муж отправился искать выход, потому что дети больны... тут Никита крикнул, что он-то видел, чем они больны. Светка, задыхаясь от скорбного отчаяния, возвысила голос – тяжело больны: ни травы, ни лекарства из домашней аптечки не помогают. И она совершенно одна, с больными малышами, а соседи на нее, оказывается, ополчились, и вместо помощи она получает эти мерзости, эту дикую клевету.

– Что ж вы не сказали, что детки болеют, – не выдержала сердобольная Зинаида Ивановна. – Мы бы всем миром...

– Отойти не могла, покоя ни минуточки и сил никаких, – Светка сняла очки, и лицо у нее сразу стало такое юное, беззащитное. – И хоть бы кто заглянул...

И вьюрковцы почувствовали мучительную неловкость от того, что и впрямь всегда исключали Светку из своего добрососедского круга, не дружили с ней дачами, не заглядывали в гости. И в прежней жизни, и теперь, в странной новой реальности, Светка жила не только в особняке, но и особняком. Всем казалось, что она сама так устроила,

но теперь выходило, что нет: это Вьюрки не принимали Светку, считая высокомерной королевишной. Уже давно не было видно в поселке ни солидного человека Бероева, ни самой Светки, ни детей – и ведь действительно, никто не забеспокоился, не зашел проведать.

Никита с ужасом понял, что он повержен, – все его тщательно обдуманые доводы, все доказательства попросту тонули в слезах несчастной Светки. И он уцепился за единственный, как ему показалось, шанс:

– Так давайте прямо сейчас и заглянем!

Повисла пауза, даже Светка перестала плакать. Председательша, уже давно посматривавшая на Никиту с неодобрением, а на Светку с сочувствием, нахмурилась и совершенно неожиданно спросила, не возражает ли Светка, если они, действительно, прямо сейчас, чтобы рассеять, так сказать, и заодно помочь...

– Хорошо, хорошо, – кротко закивала Светка. – Конечно.

Никита шел в хвосте делегации, пристыженный и порицаемый. Его будто к директору вели – за то, что разбил окно в учительской или еще крупнее напакостил. Шел и удивлялся: он так долго пытался достучаться до дачников, а Светка явилась, порыдала трогательно – и все поверили. Даже Андрей, с которым они с детства приятельствовали, поглядывал на Никиту угрюмо и отчужденно.

– Никто не помнит, что ли, как она Кожебаткина убила? – шепнул ему Никита, надеясь хоть Андрея перетянуть, пока не поздно, на свою сторону.

– Я не помню, меня там не было.

Никита остановился от неожиданности: он был уверен, что Андрей вместе с ним ходил штурмовать логово обезумевшего пенсионера. Он видел его там, точно видел – в памяти мелькнули картинки с Андреем где-то на периферии. Или это был Пашка? Или Андрей действительно ничего не помнит? Вытравил эти воспоминания, как другие дачники, которые о Кожебаткине ни словом с тех пор не обмолвились, будто он просто исчез. Господи, как же с людьми сложно, подумал Никита, а с людьми и этими, новыми «соседями» – вообще труба.

Уже видно было кирпичный особняк, и Никита вдруг понял, что подкинул дачникам не самую лучшую идею. Он представил, как

распахивается дверь, скатываются с крыльца черные звери и рвут всю делегацию на куски, заливая кровью давно не стриженный газон. А Никиту, в благодарность за то, что привел столько вкусного мяса, съедают последним. Или того хуже: бледные бероевские дети встречают их, слабо и невинно покашливая. Права была Катя – морок, именно что морок какой-то простерся над Вьюрками, и неизвестно теперь, чему можно верить, а чему нельзя. Может, Светка чистую правду говорила, а Катя и вправду зверь, а Никита просто тихо спятил, как покойный Кожебаткин, на участке которого он видел, точно видел Андрея – а его там не было.

Толпа дачников шумно вторглась в бероевский дом, взломала прохладную тишину и тут же смутилась. В темном холле даже шепот разносился громко и гулко, совсем не как в обычной деревянной даче, где звуки поглощает теплая древесная плоть. Никита жадно присматривался к каждой мелочи, подмечая: не убрали давно, все в пыли, часы стоят, как и в прошлый раз, обои лохмотьями, будто в доме кошка, только высокомерно эта кошка дерет. И на стенах кое-где темные разводы, причем видно, что пытались оттереть... Следов огня или сильного жара он не нашел, дверцу в подпол – тоже. Прикрыли, наверное, чем-то.

Дачники поднялись на второй этаж, толкаясь и спотыкаясь на лестнице.

– Только потише, пожалуйста, – шепнула Светка, открывая дверь в одну из комнат.

Застоявшийся запах больной, поврежденной плоти ударил оттуда. Плотные шторы были опущены. Щурясь и привыкая постепенно к темноте, дачники различили смутные очертания – шкаф, стол, две кровати. И на них – что-то живое, слабо шевелящееся.

– Шторы! – почти возликовал Никита. – Пусть поднимет шторы!

Шевеления стали активнее, послышалось тихое хныканье. Светка, закусив губу, горестно и беспомощно простерла к Никите руку, словно говоря: люди добрые, смотрите, что творится. Андрей оттер Никиту плечом и вполголоса посоветовал проветриться.

– Пусть она их покажет, – упирался Никита, затравленно озираясь, но не встречая ни одного сочувственного взгляда.

– Молодой человек, имейте совесть! – подал откуда-то голос вездесущий собаковод Яков Семенович.

Этот его «молодой человек» внезапно привел Никиту в бешенство. Растолкав всех, он ворвался в комнату, едва не задохнулся от густого запаха болезни, телесного гниения, прыгнул к окну и дернул изо всех сил за штору, сорвав ее с одной стороны с карниза. Солнечные лучи узкой полосой прорезали темень, но этого оказалось достаточно.

На кроватях лежали два мальчика – длинноволосые, покрытые с ног до головы какой-то обильной коростой, они выглядели тем не менее вполне человекообразными. Отворачиваясь от солнца, дети ударились в рев. На оторопевшего Никиту тут же налетела мать, слепо тыча острыми кулачками:

– Они не выносят света, не выносят!

Дети ревели, укрывшись одеялами с головой, а штору уже поспешно, в четыре руки прилаживали на место.

Никиту вытолкали из дома, снабдив по дороге всеми приличествующими моменту званиями, стукнув еще пару раз и посоветовав лечиться. И следом вывалились сами, виноватые и смущенные, оставив лишь Гену, который вызвался осмотреть больных.

– А ты Гену потом видел? – спросила Катя, к которой Никита пришел с этой историей и совершенно убитым видом.

– Нет.

– Жалко, – и Катя вернулась к распутыванию своей удочки-донки – дедовской системы, колышек да леска с крючками и большим плоским грузилом. По вечерам Катя тихонько выбиралась на берег – благо тринадцатая дача стояла у самой реки – и расставляла там эти донки-закидушки, незаметные в траве. А потом готовила попавшихся за ночь подлещиков на самодельной жаровне из кирпичей и куска железной решетки. Вся дача провоняла жареной рыбой, Никита боялся, что их найдут по этому неистребимому чаду, а Катя резонно возражала, что надо же что-то есть. У Никиты со съестными припасами было туго, и он сам, поворчав, налегал на улов.

– Значит, они оборотни?

Катя укололась крючком, ойкнула и вздохнула:

– Откуда ж я знаю. Может, не разучились еще людьми казаться. А может, вы что хотели, то и увидели.

– Я не хотел!

– Все хотели детей увидеть, а не зверей. Даже ты. А раз вас столько в одном месте с одним желанием собралось... Сами же им и помогли.

– Морок навести?

– Угу.

Леска распутывалась, крепкие тугие узлы расплзались прозрачными петельками.

– Может, – Катя поддела очередную петельку ногтем и аккуратно вытянула.

После этой неудачной попытки договориться с людьми Никита и приволок пугало. Чтобы теперь попробовать с теми, другими – если не договориться, то хотя бы поговорить.

Испугалась Катя, конечно, не чучела, самой устрашающей деталью которого было нелепое пальто безжалостного советского покроя, а Никитиной идеи. Он, оказывается, запомнил из ее рассказа про облюбованное неведомыми тварями село Стояново одну подробность – насчет истуканов, которых запрещал ставить дед, чтобы в них не «залезали всякие, у кого своего тела нет». Скульптор с дальнего участка пропал не один – вместе с ним исчезли, словно ушли, и его ангелоподобные пионеры. И из этого Никита сделал молниеносный вывод, что с «истуканами» во Вьюрках действительно что-то происходит, а раз происходит – надо попробовать наладить контакт и спросить, наконец, что нужно новым соседям.

Катя не понимала, зачем ему этот контакт. Говорила, что они, скорее всего, даже не обратят на них внимания, а если заинтересуются – это еще хуже. Потому что, как бабушка говорила, не каждому их интерес пережить удастся. Катя сама пыталась в свое время поговорить с лешим, но он ее словно и не заметил. И с теми, кто поселился на реке, она тоже пробовала завести беседу по всем правилам – и обнаружила, что они не отвечают, а просто повторяют на разные лады ее собственные мысли и воспоминания. Может быть, разума в человеческом понимании у них вовсе и нет...

– Но они же тогда тебя спрятали, – перебил Никита.

– Не они, а Ромочка.

– Да какой... – и тут он наконец вспомнил. – Тот слабоумный, что ли? Который пропал?

– Не пропал, а к ним ушел, в реку, – Катя умолкла, опустила глаза, а потом вдруг взглянула на Никиту в упор, с вызовом. – Я его отдала.

– З-зачем?..

– Он сам хотел. Просил очень. Ему с ними лучше, чем с нами, там он... не слабоумный.

И снова повеяло от Кати чем-то чуждым, трудноуловимым, но явно имевшим отношение к тем самым неведомым тварям, новым «соседям», а не к реальным, нормальным Вьюркам, населенным нормальными людьми. Обозленными, напуганными, непонятливыми, но нормальными. Дальше Никита вникать не стал, ему, наоборот, хотелось побыстрее выкинуть эти мысли из головы, а Катю – вытянуть в человеческую реальность из того враждебного и странного измерения, в котором она, как Никите теперь казалось, с самого начала стояла одной ногой, словно в могиле. Всех хотелось вытянуть, но Катю в первую очередь.

Вообще же Никита уже вторую неделю как бросил пить, совсем. Он чувствовал в себе огромную энергию и готовность, а главное – силу сдвинуть горы, спасти принцессу от дракона, разогнать сгустившийся над Вьюрками морок и даже перевернуть, как положено, землю.

– Надо спросить, зачем они пришли. Чего от нас хотят.

– А если ничего? – Катя широко развела руками, в одной из которых болталось тяжелое грузило-блинчик. – Или они пришли за нашими душами?

– Вот и выясним, – мрачно ответил Никита и ушел устанавливать пугало, разочарованный тем, что даже Катя – и та его не понимает. А ведь он специально приберег для нее остроумное сравнение с ловлей на живца, которое она, как заядлый рыбак, должна была оценить... всю жизнь он мучился от того, что все люди вокруг как будто настроены на одну волну, а он – на какую-то другую, неправильную, и совпадений почти не бывает, даже с самыми близкими. А с Катей, казалось, совпало на мгновение, он успел почуять что-то знакомое, понятное, неправильное – и вот опять.

Впрочем, больше Катя не возражала, а когда Никита, подумав, предложил установить пугало на своем участке и налаживать контакт в

одиночку, раз она так боится, – только хмыкнула:

– Нет уж, давай вместе.

Никита принес фонарики, свечи и, помня о бдениях Витька у приемника и о загадочном звонке, благодаря которому Катя так вовремя сбежала, – все средства связи, какие нашел. Два мобильника, свой нынешний и древнюю «нокию», тяжелую и неубиваемую. Еще планшет зачем-то и маленький радиоприемник. Спросил у Кати, что еще нужно, и получил краткий ответ:

– Топор.

Все-таки Катя ему нравилась.

Пугало поставили перед самым окном, так, чтобы у него не было ни единой возможности ускользнуть из поля зрения, затаиться и затениться, как все особые твари испокон веков делать любят. Разложили на полу атрибуты своего нелепого спиритического сеанса: заряженные до упора мобильники, подсветка на которых горела уютно, как ночник, тихо шипящее радио, топор, полынный веник, березовый веник, несколько кусков сахара – это Катя притащила, а Никита не стал выяснять зачем, – свечи в банках и несколько крепких палок. И сели ждать.

Ждали напряженно и даже торжественно. Скользили по пугалу лучами фонариков, проверяли мобильные – совсем как в далекие привычные времена, когда фантомное жужжание в кармане то и дело заставляло нажать на кнопку, глянуть на дисплей. Радио наполняло серую летнюю ночь своим, тоже как будто бы серым шипением.

Спать не хотелось, у Никиты от волнения пульс гремел во всем теле индейскими барабанами, и в животе бурчало – тоже, видимо, от волнения. В тишине это было слышно довольно отчетливо, Никита стеснялся и неловко прижимал к животу локоть, пытаясь задавить неподобающие звуки. И вдруг услышал, что у сидящей рядом Кати тоже бурчит в животе. Ведь они были так увлечены всей этой подготовкой к контакту с неведомым, что даже не поужинали. Катя, понимающе улыбнувшись, сделала радиошипение погромче. А Никита даже обрадовался, что и у нее нутро протестует – это делало Катю телесной и обычной, возвращало из зыбкого иномирья, с которым она была как-то связана. Никита до конца не понимал, в чем именно заключается эта связь, но чувствовал ее как соринку в глазу. На

рассвете, когда в сон все-таки потянуло, и сильно, связь стала представляться ему крученой ниткой раздражающе красного цвета. И он, уплывая в полусон и возвращаясь, все пытался вспомнить, где же лежат ножницы...

С пугалом ничего не произошло. Распятое на палках пальто мирно висело на своем месте, и тихо, даже мелодично постукивали друг о друга на утреннем ветерке консервные банки.

На вторую ночь они разговорились. Никита, памятуя про упреки, что он защищает Катю, даже фамилии ее не зная, осторожно расспрашивал. Фамилия оказалась совершенно обычная, такая обычная, что он тут же ее снова забыл. Работала Катя редактором на фрилансе, вот и могла себе в прошлой жизни позволить торчать на даче все лето – работу привозила с собой. Семья ее перестала сюда ездить, потому что мама была последовательной противницей копания в грядках, вечного приколачивания, подновления, приведения в божеский вид и прочего трудоемкого дачного быта. Раньше возили, как положено, «на свежий воздух» маленькую Катю и старенькую бабушку Серафиму, а как выросла Катя и не стало Серафимы – так и перестали. Самой Кате возить сюда было некого: дети у нее, абсолютно здоровой, отчего-то не заводились. Муж был, развелись полюбовно, решив, что раз детей нет, то и семьи нет, и пусть каждый идет своей дорогой. Оно, может, и к лучшему: в одиночестве Кате было как-то проще, спокойнее – с самого детства, она никогда не просила братика или сестричку. Это бабушка все наседала, прямо всерьез на маму с папой ругалась – ребенок один-единственный, да разве ж так можно, куда это годится, полна лавка должна быть. А одной, может, лучше – живешь как хочешь, никто не мешает...

– И на рыбалке хоть целый день сиди, – не удержался Никита, до этого молча кивавший – доказательства пользы и удобства одиночества у него самого были ровно те же.

– Да что ж вы все к этой рыбалке-то привязались? Достали уже! – рассердилась вдруг Катя. – Нравится мне рыбу ловить! Все!

– Ну, вроде как чисто мужской забавой считается. Хотя я вот не понимаю, чего там интересного, – миролюбиво сказал Никита.

– Тоже мне мужик. Это ж добыча, азарт. И медитация заодно... – Катя помолчала. – А еще на рыбалке прятаться хорошо.

– Прятаться?

– А для чего люди на дачу ездят? Чтобы ото всех спрятаться. Тут ты дважды огорожен – участком и домиком еще. Существовай как хочешь. Это не отдых, для отдыха на море катаются. А дача не для того, здесь теперь особая порода живет – дачные люди. Вот ты сюда зачем ездил?

– Бу... бухать, – честно ответил Никита.

– Вот. Спрятался ото всех и бухаешь. Тут укрытие, тут логово. Для тех, кто не успевает. За жизнью, и вообще, сейчас время такое быстрое... И всем ты должен. Успешным должен быть, счастливым, должен соответствовать. Не каждому же это нравится, мне вот не нравится, например.

– Мне тоже.

Впервые за много лет Никита почувствовал, что находится с кем-то на одной волне – хотя вся эта чудная дачная философия никогда ему в голову и не приходила.

– Потому ты и стал дачным, – кивнула Катя. – Тут ты – человек обособленный, отдельный, никто к тебе не лезет и в тебя не лезет. Даже Интернет... помнишь, тут с Сетью вечно проблемы были? И еще на дачу всегда старое тащат, хлам весь этот. И сами домики древние, новая дача – она же какая-то неправильная, да? Как будто мы тут время остановить пытаемся, потому что не успеваем...

– А может, мы сами все это и сделали? Остановили время, убрали выезд? Сделали дачу вечной, чтобы... ну, навсегда спрятаться? А чудищ позвали, чтобы скучно не было.

– Кто – мы? – неуверенно усмехнулась Катя. – Мы все? Или мы с тобой?

– Да хоть бы и мы с тобой. Прикинь – все это из-за нас, мы главные выюлковские злодеи. Повелители морока, сдвигающие реальность...

– И все потому, что мы не успели за жизнью. Неудачники со стажем. Признай, Павлов – ты неудачник.

– Я неудачник, – с жаром подтвердил Никита. – Даже хуже – я дачник. И вообще, мне здесь уже почти нравится. Вечное лето, паранормальные явления... Я, между прочим, все детство к вторжению пришельцев готовился, фильмы и мультики только про это смотрел. Я, может, и запил оттого, что никто к нам не вторгся.

– Тридешатое царство дачников, компостные реки, яблочные берега, – уже в голос смеялась Катя. – Мне здесь тоже почти нравится. Вот только если бы они вели себя попримичнее и выход вернули... Я бы, пожалуй, осталась. В гостях у сказки.

– Только сказка какая-то стремная.

– Какое время, такие и сказ...

И тут, заглушив их сдавленный хохот, громыхнули за окном консервные банки, а из мирно шипящего приемника вырвался протяжный механический рев. Никита и Катя вскочили, зашарили во тьме фонариками, выхватывая бледную ночную траву и листья.

Пугала перед домом не было.

Они обыскали заросший сад, чертыхаясь и путаясь в ветках, несколько раз напугали друг друга до полусмерти и потеряли фонарик. Потом, когда солнце уже взошло, Никита отправился искать дальше, по улицам, а Кате пришлось вернуться обратно.

Уже подходя к даче, она увидела фигуру, знакомую каждому хотя бы по картинкам в веселых детских книгах: руки-палки, раскинутые как будто в попытке обнять ветер, колышущиеся под ними лохмотья... Пугало вновь стояло на полянке, честно и открыто, под самым окном, в акварельных лучах утреннего солнца. Только выглядело оно теперь как-то по-другому.

Катя схватила с земли камень и медленно обошла пугало по кругу. Ни одного подозрительного шевеления, а вот изменилось пугало здорово. Во-первых, теперь у него была голова – туго набитый мешочек из обыкновенной наволочки, на истершейся ткани еще угадывались цветоподобные разводы. Во-вторых, голову эту украшала детская панамка, из тех, что застегиваются сзади на пуговку. Дико и даже страшно смотрелась на безликом чучеле эта панамка с трогательными синими корабликами, знак того, что оно побывало там, где водятся человечьи детеныши, легкая и доверчивая добыча. В-третьих, консервных банок, по громыханию которых пугало можно было найти даже в темноте, больше не было – их оторвали вместе с веревками.

Катя подошла поближе, заглянула в слепое лицо под панамкой, от которого ощутимо пахло старой тканью, пылью, мышами. Позвала шепотом, не зная, как и обратиться-то к пугалу огородному:

– Эй...

И прислушалась, одновременно боясь и надеясь, что в доме зазвонит телефон, завоет все еще работающее радио. Главное, чтобы само не заговорило, чтобы мятая наволочка не провалилась вдруг, превращаясь в яму беззубого рта...

Пугало молчало, и тут Катя увидела еще одно украшение, которым оно обзавелось, блуждая по Вьюркам. Мелкие птичьи головки, оборванные вместе с шеями и рядком уложенные на истрепанную ткань бурого пальто. Много, много голов, взъерошенные, слипшиеся от крови перышки, глаза, закатившиеся под нежные сероватые веки, и острые птичьи языки, беспомощно торчащие из приоткрытых клювов.

Воробьи, дрозды, овсянки – бесшабашная птичья мелочь, говорливыми тучами налетающая на драгоценную вишню с клубникой. Садовые вредители, для борьбы с которыми и сделали пугало. А пугало сделало себе из них не то воротник, не то ожерелье.

Не сводя глаз с украшенной мертвыми головами фигуры в куцем пальто – а то вдруг ускользнет, исчезнет, распадется на случайные тени, – Катя метнулась в дом за топором. И быстро, чтобы не успеть задуматься о том, а не стало ли пугало теперь живым, срубила сухую палку – его единственную ногу. Пугало рухнуло в траву, всплеснув руками, и Катя снова замахнулась.

Вечером, когда Никита вернулся после тщетных поисков на тринадцатую дачу, расчлененное пугало уже покоилось в трех ямах на разных концах участка. А утомленная его похоронами Катя спала в углу, так уютно свернувшись клубком на старом матрасе, что Никита не удержался и погладил ее, как дремлющую кошку. Сначала по щеке, потом по плечу, по бедру, которое просто само собой подвернулось. А потом почувствовал на себе ее взгляд.

– Дай поспать, – сонно и недовольно сказала она.

– Я его не нашел.

– Вернулось твое пугало. Красивое такое, принарядилось... Я его сломала и закопала. И чтоб больше никаких контактов, понял?

– Понял, – и Никита снова ее погладил.

– Павлов, – нахмурилась Катя. – Вот тебе обязательно дружбу всяким таким портить?

Но Никите отчего-то вдруг показалось, что именно всяким таким и можно разорвать крученную красную нить, уничтожить трудноуловимую Катину связь с тем пугающим миром, где водились безглазый леший, горящая Полудница, подменыши-людоеды... Чтобы она стала обыкновенной женщиной, которую он, обыкновенный мужчина, хочет. И он решил, что да, обязательно. Наверное, Катя тоже это почувствовала, потому что она сама, продолжая ворчать, протянула руки, прижалась к нему. Она оказалась горячей со сна, совсем худой, с кожей суховатой и гладкой, как бумага, которую он все боялся поранить случайно, порвать кое-как подстриженными ногтями.

Катя проснулась, когда уже стемнело, и тут же почувствовала к посапывающему рядом Никите неприязнь, обильно приправленную стыдом. Стало так неловко, и вспомнилось, что вовсе он не красавец и умом нельзя сказать, что блещет, и руки у него слишком длинные. А главное – он же пьет. Катин папа тоже любил выпить, иногда, но крепко – ведь пришлось же ей как-то, совсем еще маленькой, тащить его в дачу на собственном горбу. Даже пьяный папа становился чужим и противным, а тут – целый Павлов, известный всем Вьюркам пьяница и лоботряс. Симпатия к Никите улетучивалась так стремительно, что даже запах его казался теперь неприятным. Говорила же, что не надо все портить. И не ему первому говорила, с тем же результатом – ну не понимают мужики таких вещей. Ведь если являешься стороной принимающей, а не проникающей, все гораздо сложнее...

Катя потихоньку включила фонарик, направила его на окно и подползла к подоконнику, чтобы посмотреть в уцелевший кусок стекла. Ну, так и есть – вся растрепанная, одна щека опухла, морщинки проступили. Еще не хватало, чтобы все испортивший неудачник Павлов проснулся и увидел ее такой. Катя яростно потерла отечную щеку, зажала в зубах резинку для волос и стала заплетать косу, чтобы снова лечь спать и проснуться уже в более приличном виде.

Ночные бабочки белыми пятнами мелькали в тусклом свете фонарика, стучались о стекло, не догадываясь его облететь. Катя позевывала. Одна бабочка, крупная, все вилась в отдалении, а потом решила наконец приблизиться, надвинулась на кусок стекла и внезапно закрыла его целиком. Теперь Катя видела свое отражение не на темном фоне, а на белом, с черными пятнами, в которых она после секундного замешательства опознала гротескные черты лица:

размазанные глаза на разном уровне, широченный рот, к которому были пририсованы клыки, какой-то ржавый штырь вместо носа.

С той стороны в окно смотрело воскресшее и преображенное пугало, буравя Катю угольно-черными кляксами глаз. Лицо, изображенное на старой наволочке, получилось необыкновенно свирепым. Катя вспомнила, как собственноручно вытряхивала из этой наволочки опилки, землю с комьями мягкого мха. Теперь щека и лоб у пугала были разорваны, и оттуда торчала грязная, мокрая трава.

Катя вскочила, сжимая в руке фонарик, и пугало тоже выпрямилось, заслонив собой все окно. Оно воссоздало себя совершенно другим, и почти ничего человекообразного в его облике не осталось. Голова переместилась куда-то на грудь, конечностей стало гораздо больше, уходила во мрак длинная ломаная спина...

А еще пугало вооружилось. Оно обзавелось многочисленными шипами из гвоздей, заточенных велосипедных спиц и просто каких-то штырей. В дело пошли даже металлические крышечки от бутылок, которыми земля вокруг заброшенной дачи была буквально усыпана. Теперь они были глубоко вбиты в его деревянное тело, так что снаружи остались только острые края, расплющенные и чем-то заточенные. Катя явственно представила себе – чирк, и расходится нежная человеческая кожа... Шипы и лезвия были везде – они драконьими когтями поблескивали на многочисленных то ли руках, то ли ногах пугала, топорщились вдоль казавшейся бесконечной спины, железным нимбом окружали свежееобретенное лицо. И на острия, из которых состоял нимб, были насажены те самые птичьи головы.

Пугало, не сводя с Кати нарисованного взгляда, двинулось вперед, звякнув остатками оконного стекла, но тут же отпрянуло. А Катя, чувствуя, как все внутри стынет от ледяного ужаса, протянула к нему трясущуюся руку:

– Стой. Прости меня. Я не трону...

Пугало застыло на месте, подергивая головой и изгибая свою чудовищную сороконожью спину. Оно как будто тоже боялось. А Катя вспоминала, как рубила его топором, рвала на части кургузое пальтишко.

– Поговори, – все бабушкины словечки разом вылетели из головы, да и не знала Катя, как нужно обращаться ко «всяким, у которых

своего тела нет». – Поговори со мной. Что вам нужно? Зачем пришли? Кто вы?

И на всю дачу загремела вдруг электронная мелодия – старенький телефон полз по полу, жужжа и играя «К Элизе» Бетховена. От звонка проснулся Никита, подскочил, испуганно охнув. Катя, не оборачиваясь, замахала на него руками, пытаясь одновременно призвать к тишине и указать на телефон. У Никиты глаза на лоб полезли, когда он увидел пугало за окном, но все-таки он сообразил, схватил телефон и после секундного колебания поднес его к уху. И сдавленный, полностью лишенный дыхания голос просипел из трубки так громко, что Катя тоже слышала:

– Сос-с-седи... – а потом вдруг затараторил, меняя тембры и интонации: – Убили, убили, убили, убили!..

И пугало исчезло в темноте, послышался шум и треск веток. В трубке тоже затрещало, а потом дико, тоскливо завывало, и Никита, окончательно проснувшись и испугавшись до полусмерти, отшвырнул телефон подальше.

– Держи его! – отчаянно крикнула Катя и, схватив подвернувшуюся под руку палку, вылетела за дверь. Никита с топором наперевес рванул следом, а в ушах у него по-прежнему шипел полный яростной, неизбывной обиды голос: «Убили, убили!..»

Невероятно длинное, похожее на шагающую кинетическую скульптуру пугало металось по ночной улице, ломая кусты и с грохотом ударяясь о заборы. Когда Кате удалось наконец догнать его, она вцепилась в одну из деревянных ног и с отвращением почувствовала, как та движется, почти пульсирует под ее пальцами. Пугало с легкостью отшвырнуло ее, распластало на потрескавшемся асфальте и нависло сверху. От матерчатого лица с перекошенным ртом по-прежнему пахло мышами и пылью. Катя зажмурилась – скорее даже не от страха, а просто чтобы не видеть этой нарисованной углем свирепой боли, этих ран-прорех на щеке и на лбу, – но тут раздался глухой удар топора, и пугало ее отпустило. Это Никита рубанул его по спине, лишив сразу трети многолапого тела. Отсеченная часть скатилась в канаву и забила там исполинским полураздавленным пауком. Пугало ринулось к Никите, но снова налетело на топор и попятилось. Сзади была ограда чьего-то участка. Катя крикнула, что

надо отрубить голову – хотя вовсе не была уверена в том, что даже после этого пугало остановится, – но было уже поздно. Молчаливое чудовище вздыбилось во весь оставшийся рост, ухватило за забор и перекинуло извивающееся тело на другую сторону.

Катя и Никита на секунду оцепенели, поняв, что сотворенный ими монстр идет к людям. Никита перемахнул через забор вслед за пугалом, а Кате не хватило сил и роста, и она бросилась искать калитку. Калитка оказалась заперта на замок, и пока она в отчаянии пыталась ее выломать, раздался звон стекла, в освещенной даче замелькали человеческие фигурки. Потом Никита крикнул:

– Не трожь его!

И все утонуло в шуме и воплях, таких беспомощно-истощенных, что Катя сначала забарабанила по доскам, закричала, срывая голос, в ответ. Чушь какую-то кричала: «Не надо, хватит, не надо, пожалуйста!..» – а потом сползла на землю и застыла, крепко-накрепко зажав уши ладонями.

Здесь, у калитки, ее и нашли разбуженные криками вьюрковцы. Усова среди них, к счастью, не было. Спросонья никто не понимал, что вообще происходит, да и Катю дачники боялись – не решались приблизиться, все топтались поодаль, высматривая, не торчат ли у нее изо рта клыки, не отросли ли когти или, к примеру, рога. Наконец Андрей и собаковод Яков Семенович, как самые храбрые, подошли и подняли ее на ноги. Зубов и когтей не обнаружилось, лицо у Кати было вполне человеческое, чумазое и заплаканное. Она не сопротивлялась, только безостановочно и беззвучно что-то шептала.

Пугало, как выяснилось, залезло во владения Клавдии Ильиничны. Вечно сюда всякую нечисть будто притягивало, будто знала она, кто во Вьюрках главный. Спать Петуховы еще не легли, и в одном из окон дачи сверкала старая люстра-каскад с прозрачными пластмассовыми подвесками, из тех, что висели когда-то в каждой приличной квартире. Туда пугало и метнулось – то ли просто на свет, как огромный мотылек, то ли этими самыми подвесками соблазнилось, переливающимися и заостренными на концах. Не оно первое соблазнилось – люстра и без того была щербатая, пострадавшая от племянников, и на дачу ее в свое время сослали именно за не слишком презентабельный вид.

На звон разбитого оконного стекла и грохот прибежал Петухов – и сначала обмер, увидев шипастого многолапого монстра, уже воткнувшего в свою наволочную голову с десятков подвесок на манер короны и теперь пытающегося выдрать люстру из потолка целиком. Сначала обмер, а потом схватил кочергу и бросился защищать от чертовой твари свою люстру, свой дом, свою Клавдию. Тогда-то Никита, увидевший все это с улицы, и заорал, сам не зная, к кому обращается – к Петухову или к пугалу:

– Не трожь его!

Когда на участок явились остальные дачники, все уже закончилось. Везде были стекла, алые брызги и обломки злополучной люстры. Под окном, в хризантемах, лежал мертвый изломанный Петухов. Клавдия Ильинична сидела на крыльце, держась за левый бок и глядя вокруг с каким-то абсолютно бессмысленным, первобытным недоумением. Увидев людей, она подалась вперед, будто хотела что-то сказать, но так и осталась сидеть с приоткрытым ртом.

А посреди всего этого продолжал мерно махать топором Никита в залитой кровью футболке. Останки пугала, которое он изрубил уже практически в щепки, тоже никак не могли успокоиться, они шевелились по-паучьи и вздрагивали. Вьюрковцы не сразу их заметили, и поначалу им представилась ужасающе ясная картина: Никита Павлов в приступе белой горячки зарубил этим самым топором несчастного Петухова.

Тут Катя, которую держали под локти Андрей и Яков Семенович, вдруг рванулась к Никите с криком:

– Хотел выяснить?! Выяснил?!

– Главное – сохранять спокойствие... – Клавдия Ильинична тоже вышла из оцепенения, приосанилась, откашлялась. – Главное... чтобы никакой паники... надо сохранять...

И она заплакала, по-бабьи охая и подвывая.

– Павлов, отдай топор, – ровным дружелюбным голосом, каким обычно говорят с сумасшедшими, попросил Андрей.

Никита внимательно осмотрел все, что осталось от пугала, и бросил топор в траву.

– Да подавись.

Сзади уже подкрадывался Пашка, припадая на покалеченную зверем ногу и жестами показывая остальным, как удобнее будет Никиту обезвредить. Никита его видел, но в данный момент ему было плевать. Шуршали в траве агонизирующие останки пугала, всхлипывала Клавдия Ильинична, а Катя продолжала шептать одними губами:

– Убили, убили, убили...

Пряничный дом

Знакомы они были с детского сада, изучили друг друга до последней складочки и даже обычные свои имена синхронно исковеркали в приступе подросткового неприятия – стали Дэнчиком и Стасей. Оба никак не могли понять – хотя, конечно, вслух такое не обсуждали, – чем же считать их удобное взаимодополнение, дружбой или уже, что называется, отношениями. Спали они друг с другом скорее просто в силу разнополости. Стасе в этих самых отношениях не хватало глубины, страсти, о которых она столько слышала и читала, а Дэнчику в ней самой не хватало шика, ослепительности, чтобы раз – и сбило с ног, и «смотрите все, это моя девушка». Но вместе было так привычно, и уютно, и взаимовыгодно, что Стася уже была согласна и замуж когда-нибудь за Дэнчика выйти, если настоящей любви так и не подвернется.

Началось все с того, что Дэнчик нашел у бабушки на антресолях советскую туристическую палатку и загорелся идеей протестировать ее на природе. Поскольку ночи стояли жаркие, а палатка оказалась довольно тесной, в спутники идеально подходила Стася – если, конечно, не поднимет писк, что там комары, змеи и вообще страшно. Стася, естественно, была совсем-совсем не похожа на обычных девчонок: она ничего не боялась, отлично плавала и вообще была приспособлена к реальной жизни – и так рьяно доказывала это Дэнчику, что сама не поняла, как очутилась в загородном автобусе с ним, палаткой, двумя рюкзаками и связкой каких-то палок. Дэнчик с азартом рассказывал о реке Сушке, по которой ходил в детстве с родителями на байдарке, и обещал сказочные красоты.

Автобус выплюнул их у старой, обильно расписанной местными умельцами остановки. В глубине ее темнела огромная неровная надпись «ИДИ ДОМОЙ», умилившая Стасю своей цензурностью и даже какой-то смутно уловимой заботливостью.

Они обогнули остановку и оказались на краю дорожной насыпи, с которой открывался вид на бархатное поле, чуть подальше то зараставшее лесом, то снова оголявшееся, и речку, притененную куполами ив и зарослями борщевика.

– Вот это я понимаю, – довольно сказал Дэнчик и поскакал вниз, неуклюже запинаясь, чтобы уменьшить разгон.

Дедушка, в котором Никита Павлов в детстве души не чаял, говорил, что от аптечной химии один вред, и лучшие лекарства, особенно в походных условиях, – моча и подорожник. Аптечной химии под рукой не было, а насчет мочи Никита все-таки сомневался. Он сидел на колоде под забором, срывал листики подорожника и, поплевав, приклеивал их к своим многочисленным порезам. Пугало, оказывается, здорово его покровсало – на некоторые раны приходилось лепить целые композиции, как в школьной гербарии, просто чтобы закрыть их целиком. Ночью он никакой боли не чувствовал, махал и махал топором, как взбесившийся дровосек. Зато теперь все болело и щипало, в голове стояла мучительная муть, глаза слипались.

Мужа Клавдия Ильинична закопала сама. Ну то есть закопала бы, если бы ей это позволили остальные дачники, поначалу молча наблюдавшие за тем, как она ожесточенно отковыривает заступом тонкие пластинки глинистой земли, будто дорогой сыр нарезает. Подошел бородатый Степанов, деликатно принял из дрожащих, уже закровавивших с непривычки рук председательши плохо отшкуренный черенок и принялся рыть могилу. Клавдия Ильинична стояла рядом, кутаясь в шаль, смотрела на длинный мешок с телом Петухова – обыкновенный мешок, для картошки, – и на растущую вглубь яму. Место выбрали хорошее – над Сушкой, сразу за насыпью, подальше от воды, но река вся как на ладони, с излучиной, с подточенными бобрами, низко склонившимися ивами.

Пока искали подходящий мешок и жгли то, что осталось от пугала, председательша сидела на крыльце, неподвижно уставившись набрякшими от слез и тяжелой ненависти глазами на Катю, которую по-прежнему крепко держали за плечи Андрей с собаководом.

– Ты-ы... – тянула она, совсем как Витек, когда первач гнал его на поиски причины всех жизненных бед, и он находил тетю Женю. – Ты...

Катя молчала. Клавдии Ильиничне пытались объяснить, что это не зверь напал на их дом, а какое-то деревянное чучело, показывали

дергающиеся обрубки, которые долго еще находили в траве и поспешно кидали в огонь. Она не слушала, только качала головой:

– Ты-ы...

Наконец Катю увели от греха подальше. Дачники не очень представляли, что теперь с ней делать. А она не сопротивлялась, смотрела куда-то себе под ноги и молчала, чем нагоняла на них еще больший страх. Поэтому ее заперли в пустом железном гараже, где Петухов некогда лелеял свою «Волгу» и где все еще витали неистребимые машинные запахи. Катя сначала остановилась на пороге: она, кажется, не очень понимала, что происходит и чего от нее хотят, но никто не решался втолкнуть ее внутрь. Потом, когда она молча шагнула за порог, Андрей налег на дверь, чтобы петли сошлись и можно было повесить замок. Вот тут Никита, про которого все забыли, и решил воспользоваться моментом – он прыгнул на Андрея, оттолкнул его и распахнул дверь:

– Давай беги!..

Из гаража не донеслось ни звука, дверь тут же закрыли и заперли, а Никиту после короткой потасовки с Андреем выпроводили на улицу.

Потом все, кроме все тех же Якова Семеновича с Андреем, добровольно вызвавшихся охранять гараж, отправились хоронить Петухова. А Никита, сам удивляясь своему обреченному на провал упорству, долго бродил под забором и выкрикивал все то же самое: что Катя ни при чем, что звери – это дети Бероевых, и это их надо ловить и запирасть, пока они еще кого-нибудь не сожрали. А с пугалом, да, поганно вышло, но это он, лично он виноват, и пусть его самого посадят к тварям, которых пестует Светка, он согласен, только пусть сначала поймают их и отпустят Катю... На душе после всего произошедшего было паскудно, выпить тянуло со страшной силой. И он, наверное, все-таки ушел бы к себе на дачу опустошать последние запасы, чтобы забыть и о чертовом пугале, и о Бероевых, и о Кате, которой все равно ничем нельзя помочь. Ушел бы, если бы не Юки, запоздало примчавшаяся выяснять, что творится во Вьюрках на этот раз.

Она ходила за Никитой хвостом и кивала, округляя неумело накрашенные – потому, видимо, и опоздала – глаза:

– Я так и думала...

Неизвестно, что она там на самом деле думала, но моральную поддержку обеспечивала.

К тому времени, когда вьюрковцы вернулись с похорон, Никита уже устроил себе наблюдательный пункт чуть поодаль, у чужого забора, – отсюда никто пока не гнал и участок председательши хорошо просматривался. Нашел подгнившую колоду, прикатил, установил в теньке – в общем, обосновался вполне удобно. Он ругал себя за неспособность просто пойти к председателю и героически, в одиночку спасти свою криворотую принцессу, будь она неладна, но с поста не уходил. Юки теперь обеспечивала не только моральную поддержку, но и ближнее наблюдение и прибегала каждые десять минут, чтобы отрапортовать, что на участке ничего не произошло. Это успокаивало.

Поэтому задремавший Никита не сразу открыл глаза, услышав в очередной раз ее приближающийся топот. И подпрыгнул на своей колоде, только когда разобрал, что именно она выкрикивает.

– Усов! – причитала Юки. – Усов! Убьет!..

Дэнчик привередничал – то ему тень не нравилась, то, наоборот, солнцепек, то земля была неровная. Для установки палатки условия, по его мнению, требовались идеальные. С берега Сушки они ушли – там было сильно намусорено. Дэнчик еще сказал: обратите внимание на места древних стоянок хомо шашлыкус, – и они долго не могли успокоиться, повторяя шутку на разные лады.

Теперь вокруг был лес, изрезанный многочисленными тропками, негустой и мшистый. Еще на опушке Стася заприметила в траве благородно-бурые шляпки белых грибов и постепенно набрала почти полный пакет, в который то и дело совала нос. Грибы пахли так вкусно, что хотелось съесть их немедленно, сырыми. Да и вообще есть уже хотелось довольно сильно.

– Вот, – объявил наконец Дэнчик.

Перед ними была полянка, почти полностью соответствовавшая его представлениям об идеальном месте: ровная, поросшая мхом и тонкой мягкой травой, опушенная по краям густым малинником и прикрытая от довольно злого уже солнца нависшими березами.

Оказалось, что установить палатку не так-то просто. Дэнчик, заранее изучивший в Интернете все схемы и инструкции, даже хотел еще раз погуглить, но обнаружил, что Сети тут нет. В конце концов, раза с четвертого, вместо малопонятной брезентовой инсталляции у

них получилась вполне себе палатка, только верх почему-то провисал и одна веревка оказалась лишней.

Забравшись внутрь, Дэнчик открыл теплое пиво, и они пообедали мятыми и поплывшими, необыкновенно вкусными бутербродами. И сразу же потянуло прилечь, отдохнуть, сонная лень разлилась по мышцам. Выяснилось, что тонкое одеяло всего одно, и они со смехом возились в пропахшей пылью тесноте, делили его, потом посерьезнели и деловито переключились на прохладные от пота тела друг друга. Потом задремали, причем Стася хотела по-романтичному, не расцепляясь, но Дэнчику все-таки удалось перед самым провалом в сон устроиться по-нормальному, носом к стенке.

Когда Никита влетел на участок председательши, огромный бочкообразный Усов уже почти сбил прикладом ружья замок с двери гаража. На нем, как собаки на медведе, висели Степанов с Андреем, остальные дачники, трепеща от страха и любопытства, следили за потасовкой с безопасного, по их мнению, расстояния: кто с веранды, кто из-за забора. Стоял страшный крик: Усов ревел, что перестреляет всех к чертям собачьим, если не отвяжутся.

Никита бросился в тройственный клубок дерущихся, оттолкнул кого-то и, почувствовав в руках холодную тяжесть ружья, изо всех сил дернул его на себя. Вопли вокруг стали оглушительными, боль разорвала низ живота и пах, а в мозгу, который словно отделился от орущего тела, мелькнула мысль – почему не было слышно выстрела? Никита рухнул в шиповник вместе с ружьем и, миновав испепеляющий пик боли и кое-как отдышавшись, страшно обрадовался: крови нигде не было. Усов не стрелял в него, просто двинул коленом по самому ценному. Неслабо так двинул, но зато ружье теперь у него, победа...

Сломанный замок, звякнув, упал на дорожку – Усов распахнул дверь гаража и шагнул внутрь.

Никита отшвырнул ружье, забился в шиповнике, пытаясь встать. Моментально сбежавшиеся обратно к гаражу дачники чуть его не затоптали. Они толклись в дверном проеме плотным бестолковым гуртом, не давали друг другу пройти. Из глубины раздался короткий крик, и Никита рывком высвободился, ломая колючие ветки, – это Катя кричала.

И тут ослепительно-белая вспышка беззвучно полыхнула в гараже и раскаленной волной вырвалась наружу, пригибая траву к земле. Люди кинулись врассыпную, закрывая лица руками от нестерпимого жара.

И наступила полная тишина.

Стася проснулась от того, что ей очень хотелось в туалет. Вот за это она и не любила пиво. Сонная, почти не разлепляя веки, выбралась из палатки, присела под кустик.

Почему-то было очень тихо. Ни шороха листьев, ни пересвистывания птиц, ни сухого древесного треска, непонятно чем порожденного, – странно было не слышать всего этого, особенно летним днем.

Тут Стася проснулась окончательно. Вокруг было темно. Ей казалось, что они задремали на полчаса, не больше, но их, похоже, так разморило, что они проспали до глубокой ночи. Стася подняла голову и увидела тускло-черное небо без звезд. Очень странное небо, и к тому же откуда-то все же шел слабый свет, ведь она различала очертания деревьев, палатки... Приглядевшись, Стася поняла, что эти очертания светятся сами по себе, что все вокруг фосфоресцирует, будто облепленное крохотными светлячками.

Яркая ветвистая молния расколола небо. Там клубились чернильного цвета тучи, огромные, как горы. И в центре, прямо над поляной, они закручивались воронкой. Молния вспыхнула снова, откуда-то послышался нарастающий низкий гул.

– Дэн! – завопила перепуганная Стася и кинулась к палатке.

Звонящая, давящая на уши тишина длилась пару минут. Их как раз хватило, чтобы немного прийти в себя после волны удушающего жара, открыть глаза. Тем, кто оказался ближе всех к гаражу, опалило ресницы и брови, покрасневшая кожа на лицах и руках натянулась, готовясь вздуться ожоговыми пузырями. Никита добрался наконец до двери и остановился – жар по-прежнему шел изнутри, как из печки.

– Это что было, взрыв? – дрожащим голосом спросил кто-то у него за спиной.

Ясное летнее небо мгновенно, с неправдоподобной скоростью затянули черные тучи, и на Вьюрки с ревом обрушилась буря.

Затрещали ветки, с крыши дачи Петуховых сорвался и улетел куда-то в гудящий сумрак лист шифера. Не было никаких первых капель – дождь с градом упали с небес сразу, тяжелым занавесом, а раскаленный гараж зашипел и подернулся белесой дымкой. Никита снова кинулся туда, натянув на нос мокрую футболку, и в то самое мгновение, когда он шагнул внутрь... гараж исчез. Вокруг были кусты проклятого шиповника, трава, а вот гаража не было.

Никита бросился обратно к мечущимся по участку дачникам. Поймал Андрея и яростно затряс его, требуя объяснить, куда делся гараж. Андрей посмотрел на него с испуганным недоумением и махнул рукой в сторону. В сторону гаража, который стоял на прежнем месте. Но Никита уже смотрел остекленевшими глазами через плечо Андрея – на персидскую сирень, гордость председательши. Сейчас эта цветущая гордость вяла, чернела и усыхала, точно в ускоренной съемке. И гнилая чернота расплзалась, пожирая остальные деревья и кустарники, они будто истлевали на глазах. А сквозь них проступал маревом совершенно другой пейзаж: березы, елки, устланная хвоей земля... Сквозь участок председательши проступал лес.

От этого двоения – даже не в глазах, а где-то в мозгу, в сознании, – у Никиты невыносимо заболела голова. Так сильно, что боль от удара, все еще не дававшая ему толком разогнуться, казалась теперь чем-то безобидным, вроде щекотки. Он охнул и опустился на корточки. Под ногами вместо выложенной бетонными плитами дорожки был мох. И дорожка. И опять мох. Каким-то образом они существовали в одной точке одновременно. Чьи-то холодные пальцы легли Никите на плечи, и лишенный дыхания голос прошелестел возле уха:

– С-с-спас-си...

Он обернулся, боль перекатилась в голове тяжелым шаром. В поле бокового зрения мелькнула и тут же исчезла ломаная темная фигура, будто сотканная из дождя и грозových сумерек. И еще он успел заметить глаза. Желтые, нечеловечьи, чужие глаза с вертикальными пятнами зрачков...

Хлопнула калитка, и этот обыкновенный, нормальный звук вывел Никиту из оцепенения. На участок влетел бывший фельдшер Гена и с ходу заматерился, заорал, требуя объяснить, что вообще происходит.

Никита, пошатываясь, встал и молча потащил Гену к гаражу, втолкнул внутрь. Жар уже стал вполне терпимым, и в гараже Никита,

как ни странно, почувствовал себя лучше: дикая головная боль утихла и, главное, ушло это вызывающее тошноту и ужас ощущение, что реальность куда-то ускользает, а ты не можешь в ней удержаться.

В гараже пахло паленым мясом.

– Твою же мать, – только и сказал Гена.

Палатка еле держалась под напором ветра и дождя, вода просачивалась сквозь ветхий брезент и капала на головы прижавшихся друг к другу Дэнчика и Стаси. Снаружи трещало и грохотало так, что вздрагивала земля. Дэнчик, инстинктивно чувствуя необходимость показать себя защитником, покровителем и вообще мужиком, бормотал, что ничего страшного, просто гроза, вот ведь удачный день они выбрали, а тех, кто прогнозы погоды составляет, вообще убивать надо. Он же на двух разных сайтах смотрел: ясно, солнечно, без осадков. Стася молчала, вспоминая накрывшую лес тьму, свинцовую воронку в небе и фосфоресцирующие контуры деревьев. Часы в телефоне показывали между тем три часа дня.

– А палатку не сорвет?.. – дрожащим шепотом спросила Стася.

– Тс-с! Это еще что?

Стася прислушалась и сразу поняла, о чем он – в шуме снаружи появился новый звук. Громкое, вполне различимое между раскатами грома гудение. И в нем чудилось что-то смутно знакомое. Стася нахмурилась, а потом удивленно заморгала: школа, третий класс – вот о чем оно ей напомнило. Они с одноклассниками дружно изводили тогда молодую нервную учительницу, монотонно гудя сквозь сжатые губы. Понять, кто именно гудит, было невозможно – учительница кидалась к одному, тот замолкал, и тут же подхватывали другие. Точно так же гудело сейчас снаружи.

Что-то тяжелое промяло вдруг брезент и навалилось на забившуюся с визгом Стасю. Дэнчик, матерясь, схватил фонарик. Но выпуклость на брезентовой стенке уже исчезла. Теперь ткань шевелилась и вспучивалась у входа, что-то слепо и бестолково тыкалось туда.

– Пошел вон! – страшным голосом заорал Дэнчик, решивший, что к ним ломится дикий зверь, и начал громко хлопать в ладоши: – Пошел! Кыш!

Фонарик, подвешенный за шнурок, болтался у него на запястье, луч прыгал туда-сюда, и Стасю затошнило – то ли от страха, то ли от этого мельтешения, то ли от того и другого вместе. Она молча сдернула фонарик с руки Дэнчика и направила на вход.

К ним в палатку лез человек. Смуглый, со скуластым азиатским лицом, в темной круглой шапочке. Только лицо это было скорее похоже на плохо сделанную маску: нос съехал куда-то набок, вместо правого глаза – слепая вмятина. Левый безостановочно бегал туда-сюда, а рот с удивительно белыми и ровными зубами оскалился в неподвижной улыбке. Из-за этих белоснежных зубов и доносилось монотонное гудение.

Дэнчик с криком лягнул человека – если это вообще был человек – прямо в смятое лицо, раздался долгий тоскливый вой, Стася уронила фонарик, и все утонуло в темноте. Кто-то схватил Стасю под мышки и потащил. Она закричала, пытаясь хоть за что-нибудь уцепиться, – и тут ее выволокли из палатки под ливень.

– Не ори, вставай, бежим! – скомандовал Дэнчик, все еще крепко ее державший. Стася, ничего уже от ужаса не соображавшая, послушно вскочила, но так и застыла на месте, покачиваясь. Дэнчик толкнул ее в спину, и они побежали, сбивая босые ноги о корни деревьев.

А позади, во тьме, слышался вой, от которого становилось холодно и тоскливо, и не хотелось никуда бежать, хотелось лечь на землю, сжаться в комок и ждать человека со смятым лицом. Но Дэнчик и Стася мчались прочь, не разбирая дороги и закрыв уши ладонями.

Никита даже не сразу понял, что вот эта куча, лежащая на полу гаража и источающая отвратительный запах горелой плоти, – Максим Усов. Кожа, одежда – все превратилось в темные струпья. Обгоревшая, начисто лишенная волос голова была буро-багровой. Спазмы в пустом желудке Никита тоже почувствовал не сразу.

Катя лежала в нескольких шагах от Усова. Ожогов на ее теле практически не было – так, пара пятен и волдырей. Судя по обильным синякам и слипшимся от крови волосам у виска, пострадала она не от вспышки, а от встречи с Усовым.

Вообще-то у Гены был фельдшерский чемоданчик – точнее, сумка, набитая всеми имеющимися лекарствами и инструментами,

которую он всегда держал наготове. Так уж вышло, что в последние пару месяцев он стал вьюрковской «скорой помощью»: его звали и к бабушкам с подскочившим давлением, и к простывшим детям, и даже к несчастной козе Наймы Хасановны.

Только на этот раз Гена вылетел из дома так стремительно, что про чемоданчик забыл. Осмотрев Усова и молча махнув рукой, он занялся Катей. Нащупал пульс, изучил кровоточащую шишку на голове и велел Никите принести домашнюю аптечку Петуховых – коробку из-под электрочайника, на веранде стоит, он к ним заходил пару раз давление председательше мерить и запомнил.

Как только Никита вышел из гаража, в глазах у него потемнело, боль вгрызлась в лоб и затылок с новой силой. Он поспешно шагнул обратно и крикнул в грохочущую мглу так громко, как мог:

– Народ! Аптечку подайте! На веранде стоит!

И буквально через несколько секунд из-за двери ему протянули требуемое – коробку, мокрую от дождя и пахнущую поликлиникой. Принимая коробку, Никита случайно коснулся руки, которая ее держала. Он был готов поклясться, что рука покрыта густой жесткой шерстью. Дверь тут же захлопнулась.

Гене он ничего про это не сказал. Поставил аптечку на пол рядом с ним, и Гена сразу зашуршал упаковками, зазвенел пузырьками.

– Ну что она?

– Жить будет.

– А я думал, тебя деточки сожрали... – помолчав, сказал Никита.

Гена, не глядя, протянул ему пузырек с выцветшей этикеткой:

– Нож есть? А то крышка присохла.

Болели непривычные к бегу городские ноги, промокшая одежда леденила кожу и тянула всей тяжестью к земле. Все, все осталось в палатке – теплые вещи, обувь, драгоценные мобильные телефоны. А лес превратился во враждебный лабиринт, в котором то острый камень выскакивал под босой пяткой, то ветка норовила ударить прямо в лоб.

Внезапно земля оборвалась под ногами Дэнчика, и он с плеском провалился в воду. Оказалось мелко, чуть выше щиколоток. Небо прожгла очередная молния, высветила камыши, дождевую рябь на воде, прибрежные ивы. И Дэнчик онемел от изумления – это была Сушка, река Сушка, давно оставшаяся позади.

Стася плюхнулась рядом, прошептала, задыхаясь:

– Он за нами гонится?

– Тихо ты! Не знаю...

Молния снова чиркнула по вспухающим тучам, и Стася заметила чуть поодаль то, чего секунду назад там точно не было – дом, обычный дачный домик с садом и забором. Будто из-под земли вырос.

– Дэн! Дэн!..

– Тихо!

Вода взбурлила прямо перед ними, в ней заворчалось что-то большое и тяжелое, и Дэнчик почувствовал, как его щиколотку обхватили плотно и цепко, будто пальцами. Он задергал ногой, хватка на мгновение ослабла, и Дэнчик выскочил из воды как ошпаренный. За ним, скользя по мокрой глине, кинулась Стася:

– Смотри, дом! Тут поселок!

Дэнчик лихорадочно озирался, но разглядеть ничего не мог. Грозовая вспышка пришла ему на помощь – только никакого дома там, куда указывала Стася, не было. И Сушки тоже не было.

Они снова оказались в лесу.

Гена закончил манипуляции над Катей, велел «не кантовать, пусть сама очухается», и в очередной раз бросил быстрый взгляд на то, что осталось от Усова. Никита знал, о чем он думает: почему, если Усов и Катя были в гараже вместе, рядом, Катя отделалась парой ожогов, а Усов сгорел заживо? Про вспышку Гена уже спрашивал, Никита как мог описал ее, не забыв добавить, что в доме Бероевых была точно такая же.

– У мальчиков Светкиных тоже ожоги. Похожие, – неожиданно сказал Гена. – Только у него посильнее, конечно...

– Так вот, значит, чем ее зверушки болеют.

Гена не заметил этого выпада – думал о чем-то своем.

– Пахнет от них странно, – продолжил он. – Воняет, я бы даже сказал... И еще она их к кроватям привязала.

Никита удивленно округлил глаза.

– За ноги, полотенцами. Судороги у них, говорит. Чтоб не свалились... Я вообще и осмотреть-то их толком не успел.

– Выпроводила?

Гена, помедлив, кивнул.

– Еще бы, все ж знали, что ты там. Если б они тебя сожрали – неудобно бы вышло.

Катя шевельнулась, глубоко и хрипло вздохнула. Никита и Гена притихли в ожидании, но в себя она так и не пришла.

– Слушай, Павлов. Допустим... – Гена сделал предостерегающий жест. – Допустим, я тебе поверю. Насчет зверей. Но тогда и ты мне поверь. Я не прикалываюсь и не спятил, и я не... блин, да где он?

Наконец Гена вытряхнул из кармана мобильник. Включил, провел пальцем по дисплею и показал телефон Никите.

На дисплее была фотография – очень плохая, зернистая и размытая, но тем не менее было понятно, что на ней изображен участок Петуховых. И дачу было видно, с номером, и крышу гаража. Снимали, похоже, сбоку и сверху – будто кто-то забрался на дерево и сфотографировал с улицы. Внизу на снимке белела надпись стандартным шрифтом: «ДВЕРЬ».

– Сижу дома, гроза началась – и тут мне вот это приходит.

– П-приходит?

– На телефон пришло, – медленно, с расстановкой сказал Гена. – Прислал кто-то, понимаешь? Вот я сюда и подорвался...

Никита отобрал у него телефон, начал лихорадочно листать меню.

– Да нет там отправителя. Все пусто. И связи тоже как не было, так и нет. Оно... оно из ниоткуда пришло.

Катя опять вздохнула, поморщилась и с трудом приоткрыла глаза. Обвела все вокруг мутным взглядом и снова закрыла. Никита быстро отдал Гене телефон и наклонился к ней:

– Ты как?

– Зашибись... – еле слышно просипела Катя.

Никита облегченно улыбнулся. Нравилась она ему все-таки.

Бежать Стася больше не могла. Ей и кроссы-то на физкультуре не давались, а уж забег в темноте, босиком, по лесу, в грозу, с колотящимся от ужаса сердцем... Вдобавок все сильнее болела голова, боль будто перекатывалась внутри черепа тяжелым шаром.

– Не могу... – простонала Стася и опустилась на мокрую хвою.

Дэнчик, кряхтя и ругаясь, поднял ее, взвалил на плечи и потащил дальше. Плачущая Стася все бормотала, что надо обратно, надо искать палатку, это какой-то бесконечный лес, и они ходят по нему кругами,

они точно ходят кругами. Дэнчик твердил в ответ, что они уже слишком далеко, палатку теперь не найти, и нужно добраться до опушки, а там будет либо дорога, либо поселок. Не тайга все-таки, а ближний пригород, тут невозможно заблудиться, главное сейчас – выйти к людям...

И вдруг впереди вспыхнул электрический свет. Проморгавшись, Дэнчик и Стася разглядели, что свет исходит от фонарей на большом доме, который неведомо откуда возник прямо перед ними. Умытый дождем, окруженный высоким забором и ярко, даже как-то по-праздничному освещенный, дом казался очень красивым, почти сказочным.

Стася сползла на землю, огляделась и снова зашептала тревожно:
– Дэн, Дэн!

Леса вокруг больше не было. Он исчез, как до этого исчезла река Сушка – мгновенно, беззвучно, будто программу переключили. Они стояли посреди улицы какого-то дачного поселка. Пахло цветами и компостом, за заборами шумели под постепенно стихающим дождем сады. Вдалеке гулко лаяла собака.

Дом из красного кирпича, облитый электрическим светом, словно глазурию, был похож на пряник. Черт его знает почему Дэнчику пришло в голову именно это сравнение – наверное, он успел сильно проголодаться. Но дом действительно чем-то напоминал те огромные, настоящие пряники, которые иногда привозил Дэнчику из Тулы дед, твердокаменные на вид, а на самом деле мягкие и нежные под слоем густой глазури. И даже словно потянуло откуда-то сладким пряничным духом...

А из-за обшарпанной, затянутой по краям ниточками мха двери, которую приоткрыл Никита, пахло вовсе не пряниками. Он открыл ее еще раз и снова захлопнул. Да, в загадочном сообщении речь определенно шла не о двери дачного туалета. Они с Геной уже проверили калитку, двери в сарае, флигеле и доме председательши – к удивлению других дачников, которые прятались внутри от странной грозы. Тут-то и выяснилось, что не только Павлову мерещилось двоение окружающей действительности, от которого голова трещала, точно арбуз под пальцами знающего покупателя, и не только ему шептали что-то на ухо посторонние голоса. Андрею вдобавок

привиделся человек ростом ему не выше колена, носившийся по дому, точно перепуганная кошка, а старичок Волопас утверждал, что слышал у себя за спиной безостановочное бормотание: «Закрой, закрой, закрой...», причем как он ни вертелся – бормочущий все равно оставался позади, вне поля зрения.

Теперь буря превратилась в обычный дождь, унылую холодную морось, сыпавшуюся с затянутого серым маревом неба. Пока дачники опасливо выползали из своих укрытий, Никита с Геной сновали по участку – не очень, впрочем, понимая, что именно и зачем они ищут. Их заморозило само слово «дверь» – такое обнадеживающее, почти равнозначное выходу, освобождению, перемене. Вдруг пришедшее из ниоткуда сообщение было подсказкой: где-то на участке председательши находится тайный ход или, черт его знает, портал, ведущий в нормальный мир...

Хотя с чего это им подсказки присылать, опомнился наконец Никита. Они еще никому и никогда не помогали.

Кроме одного-единственного человека. Ведь предупредил же кто-то из них тогда Катю.

– Никита-а! – раздался с другого конца участка отчаянный крик Юки. И почти одновременно с ним послышался до боли знакомый железный грохот.

На воротах пряничного дома была маленькая панель с кнопкой. Дэнчик нерешительно погладил ее подушечкой пальца – кнопка была холодная, гладкая. Слишком богатый, конечно, был дом для того, чтобы просто обратиться за помощью: сами, мол, не местные, бурей накрыло, заплутали в лесу, да и вообще чертовщина какая-то творилась... Выгонят еще. Но так сладко тянуло корицей и еще чем-то вкусным – там, наверное, пироги пекли, может, настоящая кухарка возилась у плиты, в таком-то особняке. И Стася беспокойно ерзала за спиной, шептала тревожно свое вечное: «Дэн, Дэн!», и так вдруг захотелось доказать ей, что он знает, что делает, и ни в чем не сомневается, и ничего не боится, в отличие от нее, бестолковой и беспомощной.

Дэнчик выдохнул и с силой нажал на кнопку.

– Ей же плохо! И вообще... как можно живого человека с покойником запирать? – кричал Никита, пытаясь пробиться к двери гаража через импровизированное оцепление, состоявшее из Андрея, Пашки и Якова Семеновича.

А там, у двери, стояла Клавдия Ильинична и неторопливо поворачивала ключ в новеньком, блестящем замке, который лично повесила на место сломанного.

– Вот и хорошо, что плохо, – спокойно ответила она. – И покушать ей будет что, если проголодается.

Растерянный Пашка, который и сам не очень понимал, как оказался среди охранников гаража, громко и нелепо засмеялся.

– Да вы... да вы спятили! – от воспоминания о запахе горелого человеческого мяса у Никиты желудок скрутило в узел.

– Я спятила? – Клавдия Ильинична опустила ключ в карман кофты и вдруг пошла, буквально ринулась на него с перекошенным лицом. – Это я спятила?! Я людоеда от людей защищаю?!

«Оцепление» пришло в окончательное замешательство, но и ее тоже удержало. А Клавдия Ильинична напирала сзади, клопоча от той древней ярости, с которой еще прабабки ее били детей смертным боем и ходили с вилами на разлучницу. Не по злобе природной они ярились, а от в каждую клеточку вьезшегося, запекшегося внутри горя.

Никита все это не понял – почувствовал. И уже готов был перед этим горем отступить, но тут разревелась вертевшаяся рядом Юки:

– Это вы людоеды! Как вам не сты-ыдно?..

– А может, и стыдно, – дрогнула вдруг лицом Клавдия Ильинична. – Только люди вокруг нее как мухи мрут, деточка! А мне людей жалко! Поняла? Я тут за людей в ответе! А эту надо будет прибить – сама прибью!

– Не надо, – Юки перешла на испуганный шепот. – Не надо, Клавдия Ильинична...

Никита снова рванулся к двери гаража навстречу председательше, но тут его ухватили сзади и решительно оттащили. Никита обернулся и увидел Гену.

– С бабкой драться решил? Иди отсюда, без тебя разберемся, – Гена отпустил его и устало потер лысеющую макушку. – Павлов, не усложняй, а?

– Вы все... – задохнулся Никита. – Я вам... вы все... вы еще... Суки! – И он неожиданно кинулся в противоположную сторону, к калитке. Добежав до нее, Никита схватил стоявшую у забора крепкую осиновую палку, с которой Клавдия Ильинична когда-то, в другой жизни, ходила по грибы, погрозил ею всем присутствующим и вылетел на улицу.

Председательша постояла еще где-то с полминуты неподвижно, сжав губы и трепеща крыльями носа, а потом вдруг закрыла лицо руками и вся обмякла, сторбилась, мгновенно превратившись из немолодой, но статной женщины в скорбную старушку. Гена с профессиональной ловкостью подхватил ее под руку, чтобы не упала, хотел отвести к дому, но она отпрянула, привалилась спиной к двери гаража и забормотала, тряся головой:

– Не пуцу. Не дам. Я за людей в ответе. За людей...

Никаких звуков с той стороны высокого забора не доносилось, и Дэнчик уже решил попытать счастья у соседней дачи, но тут в недрах замка что-то лязгнуло, и калитка приоткрылась. Окутанная прозрачным коконом дождевика женщина высунула на улицу шуршащую голову и с настороженным удивлением уставилась на незваных гостей сквозь очки, тонкие и легкие, точно стрекозиные крылышки.

– Вы кто такие?

Дэнчик набрал полную грудь воздуха и принялся тараторить все заранее подготовленные речи вперемешку: что они заблудились, и можно ли позвонить по мобильному, а то все вещи в палатке остались, и что-то непонятное творится, гроза эта, а потом всякое, словно в Бермудском треугольнике, и на них псих какой-то напал, может, в полицию надо позвонить, а так они сами разберутся, просто совершенно сбились с дороги и зашли только спросить, в какую сторону идти к шоссе...

– Вы же совсем мокрые, – перебила его хозяйка. – И почему одни бродите? Не знаете, как тут опасно? А ну заходите, сейчас же.

Дэнчик и Стася растерянно переглянулись. И тут же услышали быстро приближающийся топот.

С другого конца улицы к ним бежал человек совершенно безумного вида – в грязной и рваной одежде, на которой остроглазая

Стася заметила вдобавок красно-бурые пятна, со здоровенной палкой в по-обезьяньи длинных руках. Подбежав чуть ближе, он внезапно застыл на месте, изумленно охнув, а потом взмахнул палкой, хрипло заорал «стойте!» – и ринулся вперед с удвоенной скоростью.

– Скорее, скорее, – хозяйка, кажется, не на шутку перепугалась. Она схватила Дэнчика и Стасю за руки и втянула их внутрь, а потом поспешно заперла калитку.

Они оказались в большом, немного запущенном саду – из разросшейся травы высовывали тяжелые драгоценные головы розы и лилии, бордюрные кустарники вдоль дорожек почти уже потеряли форму, зато сохранили благородный темный оттенок глянцевого листвы. Матовые шары фонарей тянулись к дому жемчужной нитью. Покачивались окутанные белоснежной цветочной пеной невысокие деревья, и все это было очень красиво.

– Запах какой, а? – хозяйка втянула носом воздух. – Яблони китайские, элитные, муж... – она поперхнулась, многовато, наверное, вдохнула, – муж из Пекина привез. Нравится?

Внезапно у них за спиной раздался грохот – кто-то ломился в калитку. Удары перемежались бешеным рыком:

– Открой! Светка, открой! А ну открой!

– Кто это? – с трудом шевельнула дрожащими губами Стася.

– Я же вам сказала: опасно тут. И... психов хватает. Вы идите, идите в дом, там поговорим.

Дом и снаружи производил внушительное, капитальное впечатление, а внутри оказался совсем огромным. Мокрые ноги скользили на темном глянцевом паркете. Хозяйка выдала дрожащим от холода Дэнчику и Стасе большое полотенце, велела хорошенько растереться и усадила за столик в просторной комнате на первом этаже – наверное, это была гостиная. Практически молниеносно на столике появились чай и бутерброды. Перенервничавшая Стася ни глоточка не могла сделать, зато Дэнчик, наоборот, безостановочно вливал в себя обжигающую сладкую жидкость и хватал с тарелки бутерброды. Хлеб был явно домашний, очень вкусный, а темные ломти полупрозрачного мяса на нем – вообще необыкновенные, не то свинина, не то говядина, а может, и дичь – солоноватый, тающий во рту деликатес.

– Вы ешьте, ешьте, – ласково приговаривала хозяйка.

Никита еще раз попытался взять с разбега неприступный бероевский забор, но только уцепился самыми кончиками пальцев за верхний край скользкого металлического листа и опять свалился. Тогда он принялся бить палкой в забор, как в огромный гонг:

– Открывай! Светка-а-а!

Стася в панике вскочила, узнав хриплый голос того психа в окровавленной одежде. Света тоже вся вытянулась, благостное умиротворение на секунду слетело с ее птичьего личика, и она, схватив Дэнчика и Стасю за руки, скомандовала:

– Наверх!

Дэнчик на пути к двери высвободился, вернулся, схватил еще один бутерброд и продолжил бегство уже с набитым ртом. Света выдернула его, чавкающего, в коридор, и погнала обоих по лестнице на второй этаж.

Никита тем временем был уже на Катином участке. Он наконец вспомнил про грушевое дерево, по которому они перебирались к соседям в прошлый раз.

Дерево лишилось почти всех веток, и по многочисленным отметинам на стволе было ясно – кто-то очень неумело пытался его спилить, но только измахрил древесину. И пилу небось затупила, дура, – мстительно порадовался Никита. Он с трудом вскарабкался наверх, перевалился через забор и упал... на битое стекло. Тот самый газон, на который они спрыгивали в прошлый раз, оказался густо засеян острыми осколками.

– Убью, – прошипел Никита и, выдернув торчавшие из телесной мякоти стеклянные занозы, похромал дальше.

У глухой стены дома он заметил садовый инвентарь – лейку, грабли, лопату, палки и веревки для подвязывания цветов. Хотел прихватить с собой в гости лопату, как самое увесистое орудие дачного труда – и увидел притаившийся за лейкой маленький, тронутый ржавчиной топор. Никита нервно хмыкнул – опять топор, куда же без топора. И поставил лопату на место.

Дэнчик и Стася оказались в небольшой комнате под крышей, с косым потолком, на который были наклеены звезды и самолетики. У

окна поблескивала металлическими трубочками «музыка ветра». А снаружи тем временем раздавались настойчивые, звонкие удары. Стася, еле дыша от страха, выглянула на улицу и увидела на крыльце темную человеческую фигуру, мерно взмахивающую руками. Рассмотреть получше она не успела – Света опустила жалюзи.

– Кто это? – испуганно спросила Стася.

– Соседи. Вот такие соседи у нас теперь... – Света покосилась на окно. – Вы что, совсем ничего не знаете?

– Да откуда мы... вас же тут не было! То есть ни дач, ничего... Тут лес был! А потом все... А вас не было! – выкрикнула, прижимая руки к груди, Стася. – Где мы вообще?! Я домой хочу-у-у...

Света как-то незаметно оказалась рядом, обняла, и Стася разревелась ей в блузку. Света погладила ее по волосам:

– Тихо, тихо. Ты посиди, успокойся, а я на минуточку, сейчас вернусь, хорошо?

– Не уходите, не надо, он же там...

– Дверь крепкая, импортная, не взломает.

Щелкнул дверной замок. Она нас заперла, отрешенно заметила про себя Стася. Она сидела на кровати, обняв колени и уткнувшись в них лбом. Лучше не думать, не пытаться понять, так и с ума сойти можно... Больше всего на свете ей хотелось сейчас оказаться дома, в своей комнате, и чтобы из-за стенки слышались приглушенные вопли бабушкиного телевизора, а Стася лежала в постели и дрейфовала по Интернету на серебристом плотике смартфона. Она почти все время была онлайн, листала ленты соцсетей, переписывалась – чаще всего с Дэнчиком...

Тут Стася наконец обратила внимание на Дэнчика, который все это время молчал и никак не реагировал на происходящее. Он с явным удовольствием копался в ярко разрисованной коробке, перебирая детальки какого-то детского конструктора.

– Дэн, – тихонько проныла Стася. – Делать-то что, а?

Дэнчик непонимающе моргнул, подумал секунду и протянул ей зеленую пластмассовую плитку.

Никита наконец вырубил в гладкой деревянной двери, от которой топор отскакивал со звоном, будто от камня, прямоугольное отверстие.

Сунул в него руку и попытался нащупать замок. Пальцы коснулись чего-то металлического, круглого – не то ручка, не то колесико от задвижки. Никита, не обращая внимания на впивающиеся в руку щепки, принялся дергать, вертеть непонятный предмет – он не поддавался. Светка надежно замуровала свое логово. Никита с тоской покосился на окна, забранные фигурными решетками. И снова принялся крушить дверь.

Хозяйка вернулась с подносом, на котором подрагивали две чашки с чаем и лежали пирамидкой все те же бутерброды. Приветливая улыбка, мерцание тонюсеньких очков. Удары и деревянный треск, доносящиеся с первого этажа. Стасю вдруг словно ошпарило осознанием того, что ее заставляют участвовать в чужом, навязчивом, с каждой секундой все невыносимее раскаляющемся безумии.

Дэнчик цапнул два бутерброда, чашку и вернулся к своей коробке. Стася, стараясь не смотреть в Светины цепкие глаза, мотнула головой:

– Спасибо, я не хочу...

– Ну хоть чайку. Горячего. Согреться надо.

Стася уставилась в пол, на веселый коврик с рисунком из разноцветных змеек. Одна, две, три... шесть змеек. Две зеленые, две желтые, черная и красная.

– Выпей чаю, – голос Светы стал ледяным. Тонкие губы сжались в розово-красную, как мясо на бутербродах, полоску.

Хоть Стася и считала себя зрелой, выдавшей виды женщиной, она все еще страшно нервничала, когда ею были недовольны взрослые. Силы духа хватило только на то, чтобы выбрать чашку, в которой бурой жидкости было чуть поменьше.

– Очень хороший чай, – уже мягче сказала хозяйка. – Еще с тех пор остался.

– С каких пор?..

– С тех пор, когда был хороший черный чай.

Стася обреченно прикрыла глаза и сделала глоток. Чай действительно был вкусный, крепкий и в меру сладкий. И сразу стало теплее, Стася почувствовала, как кровь приливает к щекам.

– Вот и умница, – заулыбалась Света, и ее неприметное лицо сразу стало добрым и красивым. Стася смущенно улыбнулась в ответ. Чудесный напиток с легким привкусом бергамота растекался внутри –

как будто теплый котенок нежно и щекотно устраивался поудобнее в Стасином животе. Наконец-то кончилась вся эта жуть, этот непостижимый бунт пространства и времени, и чудовища уползли в дождливую тьму, виновато скуля. Как хорошо, что добрая Света, похожая чем-то на Стасину маму, пожалела и приютила их, как ей подходит это имя: она действительно светится, светится изнутри...

Света между тем потихоньку выскользнула из комнаты, но Стася этого не заметила. Она сидела в кресле, пила маленькими глоточками чай и безмятежно улыбалась под монотонный, убаюкивающий стук снизу.

Дверь распахнулась, и в комнату, неуклюже переваливаясь, вползли два существа. Сначала Стасе показалось, что это просто дети, играющие в лошадок или в собачек, но их очертания странно плыли, руки и ноги растягивались, точно щупальца, тела распухали бесформенными мешками и снова сдувались в худенькое, детское. А кожа, то темнеющая, то светлеющая, была сплошь покрыта коростой и сочилась сукровицей. Двигались существа неуверенно, каждое движение явно давалось им с трудом. Стасе стало их жалко, и она протянула к одному из них руку, чтобы показать, что все хорошо и больше бояться нечего.

Брызнула кровь, мягкий бугорок на ладони, под большим пальцем, срезало, как ножом. И Стася ясно увидела запрокинутое к ней лицо: покрытый коростой лоб, темные детские глазки, а все остальное – огромный круглый рот-присоска, как у пиявки, с концентрическими кругами острых желтых зубов.

Стася завизжала от боли и ужаса и почувствовала, как рвется окутавшая ее пелена умиротворяющего дурмана. На полу извивались, глухо рыча, две невообразимые твари. Они окончательно сбросили человеческий облик, остались только огромные, кожистые, удивительно подвижные в своей неуклюжей бесформенности мешки тел с жадно распахнутыми воронками ртов.

– Детки слабенькие совсем, подкормить бы свеженьким, – с умилением глядя на тварей, сказала возникшая на пороге Света.

Оба существа одновременно прыгнули на Стасю, но она, упав на спину, отшвырнула их ногами. Они жалобно заверещали и ринулись к Дэнчику, бессмысленно улыбавшемуся им с кровати. А Света

молниеносно набросилась на обидчицу. Она схватила Стасю за горло, и та совсем близко увидела ее яростные, звериные глаза – глаза обороняющей детенышей самки. Именно это и стало наивысшей точкой ужаса, который захлестнул Стасю кипящей волной и вместо бессильного оцепенения вызвал вдруг бешенство. Рука нащупала какой-то спасительный предмет, оказавшийся большим игрушечным грузовиком, и Стася почти с наслаждением разбила его о голову хозяйки дома. Та с криком осела на пол, а Стася, ничего уже не разбирая, а только молотя уцелевшим кузовом то по стенам, то по чему-то мягкому, внезапно почувяла перед собой свободное пространство и с отчаянным напором ввинтилась туда. Она вылетела из комнаты, проскользила по идеально отполированному паркету и, не успев затормозить, кубарем скатилась вниз по лестнице.

Ей даже не дали коснуться последней ступеньки. Стасю скрутили, большая грязная ладонь зажала ей рот и нос, и кто-то прошипел:

– Тихо!

Она уже почти задохнулась, когда ладонь наконец убрали, и Стася увидела перед собой в полумраке прихожей того самого психа в рваной одежде, на которой темнела засохшая кровь. Теперь в том, что это именно кровь, Стася не сомневалась. Больно стиснув Стасино предплечье, он поставил ее перед собой, пробормотал:

– Во, так нормально.

И замахнулся топором.

Стася скорчилась на полу, закрывая руками голову и икая от рыданий. Ее кровоточащую ладонь Никита успел быстро обмотать куском футболки. Осторожно, точно боясь обжечься, он ощупывал ее, то за руку хватал, то за подбородок, поворачивал и так, и эдак. И все бормотал, что он ничего такого, не маньяк какой-нибудь, он проверял просто, подменьши – они в свой облик возвращаются, если на них топором или веником замахнуться, а веника нет, вот он и...

– Снаружи пришла?

Стася молчала.

– Ты... ты не из Вьюрков?

Стася, всхлипывая, мотнула головой.

– А здесь как оказалась?

– Не зна-а-аю...

– Тихо, не вопи. Ты мне скажи... правду только. Там, снаружи... все как раньше? Ну там, мир... он на месте? Ничего не творится?

– Не твори-ится.

– Все в норме, да? Что там сейчас?... Ну, год хоть какой, месяц?

– И... июнь.

– Как июнь?! Мы же тут уже... Там тоже время остановилось?

Стася опять замотала головой и разревелась:

– Я ничего не зна-а-аю...

– Да тихо ты! – нервно выдохнул Никита. – Ладно, не знаешь, так не знаешь. Тебя как зовут?

– Настя, – Стасей она была только для Дэнчика, который теперь... которого теперь...

И в это мгновение сверху раздался его голос.

– Ста-ась! – надрывно, со слезами звал Дэнчик. – Стась, ты где? Стася-а-а!

Между словами слышались рычание и стоны, а Стасе чудилось, что она различает и чавканье, и влажный треск отрываемого живого мяса. Она зажала уши руками и юлой завертелась на месте. Точно так же она кружилась от боли и обиды много лет назад, в детском саду, когда новый мальчик Дэнчик, то есть тогда еще Дениска, изо всех сил дернул ее за соломенный шнурок косички...

Стася налетела на что-то, с грохотом опрокинула, и Никита, глядя на гнутые ножки завалившейся набок тумбочки, нахмурился. Потом откинул ногой тяжелый край ковра и увидел дверцу в подпол. На секунду обрадовался – вот где можно спрятать пока девчонку, – даже успел дернуть за кольцо, приподнять дверцу, но тут же вспомнил про ползающего там, в темноте, обглоданного Бероева. Конечно, проще и, наверное, безопаснее всего было бы выпустить пришлицу из нормального мира на улицу – но ведь убежит, дурища бестолковая, исчезнет, так ничего и не рассказав. Он сам точно убежал бы. Никита растерянно взглянул на Стасю – и заметил у нее за спиной дверь подлестничной кладовки.

Бормоча что-то неопределенно-успокаивающее, Никита затолкал ревушую Стасю в кладовку, как перепуганную кошку в переноску, повернул ручку и бросился вверх по лестнице.

Он запнулся о коврик и головой вперед, теряя равновесие, влетел в комнатушку с косым потолком. Сначала заметил звезды на потолке – флуоресцентные наклейки, которые днем копят свет, а ночью горят призрачными огоньками. И только потом увидел бьющиеся на полу бесформенные кожистые туши. Под ними растекалось алое пятно, на стенах тоже обильно густела кровь, даже на потолок попали яркие брызги. И из-под чавкающих, чмокающих туш тянулась к Никите объединенная рука, на которой уцелело несколько крупных, коротковатых пальцев. Эта рука еще шевелилась, и розовел заусенец у ногтя на указательном.

Никита закричал, размахнулся топором – и тут сзади на него прыгнула Светка Бероева. Он никогда бы не подумал, что в ее тонком и длинном теле столько силы. Светка оплела Никиту собой, как плющ оплетает дерево, и повалила на пол. Каким-то чудом он высвободил руку, ту самую, в которой был зажат топор, но не смог ударить – женщину, соседку, с которой стоял в медлительной очереди к магазинчику и обсуждал погоду... Светка завизжала и укусила его за щеку. Никита безуспешно попытался отцепить ее от себя, и они вместе выкатились из комнаты. Она била его острыми коленками в живот и кричала так истошно, что пена выступила в уголках узких ярких губ, а Никита твердил одно и то же:

– Это не твои дети, это не твои дети...

Наконец ему удалось прижать Светку к полу, но она уже перевалилась через верхнюю ступеньку лестницы. Дернула Никиту на себя – и они ухнули вниз, считая ступеньки телами друг друга.

Все происходящее затуманилось, утратило на пару мгновений свою жизненную важность, захотелось спать... Когда Никита пришел в себя, Светка стояла над ним, торжествующе подняв топор. Лезвие со звоном впилося в паркет, обжигающая боль прострелила руку до самого плеча. Никита с ужасом глянул на руку, ожидая увидеть кровавую культю, но все вроде было на месте, а вот топор застрял в прочном, дорогом паркете. Светка отчаянно пыталась его выдернуть, а Никита рывком вскочил и схватил Светку сзади за шею. Все-таки легкая была Светка, сухая, как кузнечик. Он без труда поднял ее над полом, а она сучила ногами, пытаясь его пнуть, и продолжала цепко держаться за топор. Никита вдруг дико обрадовался: вот сейчас все и

закончится, он задушит Светку, и все всё узнают, и Вьюрки избавятся хотя бы от одного морока...

Топор с громким хрустом выскочил из паркета. Светка извернулась, свистнуло лезвие, Никита поспешно отпустил ее, попятился и снова наткнулся на что-то ногой. Это была та самая дверца в подпол, которую он чуть ранее успел приподнять. От резкого толчка она открылась полностью, из квадратного провала потянуло гнилым холодом. Никита посмотрел на Светку. Худенькая, встрепанная, со съехавшими на кончик носа золотистыми очками, она существовала как будто отдельно от слепо рубящего воздух топора. Когда Никита впервые увидел ее много лет назад, она ему даже приглянулась. И на общем собрании с шашлыками по случаю 30-летия СНТ «Вьюрки» – была там Светка, врала она, что никто с ней не водится и никуда не зовет, на жалость давила, умела она давить на жалость: молодая мать, деточки, хлопоты; на тех шашлыках он даже пытался сделать ей интимное предложение, но слишком много, по обыкновению, выпил и ничего членораздельного сказать так и не сумел. И Светка тогда не дала ему по морде, как это регулярно проделывали другие приглянувшиеся, а просто посмеялась и исчезла куда-то в рыжеватом от всполохов костра полумраке.

И Никита, задыхаясь от ясного ужаса, принесенного когда-то во Вьюрки ледяным вселенским сквозняком, окончательно осознал, что варианта всего два – или Светка убьет его, или он Светку. Только он не сможет этого сделать, не сможет жить с мертвой Светкой в голове. Помнить ее птичье личико, ее длинные ноги и тоненькие очки...

Светка бросилась вперед, взмахнула топором – неумело и страшно. Боль полоснула по ноге, на штанине разъехалась окровавленная прореха. Никита шарахнулся в сторону – и Светка оказалась на краю провала. На самом краю, пятки ее уже висели в пустоте.

Глаза Светки стали осмысленными. В них были все та же ярость, готовность убить, разорвать, скормить деточкам – и разумный, человеческий страх.

– Свет, это не твои дети... – Никита протянул ей руку.

Конечно, она знала, что это не ее дети. Но ничего, кроме них, в ее жизни не было, это было ее главное, итоговое достижение. Детьми она зацепилась за солидного человека Бероева, дождавшегося наконец

наследников, за хорошую жизнь. Теперь не было Бероева, не было жизни, но Света не могла остаться в пустоте, потерять все, она цеплялась за то, что дали ей взамен, и мозг ее отчаянным, шизофреническим усилием заместил тех детей этими. Она заботилась, ночей не спала, выкармливала, а теперь чужак, вломившийся в их дом, требовал от нее невозможного...

Топор стесал кожу с мясом на предплечье Никиты, он еле успел отдернуть руку. От этого движения Светка почти потеряла равновесие и качалась туда-сюда, хватая воздух ртом, вцепившись в топор, как канатоходец в свой шест. И Никита толкнул ее. Совсем легонько, одними пальцами. Может, это было уже лишним, может, все дальнейшее произошло само собой – по крайней мере, Никите очень хотелось в это верить.

Светка мгновенно исчезла в провале, и Никита тут же захлопнул дверцу. Внизу глухо стукнуло и стало тихо. Только ошалевшая от ужаса Стася по-прежнему колотилась в кладовке. Потом из подпола послышался шорох, точно по полу волокли что-то тяжелое. А потом – снова грохот, звон бьющихся банок и дикие крики.

Наверху были не Светкины дети, зато в подполе был ее муж.

Стася налегла на дверь всем телом, что-то затрещало, и она жадно вдохнула пропитанный пылью воздух, казавшийся таким свежим после душной подлестничной тесноты. Вместе с ней из кладовки с грохотом вывалилась веревочная швабра. Человек, который запер Стасю там, неподвижно сидел на полу в нескольких шагах от лестницы. Красных пятен на его изодранной одежде прибавилось, и по рукам стекали кровавые струйки. Стася сдавленно охнула, человек поднял голову, его глаза расширились, и он вдруг рявкнул:

– Беги!

Стася обернулась и увидела, как по лестнице, бесформенными мешками переваливаясь со ступеньки на ступеньку, сползают черные твари. Одна из них подняла то, что заменяло ей голову: сверкнули багряными огоньками многочисленные глаза, распахнулся круглый рот. И тварь, сжав свое неуклюжее, покрытое коростой тело в тугую пружину, прыгнула метра на три, прямо к Стасе, и впиалась многозубой присоской ей в бедро. Кровь брызнула во все стороны, Стася рухнула на пол, беззвучно разевая рот от невыносимой, невозможной боли.

Никита схватил швабру и отшвырнул ею подменьша, но ему на грудь тут же прыгнул второй. Круглый рот жадно сокращался над самым его лицом, зубы со скрипом терлись друг о друга. Никита ткнул черенком швабры в мерцающий глаз, послышался жалобный, почти детский всхлип, и туша свалилась с него. Он нащупал руку Стаси, схватил ее и поволок к двери, но девчонка не могла встать. А под ноги Никите снова кинулось плотное, кожистое...

Далеко, на участке Петуховых, Катя заворочалась на еще теплом полу гаража, зашептала, не открывая глаз:

– Огонь, огонь... Баба огненная... огонь...

«Огонь, огонь», – отдалось у Никиты в голове. Он вспомнил вдруг Катины слова – подменьши всегда огня боятся. Только где его взять, даже спичек с собой нет. Никита колотил зверей деревянным черенком, тащил за собой ревущую Стасю – давай, еще немножечко, ползи. И понимал, что им конец, бероевские подменьши окрепли достаточно, чтобы оставить от них то же, что и от остальных – лужу крови да обглоданные кости, – разве что времени на это им потребуется немного больше.

И тут это произошло снова – вспышка бледного пламени, только совсем слабая. Швабра, которой Никита отбивался от тварей, занялась белым огнем, почти мгновенно перешедшим в обычный, оранжевый. Подменьши с визгом отпрянули.

– А-а-а! – заорал в приступе первобытного восторга Никита и принялся лупить тварей горячей шваброй. Растрепанные грязные жгуты полыхали ярким факелом, пламя уже перекинулось на черенок, летели искры, шипела и пузырилась черная кожа... Подменьши прижимались друг к другу, пытались увернуться, выли – и отползали.

Сбежавшиеся дачники увидели сквозь серую морось необыкновенную картину: Никита Павлов, крича что-то неопределенно-призывное, хлестал посреди улицы горячей палкой двух огромных тварей, отдаленно напомилавших тысячекратно увеличенных пиявок. Твари шипели, ревели, разевали круглые зубастые рты, но покорно ползли туда, куда гнал их Никита – вниз по улице, к Сушке. А под забором бероевского особняка, прижимая руку к обильно кровоточащему бедру, сидела никому не знакомая девочка-

подросток – с короткими светлыми волосами, круглощекая, испуганно глядящая на всех заплаканными глазами.

– Помогите ей! – крикнул Никита. – Не отпускайте! Она оттуда, снаружи!

Молодежь – Пашка, Юки, даже Андрей, из последних сил имитировавший скептицизм, – отправились вместе с Павловым, чтобы поглазеть на невиданных существ. Никита ловко удерживал подмышкой посреди дороги, награждая огненным ударом за каждое отклонение от назначенного курса, и приговаривал:

– А я вам про что... Вот ваши звери, сучата бероевские... А она их людьми живыми кормила. Вот, глядите, вот ваши звери...

Юки с тревогой смотрела не на зверей, а на Никиту. Она никогда не видела его таким разъяренным, таким восторженно-жестоким. Таким злым. Он напоминал охотника, волочащего по снегу еще вздрагивающего в агонии волка – бог знает, из какого фильма или книги всплыл в памяти Юки этот болезненно-яркий образ. А еще у Никиты, ободранного и исполосованного, был вдобавок отрублен кончик безымянного пальца на правой руке, но казалось, что он не замечает ни боли, ни крови, в которой перемазан с ног до головы.

Они дошли до реки, до глинистого спуска к воде. Никита успел краем глаза заметить торчащую в кустах деревяшку – одну из Катиных удочек-закидушек. Звери скатились по влажной глине, точно бобры или тюлени. Их уже не надо было направлять, они сами ползли, извиваясь, к воде.

– На реку нельзя, – неуверенно напомнил Андрей.

Никита только махнул рукой – забыв, что все еще держит в ней горящую палку, от которой Андрей шархнул, – и спустился вслед за тварями.

Подмышками нырнули в зеленовато-бурую воду один за другим, оставив круглую дыру в ряске. И ничего больше – ни кругов, ни пузырей. Исчезли, будто их и не было.

– И все? – шепнула Юки, втайне ожидавшая, что сейчас из реки выйдут настоящие бероевские дети, целые и невредимые, и наступит хотя бы относительный хеппи-энд.

– Больше никого не сожрут, – Никита шумно выдохнул и швырнул в воду свой догорающий факел.

Стасю обступили незнакомые люди. Они что-то говорили, тянули к ней руки, но она не понимала, речь распадалась на отдельные бессмысленные слоги, которые тоже тянулись к Стасе, окружали ее облаком, как кусачая мошкара. Паника нарастала внутри, время тянулось медленно и туго, как ириска, медленно открывались и закрывались чужие рты. Дышать стало тяжело. Стася вдруг поняла, что эти люди – гораздо страшнее тех черных зверей и их сумасшедшей хозяйки. Звери были зверями, у них не было разума, они просто хотели есть. А сейчас ее окружали люди. Трясущиеся руки, опухшие измученные лица, жадные тяжелые взгляды. И запах, от этой толпы шел кислый, больной, страшный запах. Так иногда пахнут нищие в метро – те, что пытаются разжалобить угрюмых пассажиров культиями и язвами. Звери были зверями, а эти люди когда-то были нормальными, разумными. Но потом с ними что-то случилось. Может быть, они уже умерли, просто не знают об этом и продолжают вставать по утрам, одеваться, бесцельно бродить по земле...

– Вы мертвые! – завизжала Стася. – Мертвые!

Дачники отпрянули – этот вариант они тоже уже и рассматривали, и обсуждали, и он особенно их страшил. А Стася, стиснув зубы от боли, вскочила и побежала прочь от них, припадая на раненую ногу. Сзади затопали, погнались, раздались голоса:

– Стой! Не бойся! Подожди!

Но Стася бежала не оглядываясь, думая только об одном – как бы не потерять сознание, не упасть, не достаться им. Потом на ее пути возник забор из рабицы, и она поползла по нему наверх, цепляясь пальцами, и перевалилась через край, а потом стало темно. Ее понесло куда-то назад, вниз, и Стася провалилась в тошнотворно крутящийся калейдоскоп смутных образов: луна-парк, ей четыре года, и мама не хочет покупать ей сахарную вату...

Через пару часов самые смелые вьюрковцы залезли в особняк Бероевых. И нашли в подвале, среди страшного беспорядка, разбитых банок с заготовками и рассыпанных стройматериалов, множество человеческих костей – от совершенно неопознаваемых, изглоданных фрагментов до целых скелетов с остатками плоти. В одном из этих скелетов, который сохранил даже часть лица, все единогласно

опознали самого Бероева. А еще там нашли Светку. Кто-то почти оторвал ей голову, а на шее и лице остались следы пальцев, превратившиеся в лиловые кровоподтеки.

Никита обратно к Бероевым не пошел, он отправился на участок Петуховых. Председательша одиноко несла свою вахту у двери гаража – только теперь она сидела на заботливо принесенном кем-то стуле и дремала, закутавшись в шаль. Услышав шаги, она подняла голову, прищурилась – подслеповата, оказывается, была бессменная Клавдия Ильинична. И отпрянула, разглядев, кто и в каком, что самое главное, виде к ней явился.

– Ключ, – потребовал Никита, сунув к самому носу председательши побуревшую от потеков крови ладонь с отрубленным кончиком пальца.

Ярко-зеленый мох пружинил под ногами, в траве краснели глянцево-красные, тесно прижавшиеся друг к другу шарики костяники. Стася брела по лесу, пошатываясь как пьяная и даже не напевая, а шепча застрявшую отчего-то в голове песенку из старого мультфильма:

По дороге с облаками, по дороге с облаками
Очень нравится, когда мы возвращаемся назад...

Кровь из раны уже почти не текла, обильно выступивший пот приятно охлаждал лоб. Стася стала легкой и пустой, ей было почти хорошо. Только куда-то запропастился Дэнчик, вытащивший Стасю в этот чертов поход, и она никак не могла его найти – он прятался за деревьями, шуршал и чирикал в листве, подкидывал ей под ноги вместо хлебных крошек грузди, похожие на сухие белые кости, – чтобы Стася знала, куда идти.

По дороге с облаками...

Переплетенный корнями земляной столб вспучился перед ней – огромный, выше темных елок, которые обступали тропинку. С него сыпались иголки и черные лесные муравьи.

Конечно, это был Дэнчик, она наконец нашла его. Стася улыbnулась и шагнула ему навстречу.

Возвращение

После всего, что случилось за последние несколько дней, Вьюрки как-то сникли, растерялись. Никто не бродил по улочкам, не копался в огородах, не стучал топором у дровяного сарая. Пашка валялся на даче с высокой температурой – укушенная нога, на боль в которой он так долго, по-пацански старался не обращать внимания, наконец распухла до глянцевого отека. Гена ставил ему компрессы, ругался, пугал гангреной. У бывшего фельдшера хлопот и без Пашки хватало – сменить очередную повязку обтесанному топором Павлову, который только чудом лишился всего-то кончика пальца вместе с половиной ногтя, загнать обратно в постель неугомонную рыбачку Катю, у которой он подозревал сотрясение. Отпоить дефицитным корвалолом председательшу, она совсем плохая стала – то оживала, суетилась, поговаривала даже об очередном общем собрании, – а то вдруг забивалась в какой-нибудь дальний угол и молча обливалась там слезами. Все удивлялись, как быстро и бесповоротно подкосило Клавдию Ильиничну внезапное вдовство, превратив из важной, самоуверенной командирши, на которой, можно сказать, все Вьюрки и держались, в жалостного вида старуху. Петухов, считавшийся – и, возможно, вполне заслуженно – бесполезным подкаблучником, был ей, оказывается, необходим, как запаршивевшая кривая рябинка бывает необходима крепкому на вид забору. Сруби ее, и забор сразу завалится без невзрачной своей опоры.

Но не только в Петухове было дело. По ночам Клавдии Ильиничне снился один и тот же сон – как гонится она по Вишневой улице за той пришедшей девчонкой, про которую столько разговоров было, и не может догнать. Девчонка исчезает, проваливается сквозь землю, распадается дождевыми нитями, и Клавдия Ильинична плачет: проворонила, упустила вестницу из нормального мира, живое доказательство того, что Вьюрки не одиноки в свихнувшейся Вселенной... Будь она там, точно бы остановила, уговорила – и не таких на собраниях уговаривала, когда тарифы опять повышали. Упустила, не повидала даже, карауля в гараже бесполезную ведьму Катьку.

Детей гулять не выпускали, одна Юки, беспризорная и отважная, гоняла по Вьюркам на велосипеде. Леша-нельзя, которого приютила сердобольная Зинаида Ивановна, ведьма травяная, иногда сбегал и составлял ей компанию – то обругает многоэтажно из-за угла, то грязью забросает. Проявлял, в общем, внимание.

Никита и Катя торчали на рыбалке часов с шести, а клева все не было. Каждый раз, перезабрасывая удочку, Никита отставлял в сторону забинтованный безымянный палец. И думал, каким непривычным будет казаться этот укороченный, ставший в одночасье калеккой палец потом, когда заживет.

Еще непривычнее было представлять Светку Бероеву мертвой. Гена рассказывал, что ей буквально оторвали голову, дивился физической силе того, кто это сделал. Никита пытался объяснить, что Светку убил ее собственный муж, но Гена ему не поверил – ведь объединенный скелет Бероева валялся в подвале среди прочих костей. Катя говорила, что заложный мертвец, когда отомстит, успокаивается и превращается в мертвеца обычного, мирно гниющего... Я ее только толкнул, твердил про себя Никита, уставившись на поплавок, только толкнул, а может, она бы и сама упала.

И теперь надо было привыкать жить с мертвой Светкой в голове.

Катя сидела чуть поодаль – в растянутой футболке и многокарманных, перемазанных в речной глине штанах. Горло она замотала платком, а лицо по-прежнему было в припухших лиловых кровоподтеках. И глаз заплыл, как у дворового шпаненка.

Никита не знал, о чем с ней говорить. После гаража, после белого огня, после Усова, после вообще всего. Спросил пару раз, не болит ли голова, полюбопытствовал, на что тут лучше берет, одолжил у нее прикормку – какое-то серое самодельное месиво – и, не рассчитав, плюхнул плотный комок у самого берега, на мелководе.

– Вот поэтому я всегда рыбачу одна, – заметила Катя. Голос у нее по-прежнему был сиплый.

Мальки закипели у берега, уничтожая прикормку со свирепостью пираний. А дальше, над темной водой, плыли клочья нежного тумана.

– Это к жаре или к дождю? – спросил Никита.

– А тут все всегда к жаре. Полудница жару любит...

– Потому и лето?

– Потому и лето.

Никита вспомнил, как проснулся сегодня от меланхоличной телефонной песенки, упал с кровати, чуть не потерял сознание от полыхнувшей во всем теле боли, еле дополз до стола... И только потом понял, что это будильник, который он сам же и поставил накануне, когда черт его дернул попросить Катю взять его с собой на рыбалку. Она же сама ему говорила, что рыбалка отлично успокаивает нервы. Телефон показывал 5:30 утра, 31 октября. Чушь какая, подумал Никита, глядя в окно – на вишню, которая цвела уже в третий раз.

Катя осторожно подтянула поплавок поближе к мясистым листьям кубышек.

– Это, наверное, беленькие воду себе охладили, – неожиданно сказала она. – Те, которые в реке живут. Вот и туман. Они-то ранние, попрохладнее любят.

Никита быстро огляделся:

– А они за нами не придут?

– Не должны, я им надоела уже, – хмыкнула Катя и тут же скривилась, прижала руку к замотанному горлу. – А если придут, не обращай внимания. Они же в голове у тебя копать начнут. Про другое думай, отвлекись. Ты про холодильник бероевский слышал?

«Нашла чем отвлекать», – похвалил ее мысленно Никита и кивнул. Высоченный холодильник с модной зеркальной дверцей, стоявший у Бероевых на кухне, оказался забит давно во Вьюрках не виданной снедью, и все сразу поняли, из чего – из кого, точнее, – изготовлены эти деликатесы. Мясо мороженое, вяленое, соленое, фарш, пельмени, даже что-то вроде домашней колбасы. Светка запасалась впрок, со всей изобретательностью хорошей хозяйки, чтобы дети не выходили из дома на поиски еды и не выдали себя, но они все равно сбежали в конце концов за свежатиной. А сначала, получается, охотилась Светка – то ли сама ходила по дачам, то ли заманивала как-то вьюрковцев к себе. Одиноких выбирала, слабых, чтобы легче справиться. Судя по количеству костей в подвале, как минимум половина пропавших дачников не сгинули, отправившись на поиски выхода, а остались во Вьюрках навсегда.

Катя резко дернула удочкой, и к поверхности широким светлым пятном всплыл лениво воряющийся подлещик. Осторожно

подтягивая леску, Катя вывела его на самое мелководье, шагнула босой ногой в ил и взяла толстогубую рыбину за жабры:

– Обед приплыл.

Подлещик отправился в садок, Катя снова забросила удочку и вытерла ногу об траву.

Никита поймал себя на мысли, что он ждал: вот сейчас вода забурлит вокруг ее щиколотки, поднимется густой пар... И Катя тоже как будто бы эту мысль поймала.

– Усова не я сожгла, – нахмурилась она. – И подменьшей тогда. Я вообще не знаю, что это было... Не могла я. Не верю. Павлов, я же огня боюсь. Может, из-за бабушки, из-за сказок этих... Боюсь сгореть. Самая страшная смерть. Мне еще сон в детстве снился, один и тот же: поле, большое такое, и белый огонь по нему от края до края. Все горит, и я горю... Так орала по ночам, что соседи жаловались. К врачу водили, таблетки давали – все равно снилось. А бабушка взялась по-своему заговаривать... И отпустило. Только огня до сих пор боюсь.

И Катя вспомнила вдруг запах лаванды – маленькие мешочки с ней бабушка клала в комод с бельем. Наволочки, пододеяльники – все пропитывалось строгим, холодноватым ароматом...

Яркий свет в ночной комнате слепит глаза, в дверях беспокойно топчется мама – бабушка запретила ей входить. Маленькая Катя сидит на краю постели и ревет в голос, закрываясь руками. Ей все еще чудится стена бледного огня, которую быстро гонит по полю ветер. Огонь пожирает траву, цветы, перепуганными шариками катятся мыши – и вспыхивают, мгновенно истлевая до невесомого праха.

– Поле горит! – ревет Катя. – Горит!

– А тетеньки белой в поле не было? – наклоняется к ней бабушка. Не гладит по голове, как мама и папа, не говорит, что это просто сон, и от ее внимательной серьезности становится еще страшнее. Теперь Кате кажется, что да, была тетенька, огромная, высокая, сама похожая на столб огня.

– Белая тетенька! – Катя прячется под одеялом. И оттуда, из темной жаркой норы, смотрит, как бабушка крест-накрест хлещет ее подушку березовым прутиком. Прутик свистит, а бабушка приговаривает:

– Вот не будешь сниться! Вот не будешь сниться!

Мерный тугой звук, с которым прутик стегал по выцветшей наволочке, усилился, разросся, в нем появились глухие металлические раскаты. И Никита тоже его услышал: он вскочил, испуганно посмотрел наверх. Для рыбалки они выбрали самое уединенное местечко, у забора, за которым начиналось поле. И сейчас виднеющаяся над верхушками кустов зеленая кромка забора слабо, но заметно подрагивала.

Прошло еще несколько долгих, наполненных монотонным грохотом секунд, прежде чем они наконец поняли, что происходит. Кто-то стучал в ворота с той стороны.

К воротам медленно, с опаской подтянулись бородатый Степанов, братья Дроновы, Юки на велосипеде, сбежавший в очередной раз Леша-нельзя, вслед за которым явилась рассерженная Зинаида Ивановна, Яков Семенович и старичок Волопас. Он громко, сiallyсь перекричать стук, спросил:

– Кто там?

Ему не ответили, но стук продолжился. Забор был сплошным, высоким, и разглядеть, кто находится с той стороны, не было никакой возможности.

Стук напоминал о далеком, знакомом, назойливом: «Навоз, кому навоз!», «Металлолом берем!». Всех этих бродячих сборщиков и продавцов во Бьюрки, как правило, не пускали, вежливо игнорируя железный грохот и крики с улыбочивым акцентом. С той стороны и прежде ничего хорошего ждать не приходилось.

Наверное, и сейчас стоило проигнорировать и разойтись, благо забор прочный – пусть себе стучат. Но сомнения и любопытство терзали дачников, и они растерянно топтались на месте, поглядывая друг на друга – вдруг кто-нибудь возьмет да и примет решение. То, может, и неправильное, но твердое решение, которое обычно оставалось за председательшей.

Наконец, шаркая войлочными чунями, вперед выступила Зинаида Ивановна:

– Дайте хоть в щелку глянуть-то.

Старичок Волопас возмутился: как можно, а если вломится, а если утянет, а если там... Но Зинаида Ивановна начальственным жестом указала на завязанную узлом цепь, которой были стянуты створки. Ее

повесили поверх засова после исчезновения Валерыча, чтобы следующий отчаянный искатель выхода изрядно попотел, а заодно и подумал, открывая ворота.

– Может, не надо? – подала голос Катя, когда засов уже отодвигали со всеми предосторожностями, оставив цепь на прежнем месте.

Зинаида Ивановна обернулась, смерила ее недоверчивым взглядом:

– А ты молчи лучше.

То ли про ведьмин глаз в Стоянове правду рассказывали, то ли Гена не зря подозревал сотрясение, но голова у Кати вдруг потяжелела, заныла. Как в самом начале простуды, когда еще легко дышится, еще не затянуло жгучей краснотой горло, но уже блестят по-нехорошему глаза, и все как-то не так, чуть ярче, чуть громче, чуть беспокойней, чем надо.

Дроновы ухватились за левую створку, цепь натянулась, и Зинаида Ивановна осторожно заглянула в образовавшуюся щель.

– Мать честная...

Узкая, костлявая рука проскользнула в щель и схватила Зинаиду Ивановну за обтянутое халатом плечо.

– Закрывайте! Закрывайте! – всполошился Волопас, и Дроновы послушно налегли на тяжелую створку. Но Зинаида Ивановна молча отпихнула обоих – точнее, привыкшие уважать старость брата в замешательстве отступили сами – и загремела цепью, торопливо развязывая громоздкий узел.

И в расширившемся зазоре все увидели Наталью Аксенову – зычноголосую, бодрую мать семейства Аксеновых, которое пропало в день исчезновения выезда, отправившись на машине в коттеджный поселок. Теперь этот день казался бесконечно далеким, принадлежащим какой-то иной реальности – и такой же казалась сама Наталья. От нее прежней осталась разве что футболка с улыбающимся мультяшным псом – многим тогда запомнился этот неуместно веселый зверь.

Перед воротами стояла необыкновенно худая женщина, иссушенная солнцем, загорелая до черноты. Футболка с вылинявшим псом болталась на ней как на вешалке. Голубые, яркие когда-то глаза Натальи тоже как будто полиняли, выцвели. Но самое главное – она

вернулась абсолютно седой. Белые как молоко, как новенький медицинский халат, волосы и темное лицо – она казалась негативом самой себя. И это было красиво, правда красиво: той мертвящей красотой, к которой не должен иметь отношения человек из живой уязвимой плоти.

Дачники смотрели на Наталью в молчаливом оцепенении. А она подняла на них выцветшие глаза и улыбнулась – мягко, ласково, как будто жалея этих растерянных, запуганных и обозленных людей.

Все вокруг качнулось, потемнело, жаркая боль разлилась под лобной костью, а тело набухло горячей гриппозной ломотой. Шатаясь и цепляясь за что-то – плечи, бока, стволы деревьев, – Катя двинулась вперед, бормоча еле слышно:

– Закройте... закройте ворота... закройте ворота...

В глазах тошнотворно мельтешило, жар накатывал волнами вместе с нечленораздельным людским гулом. Потом вдруг прояснилась на несколько мгновений картинка: старичок Волопас яростным клубком летит на неподвижно стоящую Наталью, но прежде, чем он успевает приблизиться вплотную, она касается ладонью его лба. Красный пятипалый отпечаток остается на щедро усыпанной пигментными пятнами коже, Волопас останавливается как вкопанный, а его маленькое личико разглаживается, будто молодеет. И все снова тонет в разноцветном, горячем мареве.

– Закройте ворота...

Кто-то подхватил Катю, не дал упасть. Она даже не увидела, а скорее почувствовала, что это Никита – и страшно обрадовалась, зашептала, еле шевеля заплетающимся языком, что нельзя ее пускать, надо выгнать, надо закрыть...

На предплечье Никиты багровел отчетливый след от узкой ладони. А сам он смотрел на Катю с ласковой, чуть снисходительной улыбкой.

Ворота так и не закрыли, наоборот – их оставили распахнутыми настежь. Окруженная притихшими, умиротворенно улыбающимися дачниками Наталья направилась по Речной улице дальше, в глубь поселка.

Клавдия Ильинична сидела на веранде, в кресле-качалке, которое лет десять уже не качалось: так и не успел починить его Петухов, недотепа безрукий, у которого даже лампочки – и те не вкручивались как надо. Когда она его впервые увидела – мамина подруга привела неженатого сына в гости с известной целью, – то сразу определила: недотепа. Очки квадратные, смешные, мягкий близорукий взгляд, мягкая челка, старательно приглаженная. Отличник, на пианино играл – «Детский альбом» Чайковского, разумеется, остальное со времен районной музыкальной школы давно выветрилось. И зачем приветила его бойкая Клава, зачем расспрашивала о вовсе не интересной ей жизни, зачем подкладывала вишневое варенье в граненую розетку... Может, потому, что жег еще память тот, первый, неотразимый, и захотелось спрятаться в мягкое и недотепистое. Завернуться, как в плед, которым Клавдия Ильинична укутала ноги. В последнее время она все время мерзла. Раньше не понимала этих старух вроде Тамары Яковлевны, которые кофту на блузку, плащ на кофту, платок сверху – и покатила, как капуста. Надо же с достоинством себя держать, преподносить соответственно возрасту, но красиво, помнить, что ты женщина. А теперь будто сами, слой за слоем, нарастали на теле кофты, растянутые свитера, платки – как мягкая плесень на залежавшемся батоне...

Она не сразу услышала шаги на крыльце и подняла голову только тогда, когда открылась дверь. И на запылившийся дощатый пол веранды ступила босыми ногами худая как смерть, беловолосая женщина с удивительным, непроницаемо-нежным лицом. Следом зашли другие, знакомые – Зинаида Ивановна, Волопас, из молодежи кто-то. И у них лица тоже были особенные, какие-то... просветленные, нашла наконец подходящее слово Клавдия Ильинична и вдруг испугалась:

– Что случилось? Что... вы зачем... кто разрешил?

Беловолосая женщина подошла к ней, легко опустилась на одно колено. Ни дыхания не почувствовала Клавдия Ильинична, ни запаха хоть какого-нибудь – будто у гостыи плоти и не было вовсе. Зато сразу ощутила всю тяжесть и немощность собственного тела, заерзала в кресле:

– Я вас... Вы кто?!

Женщина протянула к ней руку. Клавдия Ильинична отпрянула, но ладонь все равно коснулась ее – там, где на толстой кофте не хватало пуговицы и виднелась легкая цветастая блузка.

Прикосновение опалило кожу через тонкую ткань, будто уголек попал за ворот. Председательша хотела вскочить, оттолкнуть эту обжигающую руку – и вдруг вместо бесплотной гостьи увидела его. Мужа своего, покойного Петухова, который смотрел на нее мягким близоруким взглядом так понимающе, с таким состраданием, как при жизни не смотрел никогда. Петухов простил свою скандальную, ершистую Клаву, «неуважительную», как свекровь говорила. И за жизнь простил, и за смерть, и за то, что не девкой взял. А вместе с радостью прощения, раскаяния, облегчения будто разливалась по телу Клавдии Ильиничны жаркая молодая кровь. И растворялись в ней боль в пояснице, тягучая тяжесть в коленях, слабость, а горе вытекало сладкими обильными слезами. Наконец, став легкой, пустой и свободной, Клавдия Ильинична улыбнулась.

И все забыла.

Ту же радость и легкость почувствовал и Никита Павлов, когда Наталья, которую он пытался вытолкать обратно за ворота, вдруг дотронулась до него горячей ладонью. Саднящие раны от Светкиного топора будто смазали целебным зельем – и все затянулось бесследно, не оставив ни болячек, ни шрамов. И обрубленный безымянный палец снова стал целым, Никита почувствовал, как цепляется измахрившийся бинт за шершавую кожу на заново отросшей подушечке.

А мертвая Светка Бероева у него в голове добродушно рассмеялась – как тогда, на шашлыках по случаю 30-летия СНТ «Вьюрки». Она больше не держала на него ни зла, ни обиды. Она все понимала: конечно, он ее не убивал, просто толкнул легонько, у него выбора никакого не было, да она и сама хороша – разве можно на человека с топором бросаться. Оба сглупили, оба погорячились, а Светка и сама бы упала в подпол, не удержалась бы на краю. Так что ни в чем он не виноват, пусть не переживает.

Никита облегченно выдохнул, улыбнулся мертвой Светке. И тоже все забыл.

Кровать была неудобная, твердая, полная песка – надо вытряхнуть. И еще щеки так странно, болезненно пощипывало, будто бабушка Серафима решила, как обычно, проветрить в морозную ночь. Она не выносила сухой батарейной духоты, говорила всегда: лучше холодно, чем жарко.

Наконец Катя поняла, что это не кровать, она лежит прямо на дороге, посреди Речной улицы, а по щекам ее неуверенно шлепают чьи-то маленькие ладони. Не открывая глаз, она поймала одну, чтобы убедиться – обычная ладонь, теплая, человечья.

– Баба огненная...

– Какая еще баба! – раздался плаксивый девчачий голос. – Я это, я! Кать, пусти, больно. Кать! Не узнаешь, что ли?

Над ней склонилась испуганная, заплаканная Юки. Волосы ее свисали тускло-черными, точно в саже перемазанными сосульками. Катя приподняла голову – и снова растекся по телу лихорадочный жар, запекло во рту. А Юки затараторила: тут такое творится, такое творится, Наталья эта – точно ведьма. Прикоснется к человеку, руку возложит – и того как подменяют. Будто в зомби превращается, только в улыбчивого такого, тихого. И она сейчас тут, во Вьюрках, бродит по участкам – Юки видела из кустов, как она к Егоровым заходила, ну к тем, байдарочникам с Цветочной улицы. Сама Юки от нее удрала, как заметила эти фокусы – сразу на велик и давай педали крутить. Чуть цепь опять не расклепалась. А потом смотрела из-за поворота, и вот что еще заметила странное...

Тут Юки умолкла. Она вдруг поняла, что расклад-то ей до конца не известен: Наталья ведьма, Катя тоже, по-любому, ведьма, а вот кто плохая, а кто хорошая? Вдруг она все не так поняла, и злой ведьме доверилась, а благостная, улыбающаяся Наталья Вьюрки на самом деле спасать пришла? Катя с трудом сфокусировала взгляд на ее озадаченном лице и ухватила вдруг горячими руками за по-детски пухлые еще щеки:

– Что заметила?..

– Она тебя не тронула, – выпалила Юки. – Всех трогала – кто хотел, кто не хотел... Собачник тот – он вообще орал, на забор полез, а она его за рукав. А тебя не тронула, ты тут лежала, а она мимо прошла... Почему, а?

– Баба огненная, – снова прохрипела Катя и стала медленно, то и дело теряя равновесие, подниматься на ноги.

– Какая баба? Наталья, что ли? Почему огненная?

– Полу-дница... Она это, она все творит...

– Кать, у тебя температура. Гена вон говорил, что сотрясение, может... или от ожогов. Кать, а может, грипп? Кать, ты куда?..

Бурлящие в раскаленной Катиной голове мысли о том, что же происходит на этот раз и с Вьюрками, и с ней самой, наконец закипели, превратившись в густое жаркое месиво. Она молча оттолкнула Юки с дороги – с такой силой, что та грохнулась прямо на свой велосипед, – и отправилась на поиски порождения бабушкиной шизофрении и стояновского мракобесия, обретшего наконец физическую форму.

Яков Семенович влетел на свой участок, захлопнул калитку и остановился. Его несла, гнала сюда одна-единственная мысль – надо скорее спрятаться в доме, запереться на все замки, забаррикадироваться, – и она все еще пульсировала по инерции в голове.

Когда Наталья схватила его, отчаянно пытавшегося убежать, за руку, сквозь толстый рукав пиджака он почувствовал тепло, и в мозгах немного затуманилось, будто стопку водки опрокинул. Хороший пиджак был, крепкий, стоивший очереди, которую Яков Семенович когда-то за ним отстоял. Даже зубы разыгравшейся Найды взяли в добротной ткани. Вот и сейчас отпечаток пятерни темнел на рукаве, а глубже не прошло, не подействовало. Он проверял – на поросшей редким жестким волосом руке ничего не осталось. Тогда, у ворот, он только притворился умиротворенным, затихшим, как все остальные. И на первом же повороте, отстав потихоньку от толпы, побежал огородами к себе на участок.

А остановился он потому, что на деревянном крыльце сидела, почесывая за ухом улегшуюся рядом Найду, его жена.

Это была главная тайна Якова Семеновича, которую он никому из вьюрковцев не доверил, – на самом деле жена от него ушла. Давно, больше месяца назад.

Она изменилась после того, как они вернулись из леса, где тщетно искали дорогу в привычный мир. Молчала все время, ускользала из его

рук, спать стала на диванчике в прихожей, даже не раздеваясь, отчего ее несменяемая одежда все больше пропитывалась тяжелым нехорошим запахом. Найду, вышколенную Найду пришлось посадить на цепь во дворе – она перестала признавать хозяйку и бросалась на нее молча, не предупреждая об атаке рычанием или лаем. Как будто просто, без лишних прелюдий хотела загрызть.

И еще жена ела. Господи, как она ела. Опустошила холодильник, сгрызла макароны и ржаные отруби – прямо так, сухими. Яков Семенович видел, как она выдирает из грядок и пожирает перемазанные в земле свеклу с морковкой. Он знал, что случилось с Витьком, и уже догадался, что с ней происходит то же самое, но рассказать остальным дачникам не мог. Это было невысказано, непристойно, неприлично, это не могло произойти с его женой, интеллигентной и умной. Он очень боялся, что она тоже начнет выть, но жена молчала. Уходя, он запирает ее в даче, а она тихо сидела там и ела. Врать соседям, чего Яков Семенович боялся еще больше, не пришлось – никто даже не заметил, что его жены давно не видно. Они всегда жили уединенно, могли неделями не выходить с участка, копаясь в огороде и цветнике, им вполне хватало общества друг друга и Найды.

Измененная жена прожила с Яковом Семеновичем долго, действительно долго. Он спрятал в верхнем шкафчике на веранде банки с консервами, ими и питался, а все остальное отдавал жене.

Но однажды ночью Яков Семенович проснулся от металлического скрежета. Вышел на веранду – и увидел жену, которая все-таки добралась до шкафчика и вскрыла его. Обычным ножом она потрошила консервные банки и, жадно прикинув к разрезу, ранила губы острыми краями, высасывала содержимое. Пустые смятые банки летели на пол. Она уже уничтожила почти все консервы, о которых сама когда-то, смеясь, говорила: «На случай ядерной войны».

Половица скрипнула под ногой Якова Семеновича, и жена обернулась, сжимая в одной руке нож, а в другой – банку с бычками в томате. Сильным, резким движением она раз проткнула банку, повернула нож, расширяя отверстие, и оттуда закапало красное. И Яков Семенович вдруг с необыкновенной остротой осознал, что совсем скоро, буквально через пару минут этот нож может воткнуться в его трепещущие от ужаса и омерзения кишки.

Он тихо закрыл дверь, вернулся в спальню и лежал там до рассвета, с головой накрывшись одеялом – неподвижный и неспящий. А когда решился наконец выйти – жены уже нигде не было. Валялись на полу выпотрошенные банки, вкусно пахло консервами, Найда бурно приветствовала его, прыгая на цепи. А жена ушла.

Собственно, после этого Якова Семеновича и потянуло к людям – от одиночества и страха, и свирепого желания понять, что же происходит, вывести на чистую воду тех, кто за это ответственен. А еще потому, что в доме практически не осталось еды.

И вот теперь жена сидела на крыльце – в рваной и грязной одежде, но сама такая посвежевшая, посветлевшая, будто из отпуска вернулась. А спокойные глаза ее будто говорили «ну, здравствуй».

Яков Семенович, не сводя с нее взгляда, попятился, спиной толкнул калитку и, не успев сделать и пары шагов, налетел на что-то мягкое. Обернулся и увидел Степанова. И председательшу. И Никиту Павлова. И седую, белоглазую Наталью. Он шарахнулся обратно, но по садовой дорожке навстречу уже шла его жена, к ногам которой так и льнула Найда.

Найда улыбалась всей пастью, во все сорок два желтоватых собачьих зуба.

– Господи... – простонал Яков Семенович и опустился на корточки, прикрывая руками голову – точно ждал, что его сейчас начнут бить, прямо по лысоватой интеллигентской макушке.

Жена подошла вплотную, присела рядом, заглянула Якову Семеновичу в лицо, которое он все пытался спрятать, страдальчески жмурясь. Потом вопросительно посмотрела на Наталью. Наталья ласково ей кивнула.

Маленькая женина ручка прижалась к щеке Якова Семеновича раскаленным утюгом. Он тоненько вскрикнул и распахнул глаза. Жена смотрела на него с нежной тревогой, как на приболевшего ребенка.

– Соня, – прошептал Яков Семенович и заплакал.

Он так давно не звал ее по имени, только «послушай», «а знаешь», «не могла бы ты» и «дорогая» – это если на людях. А мысленно она уже несколько десятилетий была снабжена ярлычком «жена» и задвинута в соответствующий угол сознания, как предмет необходимый, добротный, удобный в использовании...

Но как же он скучал по ней все это время, как трогал в полусне одеяло на соседней половине кровати – не образовалось ли вдруг под ним спокойно дышащее тело, чужое, но свое. Как чудились ему шаги, голос, запах этого ее отвратительного цикория, пенсионерского кофе, по утрам. И сколько раз он, ежась от страха и холода, выходил вечером к забору и всматривался в темный лес. Ждал ее.

– Сонечка, – улыбнулся сквозь слезы Яков Семенович.

И все забыл.

У поворота с Лесной улицы на Рябиновую навстречу торжественно-спокойной толпе бросилась чья-то фигура, тяжелый колун взметнулся над белоснежной Натальиной головой:

– Сгинь, рассыпья!

Наталья перехватила колун в воздухе, вырвала из дрожащих пальцев и небрежно бросила в канаву. На деревянной занозистой рукояти остался обугленный след.

Катя проводила колун затуманенным взглядом и вдруг протянула к Наталье руки:

– Значит, сама явилась. Ну, давай...

Белый ровный огонь вспыхнул на секунду в Натальиных глазах – и Катины, пронизанные воспаленными жилками, ярко полыхнули в ответ. Катя вскрикнула, зажмурилась, закрыла руками глаза, в которые будто жгучим перцем сыпанули. А Наталья прошла мимо, так к ней и не прикоснувшись.

И умиротворенные дачники двинулись за ней, аккуратно расступаясь, уклоняясь, отводя тело в сторону – лишь бы не задеть Катю, не дотронуться. Точно она была прокаженной, недостойной багрового Натальиногo клейма, которое всех делало спокойными и счастливыми.

– Сволочи! – закричала Катя им вслед.

И то ли ей почудилось, то ли в самом деле волна иссушающего жара вырвалась из ее груди вместе с криком. И все вокруг снова слилось в разноцветное месиво. Плавилась, стекали на землю тягучими каплями цветы, деревья, заборы, дома... Ноги прилипали к размягчившемуся асфальту, по нему ползли трещины, а в сердцевине этих трещин тлело багровое, раскаленное. Катя посмотрела на свои руки и увидела, как дрожит прозрачное горячее марево вокруг

растопыренных пальцев. Вот что, наверное, разглядел Ромочка, когда сказал, что она горит...

Домой, – мысли с трудом ворочались в голове, горячие и тяжелые, – надо идти домой. Там колонка с водой, прямо у калитки. Вода холодная, пахнет железом и плесенью... И еще там родная старая дача, в которой можно затаиться, как всегда, спрятаться, переждать. Может, ничего и нет. Может, просто бред, безумное Серафимино наследство, или галлюцинации от сотрясения, которым пугал ее Гена.

А к полудню начали возвращаться остальные. Те, кого во Вьюрках считали бесследно сгинувшими: в лесу, на поле, в реке.

Первыми явились Витек и тетя Женя – бодрые, с ясными веселыми глазами. Только вернулись, как и уходили – в чем мать родила. Витек, поддерживая супругу под локоть, распахнул перед ней калитку. Скрипнули заржавевшие петли, и Витек, ни слова не говоря, ушел в дом. Вернулся уже одетый и с масленкой, смазал петли, пока тетя Женя тоже ходила одеваться. И вскоре на участке закипела работа. Витек и тетя Женя приводили свои владения в порядок – споро, ловко, в четыре руки. Только метлы да грабли мелькали.

Вернулись бероевские мальчишки – они вышли из реки там, где был когда-то вьюрковский пляж, стряхнули с себя водоросли, выжали одежду. А вслед за ними Сушка отдала и луноликую Наргиз. Наргиз проверила, все ли пуговицы застегнуты у ее подопечных, пригладила их мокрые волосы, вынула у старшего пиявку из уха, оглядела обоих с любовной гордостью и повела домой.

Пришла из леса Татьяна, Ромочкина мама. Ни следа не осталось от ее прежней угрюмой нервозности, внутренней какой-то душевной растрепанности. Разве что волосы по-прежнему топорщились серыми «петухами» из-под сбившегося платка. Сам Ромочка так и не нашелся, но это Татьяну, похоже, совершенно не волновало. Засучив рукава своей полосатой «выходной» кофты, она принялась косить траву, подметать дорожки, сгребать в кучи гнилые яблоки, вытряхнула и развесила на перилах крыльца половики.

Валерыч явился со стороны поля, голый, как Витек с женой, и мокрый, как Наргиз с воспитанниками. Зашел на свой участок, приветственно кивнул через забор занятым уборкой соседям и выкатил из сарая газонокосилку.

Перевалились через общую поселковую ограду, помогая друг другу, трое гастарбайтеров, обменялись чуть смущенными улыбками чужаков, которые знают, что не очень-то им тут рады, а деваться некуда. И запылили метлами по улицам, подсыпая гравий в ямки на асфальте.

Вернулась с полной корзиной крепчайших боровиков баба Надя, которую Никита послал к лешему.

Муж и сын Аксеновы, придя с поля, поклонились Наталье в пояс – забавно так, по-старинному, – и отправились на свой участок.

Нашелся и одинокий дед-рыболов, обсуждавший изредка с Катей клев и прикормку. Ни исчезновения, ни возвращения его так никто и не заметил.

Вернулось больше половины пропавших дачников. А остальных, видно, и впрямь скормила своим ненасытным подмышам покойная Светка.

Колодезной воды в доме не нашлось – только водопроводная, для рукомойника, в зацветшем нежно-зелеными нитями пластиковом ведре. Катя выпила почти все, остатки вылила на голову и почувствовала, как струйки почти мгновенно высыхают на лбу. Когда она поставила ведро на пол, оно оказалось смятым, будто пластиковый стаканчик, в который налили кипяток. Катя вдруг вспомнила, как в детстве перепортила половину грампластинок из маминой коллекции, узнав из какой-то передачи о легком способе превращения ненужной пластинки в оригинальный цветочный горшок. Пластинка подвешивалась за дырочку над конфоркой – только держать надо было повыше, и над слабым огнем, – и постепенно стекала вниз, становясь черным полураскрывшимся цветком с яркой бумажной сердцевинкой...

Дверная ручка зашипела под ладонью, запахло горелой краской. Катя ввалилась в комнату и рухнула на свою кровать. Поворочалась, скидывая на пол все – одеяло, подушку, перину, – осталась наконец на голой пружинящей сетке и закрыла глаза. Когда высокая температура – надо лежать. Надо лежать.

Толстый деловитый шмель влетел в окно, комната наполнилась громким жужжанием, и Катя очнулась. Сгинь, подумала она, пропади, настырная ты тварь. Она представила, как сгусток жара обволакивает

пушистое тельце, и скручиваются усики, а непропорционально маленькие, прозрачные крылья превращаются в два судорожно подергивающихся оплавка.

Это был не шмель. Это жужжал на стуле, постепенно сползая к краю, мобильный телефон.

Катя сделала глубокий, медленный вдох. Взяла телефон – двумя пальцами, как омерзительное насекомое. Теперь во Вьюрках было принято брать трубку именно так.

Дисплей, как обычно, светился слепо: ни имени, ни номера. Только два ярких кружка – «принять – отклонить». Катя нажала на красный.

Телефон продолжал жужжать. Катя еще несколько раз с силой нажала пальцем: отклонить, отклонить. Тонкие трещинки осенними паутинками побежали по экрану. Телефон жужжал.

Держа его на вытянутой руке, как можно дальше от себя, Катя коснулась зеленого кружка.

– Первый перст мой... – отчетливо прошелестело из динамика.

Катя швырнула телефон на пол и долго, сосредоточенно его топтала. Трещали под ногами нежные детальки – изящные, почти красивые в своей микроскопической сложности. Наконец осталась только кучка электронного праха, прикрытая сверху изувеченным дисплеем.

Как давно, в сущности, она мечтала это сделать – еще там, в нормальном мире...

И тут зашумело на веранде. В этом шуме было что-то знакомое – только Кате вовсе не хотелось думать о том, что именно. Сначала она и выходить не хотела, но скребущий звук не утихал, ввинчивался в уши, отдавался жгучей болью в голове. Катя подняла с пола подушку, прижала ее к груди в полусознательной попытке защититься, спрятаться за этим мягким и уютным щитом – и все-таки пошла.

Входная дверь была распахнута. И на крыльце стоял... радиоприемник. Тот самый старый приемник, который Катя выбросила с перепугу в окно, когда он включился сам по себе в первую же ночь после исчезновения выезда. Бабушка Серафима каждое лето слушала по нему новости и любимую свою классическую музыку – Катя еще думала тогда, что более соответствующие бабушкиной биографии, да и характеру тоже народные песни Серафима променяла на ноющие

скрипки и фортепианные перекаты сознательно, не по душевной склонности, а потому, что так у городских принято.

Крутилась ручка, металась по шкале красная полоска, и приемник громко шипел, перемежая фоновый шум чем-то похожим на птичьи вскрики и даже шепот, торопливый шепот, в котором нельзя было разобрать ни слова.

Вдруг ручка замерла. Что-то затрещало, как угли в печи, приемник исторг мучительный механический взвизг и проскрипел:

– Первый перст мой.

Ослепительно-белая вспышка ударила раскаленной волной в стекла, превратив тюлевые занавески в черное тлеющее кружево. Подушка, которую судорожно обнимала Катя, словно взорвалась у нее в руках, и догорающие на лету перья закружились по веранде пепельной метелью. Голая лампочка над дверью разлетелась мельчайшими стеклянными брызгами. А ручка оплавленного приемника продолжала крутиться, красная полоска бегала туда-сюда, точно внимательный вертикальный зрачок, и быстрый шепот становился все громче...

Катя пинком отбросила приемник далеко в кусты. Со звоном опрокинула стол, вытащила из кухонного шкафа все ящики – где-то там был, точно был еще и маленький транзистор, он просто затаился, молчал до поры до времени. Швырнула стул в окно, сдернула с холодильника полуистлевшую кружевную салфетку – ручной работы, бабушкиной. Попыталась опрокинуть и сам холодильник, но сил не хватило. Потом заметила, что один из ящиков полон вилок, ложек, круглоконечных бесполезных ножей – все старое, потускневшее. Серафимино. Она метнула ящик в разбитое окно, мельхиоровый дождь обрушился на опаленный шиповник.

От этого лихорадочного погрома ей стало дико и весело. И захотелось растоптать, сжечь, убить все, что связано с Серафимой, беспалой шизофреничкой, которая одна была во всем виновата. Салфеточки ее чертовы, древние вилки-ложки, чашки фарфоровые в допотопный цветочек, которые стыдно было держать дома, вот и привезли сюда. Лоскутные одеяла, подушечки с бахромой, отрывные календари, которые так и хранились в тумбочке пожелтевшими кирпичиками: «21 июня, день летнего солнцестояния... Свяжите сами: ажурная кофточка... продолжение см. на обороте».

Одеяла и прочее Катя, задыхаясь от усталости и жара, выволокла на улицу, свалила в кучу у крыльца. Вдруг вспомнила, что у нее нет спичек, и непонятно, как искать их теперь в разгромленном доме. И остановилась, растерянно уставившись на лежавшую сверху вышитую подушку.

Язычки белого пламени расцвели на ней сами, как бледные первоцветы. Побежали по пыльной ткани, окрепли, взметнулись вверх. Катя протянула к ним руки, коснулась пальцами огня – но никакой боли не было. Только словно рванулся к костру изнутри ответный огонь, забился в груди, слева, вместо сердца. И она почти увидела под своими ногами колышущееся от горячего ветра поле, почти почувствовала, что сама она и есть этот белый огонь, столб солнечного пламени...

Это продолжалось всего секунду, а потом снова запекло под ребрами и в помутившейся голове – стало нечем дышать. Катя бросилась к калитке, почти на ощупь нашла колонку, застучала ручкой... Воды не было. А она уже чувствовала не просто жар, ей казалось, что она действительно горит, что огонь перекинулся на нее с казнимых бабушкиных вещей.

Не разбирая дороги, падая, обдирая локти с коленями и снова вставая – так же, как Серафима когда-то летела на страшное Полудницыно поле, – Катя побежала к реке.

А дым поднимался не только над ее участком: повсюду кипела уборка, люди вытаскивали из домов и сараев десятилетиями копившийся там дачный хлам и жгли его с тем же упоением, с каким дети жгут осенние листья. Летели в костры косомордые гномы, уточки и другие безобразные украшения, купленные не то по скидке, не то просто в помутнении, продавленные кресла, рваные раскладушки, гнилые доски, дырявые пластмассовые ведра, дедушкины лыжи и бабушкины тряпки. А те, кто не исполнял обязанности инквизитора, мыли полы и окна, стирали занавески, посыпали дорожки чистым песком и высматривали, не осталось ли где несрезанной сухой ветки. Уборка кипела так неистово, словно вьюрковцы стремились избавиться от всех следов своей неопрятной дачной жизни.

Заскрипели под ногами даже в жару сыроватые, отороченные мхом мостки. Из заволновавшейся воды глянуло кривобокое отражение, окруженное полупрозрачными, но отчетливо различимыми лепестками бледного пламени. Катя отступила немного и с разбегу, даже воздуха в грудь не набрав, бросилась в реку.

Может, потому и тянуло ее всю жизнь к воде, к серебристым прохладным рыбам, что в воде от огня спасаются.

Что-то тяжелое и скользкое сильно толкнуло ее в бок. От неожиданности Катя чуть не захлебнулась, открыла глаза, но не смогла ничего разглядеть. Холодная туша поднырнула под живот, и Катя поняла, что ее по-дельфиньи выталкивают к поверхности. Сопrotивляться она не стала, и секунду спустя уже жадно хватала ртом воздух, кашляя и отплевываясь.

Темную гладь рядом с ней разорвали поднявшиеся из глубины пузырьки, а следом показалась большая мокрая голова. Золотистые глаза лениво моргнули, вдавившись под многослойные веки и тут же вынырнув обратно.

– Ромочка, – облегченно выдохнула Катя.

Она помнила, как впервые встретила его таким – новым. Как коснулась ногами дна, которое на большой глубине оказалось песчаным и твердым, а вовсе не илистым, и полной грудью вдохнула воду. И не захлебнулась, не забилась в мучительных корчах, как все тонущие. Разорвалась мутная пелена перед глазами, и она ясно увидела кружево водорослей, силуэты рыб, наполненные искрящейся речной взвесью полосы света вверху. Это произошло в то самое мгновение, когда живые тонкие трубочки воткнулись ей под ребра. И Ромочку она тоже увидела – он стоял рядом, широко распахнув рот, из которого тянулись, подрагивая, эти длинные острые хоботки, и ласково смотрел на нее золотистыми лягушачьими глазами с вертикальными пятнами зрачков.

Сейчас Ромочка тоже приподнял губу, точно улыбаясь Кате, и трубочки, извиваясь, поплыли к ней быстрыми змейками.

– Не надо, – попросила Катя.

Ромочка качнул головой, и она поняла, что он действительно улыбается ей своим огромным щелеподобным ртом.

Вот, значит, почему ты не стал возвращаться, подумала Катя, дернувшись от резкой боли в боку, там, где прорвали кожу жадные трубочки. Выполнили твои девочки обещание: ты теперь – как они, куда ж ты такой нежитью золотоглазой обратно к людям пойдешь. Да и зачем, там тебе места не было, а тут нашлось.

Лихорадочный жар потихоньку уходил из ее тела: подрагивающие хоботки вытягивали его, бледный огонь переливался под их полупрозрачной кожицей. Поймав Катин прояснившийся взгляд, Ромочка снова улыбнулся, выпростал из воды то, что давно уже перестало быть рукой, и показал – давай к нам, вниз...

И они опять стояли на песчаном дне, в кружеве водорослей, дышали водой и любовались рыбами. Топорщили гребни яркие окуни, толклись у самой поверхности стаи уклек, а в глубокой яме смутно различимым бревном ворочался не то налим, не то сом, не то кто-то из речных «соседей». Сверкнул золотистым боком лещ, огромный, как поднос. Килограмма на три, прикинула Катя, настоящий, трофейный, мне б такого...

И тут она заметила, как сгорбился, опустил голову Ромочка. Целительные трубки его потемнели, будто обуглились, глаза подернулись пепельной пленкой. Выпитый жар пек его, нежного и водянистого. Катя схватилась за впившиеся в ее тело трубочки, попыталась выдернуть их, но обожженная кожица снималась лоскутьями, а сами хоботки вонзились еще глубже. Ромочка замахал протестующе тем, что давно уже перестало быть руками, а сам пошатнулся, выпустил изо рта облачко прозрачной слизи.

– Хрен да полынь... – хотела сказать Катя, но только булькнула. Она оттолкнулась от дна ногами – в надежде там, на поверхности, отделаться как-нибудь от глупого самоотверженного Ромочки, – и тут же опустилась обратно.

Но несколько секунд спустя вокруг замелькали быстрые, еле уловимые глазом тени, многосуставчатые лапы-щупики подхватили Ромочку, с хирургической точностью извлекли опаленные трубки из тела Кати и вытолкнули ее, чужую, наверх. С такой силой, что из воды она вылетела мгновенно, как пробка.

– Ромочка! Ромочка! – Катя пыталась нырнуть обратно, но вода не пускала, будто обернулась вдруг морской, круто засоленной.

Наконец она выбилась из сил – а их и без того было немного, по мышцам разливалась тягучая, почти приятная слабость. Тело казалось легким, будто пористым – потому, наверное, и выскочила пробкой. Катя медленно взобралась на мостки и растянулась на них, чувствуя себя совершенно выжатой, неспособной даже пальцем пошевелить.

У самых мостков вдруг послышался всплеск. Знакомая темная голова вспучилась над водой, моргнула чуть потускневшими глазами, и на сырые доски шлепнулся трепещущий щуренок с прокушенным брюхом.

– И Кате подарок есть, куда ж без подарка, – отбили куранты, отзвенели бокалы, папа возвращается с балкона с новенькими санками, и вместе с ними приносит немного вкусного, мятного мороза, как же хочется туда, в зиму, в снег...

– Ромочка... – облегченно улыбнулась Катя и заснула – так быстро, что на ее лице застыла, не успев разгладиться, улыбка со съезжающим вниз левым уголком.

Участки достигли наконец той степени ухоженности, к которой всегда стремилась покойная Светка Бероева. Дачи блестели распахнутыми, чисто вымытыми окнами, теплый ветерок одобрительно поглаживал белопенный тюль.

А вьюрковцы начали собираться.

Клавдия Ильинична выкатила из угла чемодан на колесиках, уложила туда одежду, белье. Зеркальце. Фотографию молодого Петухова. Стопку тарелок. Пузырьки с лекарствами. Обрезанный пакет из-под сока, в котором зеленела помидорная рассада. Вазочку вместе с букетом желтых цветов, похожих на мелкие ромашки, только на самом деле это не ромашки – никто вечно не может вспомнить, как они называются. Вода смешалась с землей, потекла черной грязью по напряженно улыбающемуся лицу Петухова. Клавдия Ильинична вздохнула и стала утрамбовывать сверху миниатюрный кухонный комбайн, специально для дачи купленный. Затрещала прозрачная пластиковая чаша.

Андрей рассовал по рюкзакам ноутбук, планшет, смартфон, наушники – все три пары. Свернул и туго перетянул стропами

маленькую резиновую лодку, упаковал в чехол. А вот весла туда никак не влезали. Андрей сломал каждое об колено, аккуратно расколол широкие лопасти вдоль. Сложил покомпактней, все-таки засунул в чехол и, удовлетворенно хмыкнув, застегнул молнию.

– Баба, я бою-ю-юсь! – стоя на крыльце, ревела надсадным басом шестилетняя Аня. Она пряталась в сарае от рева страшной газонокосилки, которой бабушка долго утюжила участок, и только теперь наконец решилась вылезти.

Анютина бабушка, громко топя галошами, носилась по дому, хватая все, что попадалось под руку – одежду, посуду, книги, фотографии и иконки, которые берегла от Ани и протирала чуть не каждый день тряпочкой, а теперь срывала со стен, как объявления настырных рекламщиков. Все это она швыряла в распахнутую пасть огромной старой сумки. Где-то там, на дне, уже лежали Анины игрушки, настенные часы и электроплитка.

– Баба, не на-а-адо!

Бабушка бросила в сумку сушилку для грибов и вдруг пошла прямо к Ане, вытянув перед собой твердую, напряженную ладонь. Под бабушкиными очками сверкали ясные, будто промытые, остановившиеся глаза.

Аня взвизгнула, скатилась, дробно топоча, с крыльца и кинулась наутек.

Через открытое окно Катя наблюдала, как собирается Никита. Бесформенный рюкзак-«колобок», он же «смерть туриста», был набит под завязку, но Никита все равно сгребал вещи, пихал их в рюкзак, сгребал то, что упало на пол, пихал в рюкзак, сгребал... Звенели пустые бутылки, которые он зачем-то решил тоже взять с собой.

– Ты куда намылился на ночь глядя? – спросила наконец Катя.

Никита отвлекся на секунду от сборов, молча посмотрел на нее и улыбнулся. Выглядела Катя и впрямь забавно – пятнистое от синяков, опухшее после долгого сна лицо, водоросли, запутавшиеся в непросохших еще волосах. Она стояла на цыпочках, ухватившись за подоконник, и следила за Никитой с каким-то естествоиспытательским интересом.

– Ночь на дворе, Павлов. Я долго спала. А смотри... – Катя указала наверх, покачнулась и снова вцепилась в подоконник.

Было светло как днем. Небо затянула ровная белая пелена, испускающая мягкий свет.

– Павлов. Ой и дурак ты, Павлов. Чуть ли не первым попался.

Он наконец оставил в покое рюкзак и подошел к окну. Лицо у него было такое же, как пелена на небе – светлое, спокойное. Он снова улыбнулся, и Катя потянулась ему навстречу.

– Давай, – она глянула мельком на Натальино клеймо, багровевшее у него на предплечье. – Я, может, тоже хочу... успокоиться.

Никита взялся за оконные створки и захлопнул их, только каким-то чудом не прищемив ей пальцы.

Катя отшатнулась, угодила прямо в аккуратно подстриженные крапивные заросли и почти зарычала в беспомощной ярости:

– Почему вы меня не трогаете?!

Снова потек по жилам жгучий, но совсем не крапивный жар – слабый и в то же время явственный отголосок прежнего. Катя прикрыла глаза, глубоко вздохнула, вспомнила водяную прохладу и арбузный запах реки, вспомнила, как проснулась на мостках с ясной головой и легким, даже слишком легким телом. И жар угас.

Зато всем остальным дачники помогали успокоиться с завидным энтузиазмом. Те, кто закончил собираться, выходили на улицы и бродили по Вьюркам небольшими молчаливыми группами, выискивая тех, кого еще не коснулась всепрощающая и всеобъясняющая рука. И сама бесплотная и беззвучная Наталья бродила с ними, возникая то тут, то там, точно из-под земли вырастая белым столбом.

Особенно упорно к общей тихой радости не хотел присоединиться неразумный молодняк. Ленку Степанову нашли в трансформаторной будке – ведь могло же и убить дурочку. Раздолбай Пашка, несмотря на большую ногу, умудрился выбраться из дачи через окно, проползти под забором и бесследно раствориться в лесу, об опасностях которого ему, как и всем остальным, было прекрасно известно. Еще двоих мальчишек сняли с высоченной ели, перемазанных в смоле и орущих благим матом. Леша-нельзя, удравший сразу после того, как его временная опекуна впустила Наталью во Вьюрки, скрылся в

кошачьем царстве Тамары Яковлевны. Все видели, как он выглядывает в окно дачки и даже показывает нос пришедшей за ним делегации, вот только...

Кошки. Они встали на пути вьюрковцев полосатой шипящей стеной, облепили калитку, свисали с деревьев, выскакивали из лопухов – и атаковали внезапно и беспощадно. Зинаиде Ивановне в ключья изорвали руку, а старичку Волопасу чуть не выцарапали глаз.

Тамара Яковлевна тем временем нашла наконец в кладовке молоток и вернулась в комнату, где бормотал, не умолкая ни на секунду, воскресший телевизор. Она уже выдернула шнур из розетки, а Леша, восторженно гогоча, скрутил рога комнатной антенне, но это не помогло. Белоглазая, безноса я рожа смотрела с экрана, который не светился даже, а горел, полыхал – и бормотала, бормотала, кривя трещину рта. Сквозь шипение прорывались с трудом различимые слова: «Впус-с-сти... откρο-ой...»

Горячий ветерок качнул ветки, дачники послушно расступились. Наталья, легко ступая узкими босыми ступнями, подошла к калитке... и остановилась. Прямо перед ней на дорожке сидела глупая кошка-трехцветка – та самая, которая вечно куда-то падала, или на дереве застревала, или лезла, отчаянно переоценивая свои силы, драться к другим котам. Кошка сверлила Наталью взглядом и выла, плотно прижав к голове драные уши.

Тамара Яковлевна размахнулась и ударила молотком по экрану, прямо промеж белых горящих глаз. Раздался хлопок, полетели искры – и дачный телевизор, главная ее гордость и радость, сдох навеки.

Отрешенно-благостное лицо Натальи еле заметно дрогнуло, точно рябь по нему пробежала. Она неторопливо развернулась и пошла прочь, увлекая за собой остальных дачников. В спины им, не веря, должно быть, своей сокрушительной победе, продолжала выть застывшая чучелком охранница-трехцветка.

Катя удивилась, когда зашла на свой участок и увидела столпившихся у крыльца дачников. А потом услышала гулкий топот по кровельному железу наверху.

Юки забралась на крышу веранды и металась там, как загнанный собаками котенок, отскакивая к противоположному краю всякий раз, когда кто-нибудь пытался к ней вскарабкаться. Козырек крыши

выдавался далеко вперед, а по водосточной трубе залезть уже, судя по всему, пробовали – она валялась, погнутая, в шиповнике. Юки нашла себе неплохое убежище – только не очень понятно было, как сама-то она туда взлетела. Она то крыла стоящих внизу визгливым матом, то прижимала умоляюще руки к груди:

– Миленькие, ну пожалуйста... ну отстаньте... ну я же прошу... – и снова переходила на ультразвук: – Зомби гребаные!

Катя молча прошла сквозь податливую, мягко уклоняющуюся от любого соприкосновения с ней толпу к крыльцу. Встала на нижней ступеньке, уперла руки в бока, поморщилась, задев кровоточащие ранки. Юки затихла на крыше, и дачники тоже замерли, сочувственно улыбаясь обеим.

В кармане, среди мусора и бумажек, Катя нащупала рыболовный крючок – большой, на донку-закидушку. Вытащила его и воткнула, приподнявшись на цыпочки, над входной дверью. Лучше бы, конечно, булавку или иголку, как бабушка учила, но уж что нашлось...

– От дурных людей, от незваных гостей, – услышала Юки Катин шепот.

Те, кто стоял ближе других к даче, дружно сделали шаг назад. Катя выдохнула с облегчением – и увидела Наталью. Беловолосая, высоченная – как будто прибавила в росте с момента своего возвращения, – она стояла всего в паре метров от крыльца и смотрела на нее. Глаза Натальи совсем потеряли цвет, и горел, переливался в глубине зрачков белый огонь.

Тишину разорвала громкая, веселая музыка – так и посыпалось горохом жизнерадостное электронное «тунц-тунц-тунц». Юки в панике зашлепала руками по карманам, вытащила орущий телефон и отбросила его. Телефон съехал по козырьку вниз и упал прямо к Катиным ногам. Наталья указала на него и медленно кивнула.

Катя подняла тоненький жужжащий прямоугольник и даже не стала никуда нажимать – она уже знала, что здешним абонентам все равно, хотят с ними разговаривать или нет.

В трубке шуршало – тихо так, умиротворяюще, как трава на полуденном ветерке. Что «соседей» обязательно приветствовать надо, чтобы беду не навлечь, Катя знала, но вот как здороваться с Полудницей – забыла напрочь. Бабушка про многих рассказывала, но

про бабу огненную говорила редко, и видно было, что боится она этой бабы пуще смерти.

Наконец выскочило из какого-то закоулка памяти, будто из темной воды вынырнуло. И Катя сказала почти беззвучно:

– Как рожь высока, так хозяйка блага.

– Так, – прошелестел в трубке голос. Сухой – вот единственное определение, которое ему подходило. Сухой голос.

Губами Наталья не двигала, они так и застыли в нежной полуулыбке. Но Катя заметила, как шевельнулось что-то у нее в горле, под тонкой загорелой кожей.

Столько времени Катя потратила на поиски, на бесконечные цепочки догадок, которые рвались и путались, столько всего хотела спросить, выкрикнуть в полыхающее белым огнем лицо. А теперь Полудница стояла перед ней в обличье добродушной и шумной когда-то соседки Натальи, в растянутой футболке с чертовым этим псом из мультика – и в голове было совершенно пусто...

– Что вам нужно? Зачем пришли?

– Первый перст мой.

– Знаю! Отдали же тебе давно, Серафима...

Наталья еле заметно качнула головой.

– Не угадала. Первый перст. В роду. Ты.

Она говорила странно, медленно, растягивая слова и делая между ними большие паузы. И по-прежнему не разжимались губы, только двигалось что-то в горле.

Катя стиснула телефон вмиг вспотевшими пальцами.

– Брату не сестра. Мужу не жена. Детям не мать. Одна как перст.

– Врешь! – крикнула Катя. – Была я мужу жена!

– Венчанная? То не муж, – улыбка как будто стала шире. – То дружочек.

И наконец все выстроилось: сложилась картинка без пустот и лишних фрагментов, все кусочки в которой были изначально друг под друга подогнаны. И даже Катин день рождения, промелькнувший перед самым летним солнцестоянием намеренно незамеченным, потому что она уже вышла из возраста, когда каждый удар маятника тянет отпраздновать, – даже день рождения, от которого она не первый год пряталась в своем дачном убежище, чтобы никаких гостей и поздравлений, – он тоже оказался вдруг частью общей мозаики.

Снова стало жарко – не то от бледного пламени, не то от злости на особую тварь, Полудницу, которая все это, выходит, ради должка своего мелкого учинила. Тетенька белая, надзирательница пожизненная, вот из-за кого одна она была, всегда одна... Катя шагнула ей навстречу, на нижнюю ступеньку:

– За мной пришла, значит? Что, срок вышел? Тридцатник стукнул, портиться начала?

– Наоборот. В колос пошла.

– Так забирай!

– Зачем? Не за долгом я. Ты и так наша. С нами жить станешь.

– Где?

– А здесь. Куда сама привела.

– Привела?! – Катя яростно замотала головой и чуть не свалилась с крыльца. – Врешь! Врешь! Никого я не приводила! Это не я!

– Ты, – ответил сухой голос. – Ты – дверь наша.

И все внутри застыло, остекленело, как песок оплавленный. А потом будто взорвалось, сметая остатки отчаянной уверенности, за которую Катя до последнего цеплялась: что это не она виновата во всех вьюрковских аномальных бедствиях, не из-за нее все, а только – может быть, вероятно, возможно – из-за давней Серафиминой глупости...

– Какая еще дверь?!

– На место новое. Хорошее.

– Сюда? Почему сюда?..

– Привольно тебе тут. И нам хорошо будет.

– Это не ваше место! Ваше там, в Стоянове!

– Другие туда пришли. Новые. Тесно стало. Уж заждались, пока дверь-то откроется.

– Тут... тут не ваше! Тут же люди живут! Они ни при чем, они даже не знают! – Катя вгляделась в спокойные, будто стершиеся лица дачников. – А вы что творите? Вы их... вы же их убиваете!

– Они сами творили. Убивали. Плохие соседи. Убивали. Убивали. Убивали... – и Полудница перешла вдруг на торопливый, панический шепот несчастного пугала, которое было сначала просто деревянной крестовиной в куцем пальто, лежало на чердаке и никого не трогало. А они оживили его и убили. Она сама, Катя, своими руками убила. А оно убило Петухова. А Никита снова убил пугало, а потом еще Светку

Бероеву. А Светка Бероева убила Кожебаткина, и мужа своего, и скольких еще – безымянных теперь, обглоданных и впрок засоленных...

– Плохие соседи, – повторила Полудница.

– Да люди просто, обычные люди, – развела в отчаянии руками Катя. – Они с перепугу... Вы же знаете, вы в Стоянове всегда с людьми по соседству жили!

– Эти другие совсем. Тех мы знали. А этих не поймешь. Мы уж пробовали. Нельзя с ними жить.

– А как же тогда...

– Уведу я их. С такими не уживешься. Страшные они.

Катя неожиданно для самой себя расхохоталась – до слез, до боли в по-прежнему саднящем горле. Вот кто тут, оказывается, страшным все это время был... Но вовремя опомнилась, задавила истерический смех – нельзя ведь Полуднице отдавать последнее слово, надо спрашивать и спрашивать, как она сама любит, а то замолчит – и все, с концами.

– Куда уведешь?

– А за ворота, за околицу. На што они тут.

Бабушка Серафима выговаривала так же мягко: «на што», «за што». Вообще, речь у нее была правильная, на старости лет и вовсе приблизившаяся к городской стерильности, а это она сама, видно, оставила на память о своем полумифическом, населенном особыми тварями селе Стоянове.

– Отпустишь?

– Уведу. Нельзя с ними жить. Страшно.

А Кате стало страшно за дачников – уж больно неясно баба огненная об их дальнейшей судьбе говорила.

– Но ты же... ты же их исправила. Вон какие тихие, ласковые стали. С такими ведь можно жить?

– Не исправила. Спят они. Проснутся – и снова. А спящие они на што? Скушно с такими.

Значит, не высосала она из них душу, обрадовалась Катя, это не навсегда, могут еще проснуться. И спросила заискивающе:

– А меня отпустишь?

– Нет. Ты дверь наша. Через тебя пришли. С нами и останешься.

– Не хочу.

– Останешься. Пообвыкнешься, успокоишься. Тут твое место. Не от них ты – от нас.

– Врешь, – скрипнула зубами Катя. – Не останусь! Повешусь! В Сушке утоплюсь!

По лицу Натальи пробежала судорога, короткой вспышкой полыхнул под заалевшей кожей огонь. И Катя на мгновение увидела ее по-настоящему – огромную, белоснежную, раскинувшую объятые гудящим пламенем руки над... над полем, которое снилось ей в детстве. Жар ударил в лицо, Катя загородилась локтем, зажмурилась.

– Все одно останешься! – раскаленным колоколом грохнул уже не в телефонной трубке, а в ее голове Полудницын голос.

– А мертвая я тебе на што? – выкрикнула в ответ Катя. – Не захлопнется дверка-то?!

И снова стало тихо, зашелестело-заворковало в телефоне:

– Дружочка твоего тебе оставим.

Катя вскинула голову, глянула на Полудницу с недоверчивой надеждой. Тут же отвернулась, закусила губу – ведь именно с такого договора с «соседями» в бабушкиных сказках и начинались. Чуют они слабинку человечью, а как нащупают – сразу давят.

– Вместе жить будете. С нами. Сына от него родишь. Не бросит тебя, как тот бросил.

– Врешь...

А Полудница уже нащупала слабинку, сжала жгучими пальцами вздрогнувшее Катино сердце.

– Слово мое. Ключ да замок. Семейей заживете. Другие тебе на што? Любишь ты их? И они тобой брезгуют. Оставим дружочка тебе, – все тише, все ласковее говорила Полудница. – Дом крепок будет. С соседями мир. Пообвыкнетесь. И детишки пойдут.

Катя молчала, только дышала в трубку – часто, неровно.

– Уговор?

– Павлова оставите? – выдавила наконец Катя.

– Вот и хорошо.

– Оставьте?..

– Вот и умница. А теперь иди. Не мешай.

И Катя сошла с крыльца. Юки, сидевшая на крыше, затаив дыхание, и до последнего верившая, что у Кати есть какой-то хитрый план, что в конце концов она, усыпив бдительность беловолосой

ведьмы, предъявит свой тайный козырь и одолеет ее, упала на колени, схватилась за острый край кровельного железа.

– Катя, не надо, ну пожалуйста, Катечка...

Катя уже медленно брела по садовой дорожке к калитке. И даже не обернулась, только еще ниже опустила голову.

Никита проснулся – точнее, неожиданно обнаружил себя, обрел заново, как после очень крепкого дневного сна или обморока, – на неразобранной постели. Одетым, с оглушительной головной болью и другой, горячей и ноющей – где-то в районе предплечья. Плотные шторы были задернуты, но света хватило, чтобы разглядеть на коже ожог странной формы – будто отпечаток человеческой ладони. И сразу вспомнилось: ворота, непостижимым образом вернувшаяся Наталья Аксенова, а после – одна только легкая пустота внутри, и бездумное счастье, слезливая эйфория, от мыслей о которой теперь становилось противно, будто в сопля вляпался.

Никита приподнял голову, зашевелился – и понял, что кто-то лежит на кровати рядом с ним. Он поспешно отодвинулся к стене и, чуть помедлив, опасливо потрогал постороннее тело. Тело было горячее и дышало.

– А мы тут останемся, – шепнула Катя и подкатилась к нему, ткнулась в бок выпирающей тазовой косточкой. – Павлов, я пришла дружбу портить...

– Они нас не тронут, они обещали. Если только не врут. Они всегда врут. Бабушка говорила – никогда не знаешь, с какой стороны подкрадутся... Ты только не выходи никуда. Давай тут пересидим. Все равно ничего не сделаешь, она их уведет, уведет, Павлов, как крыс... с дудочкой...

– Кто? Кого уведет?

– А мы тут останемся. Во Вьюрках. Навсегда. Все же хорошо будет? – Катя всхлипнула.

– Ну...

– Я ей нужна. Это меня она у бабушки тогда требовала. Долгом назначила. Помнишь, Гене эсэмэска пришла? Это они его звали, чтобы дверь починил, чтобы... чтобы он меня починил. Я – дверь. Из-за меня все...

– Да что ты опять несешь...

– Мы же неудачники, Павлов, мы на дачу прятаться ездим. Вот и спрячемся наконец ото всех.

– Угу.

– Ты совсем ничего не понимаешь, да?

– Совсем. Но я, в принципе, привык уже.

– Наталья... Полудница то есть... она людей отсюда уведет. Не понравились они ей. А мы останемся. С ними, с соседями новыми. Уговор такой.

И Никита, глядя Катю по вздрагивающей спине, вдруг подумал, что ведь не так уж это и плохо – спрятаться во Вьюрках от всего, что давило и понукало снаружи, остаться навсегда в обители вечного лета. С Катей. Если нельзя вытащить ее из клубящегося вокруг иномирья, то почему бы самому не прыгнуть туда, как в Сушку с мостков. Там, может, даже лучше, там жизнь из серого короткого промежутка между двумя вариантами небытия, в середине которого поджидает ясный ужас, превращается во что-то другое, странное, причудливое. Страшное, да, но – не настолько...

– Уговор так уговор, – кивнул Никита, прижав ее к себе покрепче. – Значит, останемся.

– Они нас не тронут. Ты только не выходи, ладно? Надо пересидеть. А потом ничего, мы... мы пообвыкнемся. Заживем.

Она уже не дрожала, кажется, успокоилась наконец. И Никита продолжил, не то шутя – а что еще делать, когда от привычного мира ни кусочка уже не осталось, – не то всерьез:

– Хозяйство заведем.

– Кикимору и шуликуна на цепи... И детей. Павлов, давай заведем детей?

– Вот вечно вы, бабы...

– Да всего парочку. Или одного даже. А если опять не получится, подменьша усыновим, ладно? Найдем посимпатичней. Или водяного нашего, Ромочку, он очень хороший...

– Ладно. Только кормить его ты будешь. И убирать.

– И убирать.

– И кости в подвал скидывать. Кого он, кстати, есть будет, если людей не останется? Снаружи придется заманивать?

– Павлов! – Катя толкнула его локтем, а потом мечтательно вздохнула. – Может, у нас тут жизнь наконец начнется.

– Может. На даче всегда лучше.

– Это смотря какие соседи...

– Ничего, с теми как-то уживались, и с этими поладим.

За окном послышался топот, треск веток, и кто-то взвизгнул:

– Мамочки!..

Катя отвернулась к стене, уткнулась в нее лбом:

– Юльку так жалко... Я плохая нечисть, Павлов. Мне всех жалко.

До сих пор Никита не был уверен, стоит ли ей признаваться, да и непросто было это выговорить, но уж очень ситуация располагала. И он все-таки сказал:

– А мне после Бероевой и того гаража никого из них не жалко.

– Значит, ты нечисть что надо.

– Стараюсь.

Они помолчали, прислушиваясь к возне снаружи. Еще один вскрик – и гравий заскрипел под дружными неторопливыми шагами. Заблудшую овечку вернули в коллектив.

– Куда она их уведет?

– В какое-нибудь тридцатое царство. Наверное. Есть же какое-то место, куда проклятые попадают, заложные покойники, те, вместо кого они подменышей присылают...

– А может, в нормальный мир?

– Может, – неуверенно ответила Катя.

– А ты туда хочешь? Только честно?

– Не знаю...

– Я – нет. Совсем не хочу.

Голова у Никиты болеть почти перестала, тело налилось блаженной слабостью, как после бани, и стоило прикрыть глаза, как все путалось, перемешивалось, важное затушевывалось, а какие-то мелкие, полуоформленные мысли вдруг начинали казаться необыкновенно значительными. Катя, устроившаяся на его плече, тоже задремывала, отвечала после долгой паузы и еле слышно. Сквозь сон Никита пытался представить себе, какой она будет – жизнь в опустевших, населенных только потусторонними «соседями» Вьюрках.

– А ведь у нас теперь будет целый поселок.

– Давай жить у председательши? Вон какую дачу отгрохала.
– У Бероевых вообще целый замок.
– С привидениями, – вздохнула Катя.
– Думаешь, там привидения?
– Если нет, то обязательно будут... Павлов, а если она врет, что нас не тронет, если это опять загадки ее? Она любит загадки загадывать, вот как бабушке про перст... Темнит она насчет долга, ой темнит.

– Насчет тебя?

– Они назначенное всегда забирают. Почему она сказала, что не за долгом пришла?

– А зачем ты ей, раз у нее теперь целые Вьюрки есть... – Перед глазами снова поплыли безлюдные улицы и молчаливые дачи. Никита почти уже чувствовал тот особый, отрешенный покой, которым наполняется освободившееся не для человека, а от человека жилье. И было в этих картинах что-то умиротворяюще-прекрасное, тихая радость раннего воскресного утра, когда вокруг ни души, и кажется, что людей вообще нет, и не было, и никогда больше не будет.

– Павлов... – ворочалась у него под боком нечисть по имени Катя, на которую из полутьмы наплывало другое: запах разнотравья, широкое поле, все в желтой дымке одуванчиков. – Где ж это видано, чтоб долг назначили, а потом не брали? Это же не по правилам...

Уходящие из Вьюрков дачники медленно брели по полю, оставляя зеленые следы на бледной от бисерных капель росы траве. Покачивалась впереди широкая спина председательши, справа Яков Семенович все одергивал рвущуюся вперед собаку, слева шли под ручку Витек и тетя Женья. И Андрей здесь был, и Зинаида Ивановна, ведьма травяная, и Наргиз с воспитанниками, и Валерыч, и старичок Волопас, и множество других дачных людей, которых видишь каждое лето, здороваешься с ними, но не помнишь имен, узнаешь кого по лысине, кого по улыбке, а кого и вовсе по любимому халату в подсолнухах, прирастающему, как видно, к телу до конца сезона.

Кое-кого Катя высмотреть так и не смогла. Не было в толпе ведьмы звериной Тамары Яковлевны, Лешинельзя, раздолбая Пашки. И Юки, которую она уступила Полуднице – совсем как Ромочку его «девочкам», – тоже не было. Неужто удрала все-таки? – удивилась,

обрадовалась Катя, и тут наконец вспомнила, что и ее самой-то здесь быть не должно. Она же во Вьюрках остается, с Никитой, ведь был уговор...

Катя начала протискиваться вперед. Толпа была густая как сироп: Катя взяла в ней, барахталась, пыталась что-то сказать, крикнуть, чтоб пропустили – но губы не слушались, будто и их этим сиропом залепило.

Наконец она выбралась из людской толщи и увидела возглавлявшую безмолвное шествие женскую фигуру. Только это была вовсе не Наталья.

Это была незнакомая девчонка в заношенном платье, с тяжелой косой того яркого русого оттенка, который отливает не сероватой мышьиной шкуркой, а солнечной рыжиной.

От неожиданности Катя застыла на месте – и тут сухой гром прокатился над полем, в небе полыхнула ослепительно-белая вспышка, потом еще одна, и еще. Дачники остановились и запрокинули головы, как будто салютом любовались на День Победы. С каждой вспышкой небо светлело, становясь из белесого, предрассветного – дневным, жарким, полуденным. Горячий ветер пронесся над полем, и в центре небосвода вздулся пламенеющий шар, почти неотличимый от солнца – а может, это оно и было.

Катя бросилась к девчонке, схватила ее за плечо – но та вдруг сама, не оборачиваясь, сомкнула пальцы на ее запястье раскаленным браслетом. Четыре пальца, большого не было. А на указательном блестело то самое кольцо с голубым камнем, сестрой Танькой подаренное, которым она много лет спустя раскроит Кате губу, сделав ее улыбку навсегда перекошенной, не то злорадной, не то виноватой...

– Долг отдать надо, – сквозь звон в ушах услышала Катя тихий Серафимин голос. – Дверь закрыть. Нельзя на уговор идти.

И тут Катя сумела наконец разлепить губы, но не крикнула, а выдохнула еле слышно:

– Почему?..

– Да потому что нельзя так с людьми-то живыми!

Солнце беззвучно взорвалось, скатилось вниз змеящимися молниями, упало раскаленными брызгами в траву – и трава, отдав облачко мгновенно испарившейся влаги, занялась белесым огнем. Теперь он освещал все вокруг, а небо стало матово-угольным. Огонь

гудящей стеной рванулся навстречу дачникам, испепеляя траву и марсианские зонты борщевика, которые, возникая у него на пути, отбрасывали причудливые исполинские тени и тут же растворялись в пламени.

Катя рванулась назад, но Серафима, застывшая каменным столбом, не отпускала ее. Да и бежать было некуда: за спиной у них тоже вздыбилась, заслонив Вьюрки, бездымная огненная стена. Волны сухого жара катились по полю, кольцо пламени сжималось, но дачники стояли неподвижно, и на их побагровевших лицах застыл благоговейный восторг.

– Пока долг не оплачен – ее власть, – не отрывая жадного взгляда от бледного огня, сказала Серафима.

– Бабушка! Что мне делать, бабушка?! – Катя отчаянным рывком, таким сильным, что суставы хрустнули, наконец развернула девчонку лицом к себе. Раскаленные слезы бежали из белых глаз Серафимы, застывали на щеках свечным нагаром. И Катя этот обжигающий взгляд выдержала, не отвернулась.

– Вот он, пламень солнечный, –дохнула жаром Серафима. – Тавро ее. Тлел-тлел, да в тебе и разгорелся. Отдать его нужно, пока все через глупость нашу не сгинули.

– Она не хочет забирать!

И Серафима глухо, торопливо забормотала:

– Ваш оброк, наш зарок, забирай – да проваливай! К Люське Еремеевой муж мертвый ходил. Как похоронили – пришел на третий день и к ней под бочок. За ночь так ухаживал, что еле вставала. Думали, помрет. А Любанька-шептунья ей и говорит: с вечера детей обряди так, чтоб вся одежда навыворот, и сядь у двери...

Пламя лизнуло стоявшую рядом Клавдию Ильиничну, она взмахнула руками, словно пытаясь его отогнать, – и руки мгновенно исчезли в огне, плоть растаяла в гудящем жаре. Председательша завизжала, дергая дымящимися обрубками, а в следующую секунду огонь поглотил ее полностью. Высветился неожиданно хрупкий, слишком изящный для такого грузного тела скелет, дернулся и рассыпался невесомым пеплом.

– ...муж твой придет, спросит, что делаешь. А ты отвечай: на свадьбу к соседям собираемся, сын на матери женится. Он спросит:

как же это сын на матери женится? А ты ему: а как же это мертвый к живой ход...

Не успев договорить, Серафима исчезла, растворилась в раскаленном воздухе. А вокруг рос разноголосый вой, люди вспыхивали, как мошкара на свече, голодный огонь пожирал их целиком, с косточками...

Катя, как в детстве, проснулась от собственного крика:

– Поле горит!

И на самом краю пробуждения, барахтаясь не то в скомканном одеяле, не то все еще в обугленных струпьях сна, вдруг поняла – именно это поле она видела тогда в своих огненных кошмарах. Широкое, заросшее сурепкой и одуванчиками поле, раскинувшееся за воротами Вьюрков.

Когда Никита выбежал на крыльцо, Катя была уже у калитки. Вся взъерошенная, футболка задом наперед надета, а под мышкой – какая-то пластиковая бутылка, ярко-красная.

– Она их не уведет, она их сожжет! – Катя вылетела за калитку и побежала вниз по Вишневой улице, звонко шлепая тапками. Никита бросился следом, хотя сразу почему-то понял, что не вернет ее – ни уговорами, ни силой, – что их полубезумная идиллия, со своим хозяйством и шуликуном, или как его там, на цепи, рухнула, так и не начавшись. Ему стало вдруг до боли жаль те опустевшие и странные Вьюрки, в которых они не будут жить вдвоем, с новыми «соседями», и Катю тоже стало ужасно, непоправимо жаль.

– Мы же решили остаться!

– Она их сожжет! На поле выведет и сожжет! – ответил удаляющийся Катин голос.

Никита быстро перешел с бега на шаг. В боках колело, сердце, спотыкаясь, колотилось где-то в горле. Не побегаешь особо, когда твой любимый вид спорта – тихое пьянство.

– Да сдались они тебе! – в отчаянии крикнул он.

– Дурак ты, Павлов! – донеслось из-за поворота.

Он уперся руками в колени, пытаясь перевести дух, подумал с досадой, что ну и черт с ней, пусть бежит куда хочет, а он сейчас пойдет и завалится спать, и никто больше ему не помешает, никто не будет кричать во сне и устраивать истерики, наконец-то его оставят в

покое... и замер, пораженный внезапной мыслью, что не нужен ему этот покой. И вообще, кажется, ничего не нужно, если они с Катей никогда больше не поспорят, не поцапаются, он не откажется в очередной раз понимать ту чушь, которую она несет, – и не ощутит в следующую секунду искреннего, серьезного уважения к самому факту ее существования, так отличающегося от его собственного. В прошлой жизни на первом и, как он думал, последнем встреченном объекте подобного уважения, крашенном в блондинку и смешливом, Никита чуть не женился.

За это время чудаковатая соседка успела незаметно врасти в его жизнь, втащить его в свое непонятное и жуткое, но головокружительное иномирье – и возвращаться в привычное нетрезвое одиночество теперь совершенно не хотелось. В конце концов – и он готов был это признать, – он к ней привык.

– Катя!

Она не успела притормозить перед воротами и неуклюже врезалась в них боком. Звук удара прокатился над поселком гулким громом, который показался Кате эхом оглушительного грохота из ее сна, предвестника огненной бури. Она толкнула створку, больше всего на свете боясь увидеть пустое поле – вдруг опоздала, или поспешила, или сон был просто сном, а тот, кто показал ей его, только посмеялся над ней. У особых тварей и шутки особые.

Толпа дачников, нагруженных сумками и рюкзаками, тащивших за собой по кочкам чемоданы на колесиках, успела отойти от ворот всего метров на пятьдесят. Дикая радость – та радость, которая сносит все барьеры, отключает все инстинкты, – подхватила Катю и понесла к ним.

– Стойте!

Никто не оборачивался. Катя догнала толпу, полезла вперед, расталкивая локтями еще невредимые, живые тела – и дрожа от того серьезного уважения к чужой непонятной жизни, которое еще называют любовью. Сейчас она любила их всех: глупых, скандальных, вечных нарушителей ее дачного покоя – всех.

Впереди замаячила спина Натальи Аксеновой. Катя подбежала к ней и выплеснула с размаху, прямо на эту спину и на белую голову, все

содержимое красной бутылки. Это была жидкость для розжига, которую Никите так и не удалось запихнуть в рюкзак.

Наталья медленно обернулась, скользнула по ней равнодушным взглядом сияющих глаз. Со лба у нее капало.

Катя зашарила по карманам своих рыболовных штанов, нащупала коробочку с грузилами, перочинный ножик, дико испугалась, что потеряла, выронила по дороге... и наконец вытащила подобранную на веранде зажигалку. Щелкнула колесиком, поднесла огонек к намокшей футболке Натальи и крикнула:

– Огонь огнем гашу! Огонь огнем гашу!

Знала она былички вроде той, что ей Серафима во сне рассказать успела, и знала, что за советы в них знахарки да шептуньи дают: вырвать у «соседа»-обманщика признание, что закон-то нарушен, что неправильно все. У них же как должно быть – по законам, по правилам, по зарокам, как заведено раз и на веки вечные, и не могут они смолчать, если видят то, чему быть не положено. Вот тогда-то и можно их на слове поймать, а слово для них – это самое главное. Для того, может, слова и даны человеку – чтобы мог он ужиться с «соседями».

Спокойная полуулыбка сбежала с Натальиного лица, дернулись губы. Катя поднесла зажигалку еще ближе и повторила с расстановкой, торжественно:

– Огонь огнем гашу.

– Кто же... – загудел медленно, будто через силу, Полудницын голос в Катиной голове, – огнем... гасит?

Ворота снова распахнулись, и на поле, задыхаясь, выбежал Никита. Размахивая руками, он бросился к толпе:

– Катя! Стой! Подожди!

Катя обернулась на секунду, успела с ужасом подумать, что пропустит ведь, пропустит она из-за него тот краткий момент, когда слова нужные действуют. И поспешно выкрикнула:

– А кто долг назначает, а не забирает? Ваш оброк, наш зарок. Забирай – да проваливай!

– Догадалась!!! – огненный рев отдался жгучей болью в висках и затылке.

Лицо Натальи скомкалось, а потом будто размягчилось, расплавилось – и стало вылепливаться заново. Растеклись огненными

лужицами глаза, нос провалился, губы вытянулись узкой трещиной от уха до уха. А сама Наталья начала расти, превращаясь в столб слепящего света.

И белый огонь растекся по жилам, напитывая каждую клеточку пламенем солнечным, как зерно в колосе. Напитал – и рванулся наружу, выломился из живой темницы, которую так давно жег и корежил. Но это было не больно, совсем не больно, и не страшно, наоборот – будто солнце вспыхнуло в груди, озарив оба мира сразу: и людской, и тот, соседний. И Катя наконец поняла особых тварей, поняла Полудницу. И поняла, что иначе было нельзя.

Она раскинула руки, и белая вспышка полыхнула над полем. Никита зажмурился, а когда снова смог разлепить обожженные веки – Катю уже охватило белесое пламя. Она как будто обесцвечивалась, сама становилась похожа на Наталью-Полудницу – побелели волосы, глаза затеплились ровным огнем, точно раскаленное железо.

– Ка-а-а-а! – Никита тянул к ней руки, чувствуя, как лопается кожа на пальцах, тлеет ненужный бинт на безымянном. И наконец не выдержал жара, зарылся в пожухшую траву, задыхаясь и кашляя.

Выросшая над полем огромная фигура склонилась над Катей, качнув пламенеющим куколом, – и сомкнулась вокруг нее кольцом белого огня, столько раз уже виденным во сне.

Редкие облака ползли по тускло-голубому, обыкновенному небу. С Сушки тянуло прохладным водяным запахом. Лягушки орали самозабвенно, спеваясь в скрипучий хор. В раkitнике копошились воробьи. Овчарка Найда остервенело чесала за ухом.

Очнувшиеся от тяжелого полуденного сна дачники охали, щупали и показывали друг другу неизвестно откуда взявшиеся волдыри ожогов. Кто-то сидел на земле среди разбросанных рюкзаков и баулов, ошалело глядя по сторонам, а кого-то и вовсе пришлось поднимать на ноги общими усилиями. Зинаиду Ивановну еле вытащили из канавки – она все заваливалась на спину, как тяжелый жук-бронзовик, кряхтя и беспокойно спрашивая у поднимающих:

– А где Тамара Яковлевна? Тамару Яковлевну не видели?

К Никите подошел Андрей, молча протянул руку, предлагая помочь, но Никита покачал головой – ему встать не хотелось. Он перевернулся на спину и уставился на тонкий перистый след самолета,

неторопливо пересекавшего небо. Самолет тихонько гудел, и этот гул как будто тянул за собой все остальные звуки из нормального мира, казавшиеся теперь такими странными и непривычными, что слух поначалу отказывался их воспринимать. Где-то вдалеке просигналил автомобиль. В коттеджном поселке завывала газонокосилка. Когда она умолкала, было слышно, как лают собаки.

Клавдия Ильинична поправила испачканную в земле блузку, выпрямилась, держась за левый бок, и вдруг вскрикнула:

– Смотрите, человек!

У изгиба Сушки, под ивой, действительно сидел с удочкой мужик в красной спортивной куртке.

– Э-эй!.. Послуш... товар... человек!!! – замахала руками председательша.

Рыбак шевельнулся, коротким точным движением переадресовал удочку и снова замер в ожидании речной добычи.

Неуверенно переставляя ноги, спотыкаясь и хватаясь друг за друга, вьюрковцы побрели к нему. Никита лежал в траве, следил ничего не выражающим взглядом за крохотным самолетом и думал о том, что самолет похож на березовую чешуйку, прилипшую к небу, как к шляпке гриба. Больше ни о чем думать не хотелось, да и, кажется, незачем уже было.

Потому что обволакивающее забвение, пришедшее вместе с долгожданной прохладой, постепенно стирало мягким ластиком из памяти дачников белый огонь и черных зверей, изломанного Петухова и растерзанного Кожебаткина, тех, кто зовет с реки, и того, кто ходит в лесу, – и всех, кто остался там. И никто не обернулся, не увидел, как призрачной цветной дымкой, еще сохранившей очертания крыш и заборов, тает за их спинами навеки исчезающее из ведомого мира садовое товарищество «Вьюрки».

* * *

Борька пинал водянистую траву-недотрогу и злился на деда. Недотрога еще только цвела, ни одного надутого стручка, который звонко разлетается во все стороны от прикосновения, не поспело. И весь лес светлый, чистенький, листья запылиться не успели – ну какие

сейчас грибы, рано еще. А дед заладил – «колосовики» уже пошли, соседка говорила, что ей дочка говорила, что ей знакомая говорила, что у железнодорожной станции белые продавали. Борька в Интернете форум таких же чокнутых грибников нашел специально, зачитывал деду вслух сводки по области: нет еще грибов. Но дед же в Интернет не верит, а компьютеры со смартфонами и всю технику зовет без разбору «планшетами», причем так это слово выговаривает – будто выплевывает. Кепку свою древнюю надел, сапоги резиновые, в одну руку корзину, в другую – Борьку. Все «планшеты» отобрал, вместо них выдал компас с треснувшей крышкой и повез за грибами, а на самом деле – как обычно, воспитывать. Потому что дед не только в Интернет не верит, но и в Борьку, часами там сидящего по важным делам, тоже. Ничего он, мол, не умеет, ничего не знает, жизни не нюхал, в лес его одного отправь – пропадет. Это кому, спрашивается, в голову придет цивилизованного человека в лесу оставлять? И как ему в лесу поможет знание того, что вот эта трава – недотрога, а та птица с синими переливами на крыльях – сойка? И вообще, какой такой жизни сам дед нанюхался, если даже родне по скайпу без Борькиной помощи позвонить не может? Дремучий совсем, одно слово – леший.

Потому Борька от него и убрел потихонечку, притворяясь, что окликов не слышит. Дорогу обратно найти легко, от тропинки он далеко не отходил, а без деда всяко лучше. Не бухтит никто рядом, не тыкает палкой по сторонам: а это что, а там какое дерево. Потом, конечно, влетит, но потом – это не сейчас.

И вдруг среди хрупких прошлогодних листьев красной спичкой вспыхнул подосиновик. Борька, не веря своим глазам, подбежал к нему, срезал плотную прохладную ножку, и мякоть быстро посинела. Это совершенно точно был подосиновик, молоденький, с еще не раскрывшейся шляпкой. А чуть поодаль горели сквозь травяную сетку еще два... нет, три, сросшиеся у основания в миниатюрный подсвечник.

Борька жуть как обрадовался: вот сейчас он не только лешему докажет, что один в лесу не пропадет, так еще и притащит ему перепутавших, как видно, сезоны подосиновиков, самых ярких и красивых грибов в мире. К выслеживанию в траве разномастных шляпок дед его все-таки успел приохотить, и глаз у него был наметанный. Укладывая в корзину сросшийся подосиновичный

«канделябр», Борька уже заметил еще одну красную шляпку, а за ней еще...

Тропинка осталась далеко позади, но подосиновики все не отпускали Борьку, тянулись красной пунктирной линией через поляны и ельники, канавы и кочки, выглядывали из-под кустов и льнули стайками к немногочисленным, тонким осинам, будто тоже хотели доказать, что им в этом лесу самое место, а что раньше Борька с дедом их находили всего один-два за весь сезон – это просто смотрели невнимательно. Борька запыхался, почти полная корзина оттягивала руку, но азарт не давал остановиться. Вот наберет сейчас на пару супов, и на жареху, и даже на сушку останется – и пусть дед, который сам наверняка пустопорожним вернется, скажет тогда, кто чего не нюхал. И грибы все как на подбор – молодые, чистенькие, срез, пока темнеть свежайшим синяком не начнет – натуральный зефир, хоть прямо сейчас ешь. Борька не удержался, откусил кусочек и тут же выплюнул. Не потому, что невкусно – вкус он разобрать не успел, – а потому, что заметил краем глаза, как мелькнула между деревьями большая вертикальная тень.

– Деда? – неуверенно позвал Борька, но в ответ не услышал ничего. Именно что ничего – в лесу почему-то было очень тихо, пропали все привычные посвистывания и поскрипывания, которыми он всегда полон от переплетенной корнями земли до шумящих верхушек. Даже они теперь не шелестели, словно ветер кто-то выключил.

Борька еще раз огляделся, внимательно и как мог неторопливо – и понял, что забрел в какие-то дебри. Ни тропинок, ни полян – только густой сухостой, мертвые стволы, уцепившиеся за еще живые или неуклюже стоящие на толстых обломанных ветках, будто на четвереньках. Лишайники свисают клочьями, а земля заросла хвощом и здоровенными папоротниками, точно занесло Борьку в какую-то доисторическую эру. И куда ни глянь – свободно не пройдешь, придется проламываться, перелезать, путаться в кустарнике, отворачиваясь, чтобы не прилетело хлестким прутом в глаз. А шел вроде спокойно, то и дело ныряя вниз за очередным грибом, и ничего не мешало...

Пугаться Борька себе решительно запретил. Хотел посмотреть ближайший поселок в картах – и тут же вспомнил, что дед забрал у него смартфон. Пришлось лезть за компасом, будь он не ладен, предлагал же деду скачать приложение, которое и компас на экран выводит, и объясняет, как по нему идти. А этот его агрегат – китайский, старше Борьки раза в два, наверняка сломанный.

Дрожащая стрелка ткнулась в одну сторону, в другую и принялась описывать круги. Так и есть – сломанный. Борька яростно встряхнул компас, и раздался треск. Только не из бесполезного прибора, который он держал в руках, а откуда-то сверху – оглушительный древесный треск, точно один из гнилых стволов уже падал ему на голову. Борька подхватил корзинку – и рванул куда глаза глядят, виртуозно перепрыгивая через бурелом. А треск не прекращался, не завершался тяжким падением – он гнался за Борькой, становясь все громче и ближе, словно что-то огромное ломилось вслед за ним сквозь лес.

Наконец впереди обозначился просвет, а в нем – то, что Борька меньше всего ожидал, но больше всего надеялся сейчас увидеть. Забор, крыши, печные трубы. Дачный поселок, до которого оставалось всего ничего. Борька даже, кажется, успел заметить чью-то калитку. Воодушевившись близостью спасения, он решился наконец глянуть на то, что трещало ветками за его спиной – но лишь уловил краем глаза все ту же вертикальную тень. Только теперь она была огромной, ростом не с человека, а с целое дерево, и маячила уже гораздо ближе, так что совершенно нельзя было понять, отчего же никак не получается разглядеть, что это такое.

И тут впереди, там, где темнел спасительный забор, будто прожектор зажегся. Мертвенно-белый свет вспыхнул за деревьями, отбросил длинные извивающиеся тени и огромным сияющим шаром ринулся навстречу Борьке. Шаровая молния! – подумал в ужасе Борька и нырнул вниз, в густой малинник. Над головой у него трещало и ревело, как во время урагана, а он сидел, сжавшись в комок и зажмурившись, и видел только красные, как подосиновики, всполохи под собственными веками...

Он пришел в себя от будничного постукивания по плечу. Раз постучали, другой, потом ухватили пальцами и слегка встряхнули. Борька поднялся и увидел тетеньку – обыкновенную тетеньку в

резиновых сапогах, мешковатых штанах и кофте с капюшоном. Капюшон был нахлобучен на голову, да еще натянут так низко, до самых бровей, как делают в мультиках и играх всякие убийцы, таинственные монахи и привидения, чтобы скрыть лицо. Только Борька ее лицо, конечно, видел. А тетенька, наверное, просто боялась, что клещ в волосы заползет, этого все тетеньки боятся – не знают, что клещи в траве сидят, а вовсе и не с деревьев падают.

– Ты откуда здесь? – спросила тетенька.

– Я... грибы... и как погонится... здоровый такой... а потом молния... – залепетал Борька, представляя, каким жалким он сейчас выглядит и наливаясь краской до самых ушей. Внутри-то он был взрослый, серьезный и ни чуточки уже не боялся.

– Ничего, это у нас бывает. Это... это кабаны. Кабаны у нас тут. Наглые, творят что хотят, – тетенька повысила голос. – Не кабаны, а настоящие свиньи!

Вертикальная тень высотой сначала с человека, а потом с дерево совсем не была похожа на кабана. Но Борька поверил, даже вцепился буквально в это нелепое объяснение – ведь должна же была та тень быть хоть чем-то.

– А ты вставай давай. И иди отсюда, – тетенька наклонилась к нему, и из-под ее капюшона выскользнула, закачалась перед Борькиным носом довольно длинная коса, перехваченная резинкой. Тетенька поспешно спрятала ее обратно, но Борька все равно успел заметить, что волосы у нее белые. Не блондинистые, не серебристо-седые, а совершенно белые, как молоко.

Хотя двоюродная сестра Лизка даже в розовый красилась и в зеленый.

Борька послушно поднялся и шагнул было в сторону поселка, но тетенька вдруг взяла и развернула его лицом к лесу.

– Туда иди. Откуда пришел.

– Там же кабаны, – оторопел Борька.

– Нет уже кабанов, разбежались. Обратно иди, а в поселок я тебя не пущу.

Говорила она спокойно, держала его крепко, и Борька понял – действительно не пустит. Лес показался ему таким темным и непролазным, что он чуть не разревелся:

– Ну пожалуйста! Я дороги не знаю!..

– А вон, видишь, вешка на дереве?

И Борька разглядел завязанную на ветке тугим узлом тряпочку.

– Вот к ней и иди. За ней другую найдешь, а потом прямо. Не сворачивай, куда-нибудь да выйдешь. Тут весь лес-то – три сосны, не заблудишься.

– Я...

– Быстро иди, – тетенька толкнула его в спину. – И не оглядывайся. А то худо будет.

Обиженный и испуганный, он сделал шаг, другой – и побрел туда, куда велела тетенька. По вешкам каким-то, прямо в чащу, где его наверняка ждал страшный зверь, отбрасывающий тень размером с дерево...

Борька не сразу понял, что идет он по тропинке – той самой, от которой ушел за подосиновиками, – и держит в одной руке тяжелую, до краев наполненную яркими грибами корзину, а в другой – компас. Стрелка больше не вертелась юлой и прилежно указывала куда положено.

Хоть странная тетенька и велела не оборачиваться, он все-таки обернулся. И увидел свежий июньский лес, убегающую за деревья тропинку, качающуюся на орешнике сойку. Как же все быстро в лесу теряется, подумал Борька, отойдешь от забора или от человека шагов на двадцать – и вот уже ничего и нет.

От деда ему, конечно, влетело. Но вовсе не за то, за что он думал – длительного Борькиного отсутствия дед, похоже, вообще не заметил, и уловом его был впечатлен: вытаскивал грибы по одному из корзины, любовался.

Влетело Борьке за вранье, когда он попытался осторожно рассказать деду о случившемся. Хотя он даже про шаровую молнию не упомянул, только про бегство от зверя и поселок, где обитала странная белая тетенька.

– Да хоть ври умеючи! – рассердился дед. – Я сюда за грибами двадцать лет хожу, никогда тут никакого поселка не было.

И долго еще возмущался, предлагал поспорить – по-взрослому, на деньги или на мытье посуды, – и потом посмотреть в картах на Борькином «планшете», где здесь ближайший поселок. Леший, мрачно думал Борька.

Одно слово – леший.

2015–2016